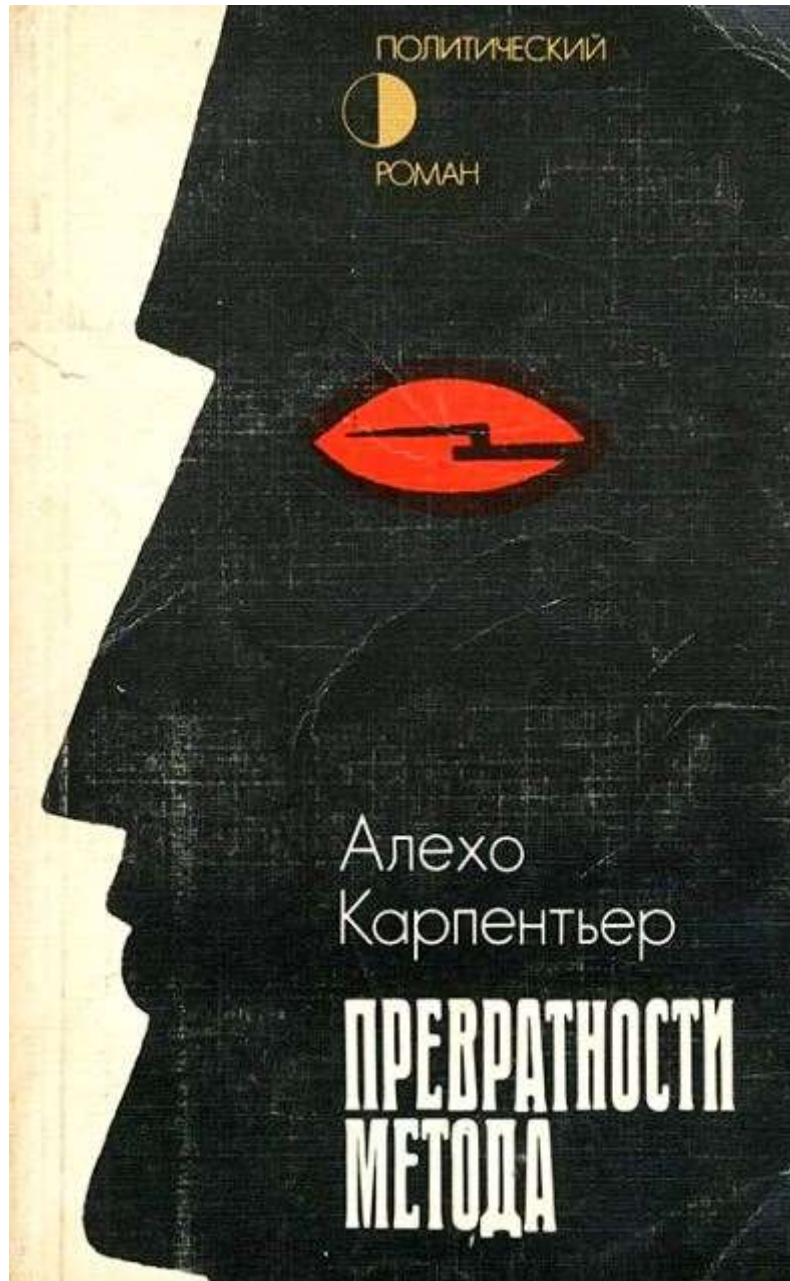


Алехо Карпентьер

Превратности метода



Часть первая

...Я намерен здесь не обучать методу, которому должен следовать каждый для хорошего управления своим разумом, а лишь показать, каким образом я сам старался управлять своим собственным.

Декарт. Рассуждение о методе

I

...Ведь я только что лег. А будильник уже трезвонит. Четверть седьмого? Не может быть. Скорее четверть восьмого. Кажется, так. Или четверть девятого? Этот будильник, бесспорно, великое творение швейцарских мастеров, хотя его стрелки так тонки, что их почти не видно. Или четверть десятого? Нет. Где мои очки? Четверть одиннадцатого. Совершенно верно. Да и яркий свет позднего утра уже бьет в золотистые шторы. Почему-то всегда так бывает, когда я снова приезжаю в этот дом: открываю глаза — и чудится, словно я там; наверное, потому, что всюду — будь то любой дом, отель, английский замок или мой Дворец, — я люблю спать в этом своем гамаке, который всегда беру с собой. Да разве можно отдохнуть на прямой, как доска, кровати с матрасом и высокой подушкой? Мне нужно такое зыбкое ложе, где можно уютно свернуться в комок и покачиваться, дергая веревочку... Еще раз качнуться, зевнуть и, наконец, сильнее откачнувшись, вытянуть ноги и опустить на персидский ковер, в мохнатой пестроте которого затерялись мои ночные туфли. (Там, едва я просыпаюсь, их тотчас подает мне Мажордомша Эльмира, которая — у нее тоже свои причуды — обычно спит на жесткой раскладушке, выкатив наружу груди и задрав юбку до самых бедер в жаркой ночи другого полушария.) Шаг, другой, еще один — к свету. Тяну шнур, висящий справа, и под звяканье колец ползущей вверх шторы открывается сцена большого окна. Однако вместо вулкана — заснеженного, величавого, далекого, нашей древней Обители богов — передо мной высится Триумфальная арка, а за ней стоит дом моего большого приятеля Лимантура, который был министром у дона Порфирио¹. Мы с ним с полуслова понимаем, друг друга, когда речь заходит об экономических трудностях и прочих наших передрягах. Тихо скрипнула дверь. Входит Сильвестр в своем полосатом жилете, с серебряным подносом в руках (великолепное массивное серебро из моих рудников): *Le café de Monsieur. Bien fort comme il l'aime. A la façon de la bas... Monsieur a bien dormi?...²*

Три парчовые шторы поочередно взвиваются вверх, и яркое, как по заказу для Дня Дерби, солнце освещает скульптуры Рюда³ на Триумфальной арке. Маленького голого мальчишку-героя тащит в бой грозный косматый каудильо, из тех, что — я-то уж знаю! — с криком «ура!» быстро перебираются из первых рядов в задние, как только запахнет поражением. Теперь полистаем «Журналь». А «Эксельсьор», пестрящий фотографиями, смахивает на кинематограф, показывающий хронику текущих событий. Вот и «Аксьон франсэз»: гастрономические рецепты кулинера Пампийе, которые моя дочь ежедневно подчеркивает красным карандашом для

¹ Хосе Ивес Лимантур (1854–1935) занимал пост министра финансов Мексики при диктатуре генерала Порфирио Диаса 1830–1915), правившего страной в 1877–1880 и в 1884–1911 годах.

² Кофе для мосье. Крепкий, по вашему вкусу. Приготовлен, как положено у вас, там... Мосье хорошо спали? (*фр.*)

³ Имеется в виду одна из скульптурных групп Триумфальной арки в Париже работы Франсуа Рюда (1784–1855).

сведения нашего бесподобного повара; злобная передовица Леона Додэ⁴, чья великолепная апокалипсическая брань — это наивысшее выражение свободы слова — вызвала бы в наших странах бесконечные дуэли, секвестры, убийства и перестрелки. «Пти Паризьен»: новое восстание в Ольстере под бодрый аккомпанемент ирландских арф и пулеметов; всеобщее возмущение вторичным отловом собак в Константинополе и их отправкой на какой-то остров, где все они, в конце концов, сожрут друг друга; новая заваруха на Балканах, в этом осином гнезде, вечном пороховом погребе, кошмарном месте, удивительно похожем на наши андские провинции.

Вдруг почему-то вспомнилась — это было, а мой прошлый приезд сюда — церемония встречи царя Болгарии. Он проезжал вон там, в роскошном ландо рядом с президентом Фальером, выставляя на всеобщее обозрение свою позолоченную и расплюмаженную царственную особу (на секунду мне показалось, что это мой Полковник Хофман), а оркестр национальной гвардии у подножия наполеоновского монумента лихо играл гимн «Плачет девица, шумит Марина», сверкая трубами, тубами и кларнетами, на громоподобном фоне которых опереточно попискивала флейта-пикколо и звякал треугольник. «Vive le Roi! Vive le Roi!»⁵. — орали граждане республики, в глубине души своей тоскующие по тронам, коронам, скипетрам и жезлам, зрелищное великолепие которых едва ли заменят фраки и алые ленты президентов, благодарственно помахивающих — вниз — вверх — своими цилиндрами: точь-в-точь наши слепые нищие, выпрашивающие милостыню после того, как выдуют из темных прорезей своих окарин песенку «La jambe en bois»⁶....

Уже без двадцати одиннадцать. Как приятно, что тут, на столике, возле гамака, валяется закрытая и ненужная сейчас записная книжка — без расписания аудиенций, официальных визитов, вручений верительных грамот, — и можно не опасаться беспардонных, не предусмотренных никакими программами вторжений моих генералов, которые вдруг являются, гремя сапогами и шпорами. Однако я заспался, а все потому, что вчера вечером — да, вчера вечером, и допоздна, — развлекался с одной сестричкой из монастыря Сен-Венсан де Поль, одетой в голубую хламиду, с крылатой накрахмаленной токой на голове, с ладанкой меж грудей и с плетью из русской кожи за опояском. Келья была неподражаема: на грубо сколоченном столе — трепник в переплете из телячьей кожи, посеребренный подсвечник и череп, правда, слишком темный, наверно, восковой или резиновый, — не знаю, не дотрагивался. Кровать, несмотря на свой убого монастырский вид, была преудобной: мягчайшие подушки в наволочках из искусственного этамина, воздушные перины в чехлах из ненатуральной рогожи и, наконец, прекрасный эластичный матрас, который ловко подыгрывал движениям коленей и локтей, приникавших к нему. Прекрасная кровать, равно как и диван в апартаментах калифа или обитая бархатом полка в спальном вагоне — *Wagen lits-Cock*⁷ — экспресса Париж−Лион−Ривьера, две пары колес которого никогда не трогались с места, но в тамбуре и коридорчике —

⁴ Додэ, Леон (1867–1942) — французский журналист, сотрудник «Фигаро» и других правых газет.

⁵ Да здравствует король! (*фр.*)

⁶ Деревянная нога (*фр.*)

⁷ Спальный вагон Кука (*англ.*), называющийся так по имени Т. Кука (1803–1892) — основателя английского агентства путешествий.

просто гениальная идея! — всегда попахивало паровозным дымком. Я бы не прочь еще раз испробовать всякие комбинации из циновок и валиков в Японском домике, побывать в Каюте «Титаника», реконструированной по чертежам, где доподлинно передается накаленная обстановка перед катаклизмом («*Vas-y vite, mon cheri, avant que n'arrive l'ice-berg... Le voila... Le voila... Vite, mon cheri... C'est le naufrage... Nous coulons... Vas-y*»),⁸ и полежать на Чердаке деревенского нормандского дома, где пахнет яблоками, а бутылки с сидром всегда под рукой; или понежиться в Спальне молодоженов, где Габи в подвенечном платье и в фате с флердоранжем каждую ночь не единожды прощается с девственностью, если вечером подходит ее очередь дежурить — у них это называется «нести караул», — и тогда избранные друзья этого дома могут иной раз, несмотря на свои седины и орден Почетного легиона, познать блаженство победных пробуждений Виктора Гюго. Что касается Дворца тысячи зеркал, то там я вдоволь нагляделся на свое телосложение, на все позиции и выкрутасы — в панораме и перспективе, так что эти художественные упражнения запечатлелись в моей памяти подобно тому, как на семейных фотографиях увековечиваются жесты, позы, костюмы и увеселения лучших дней жизни. Вполне понятно, почему король Эдуард VII имел там свою особую ванну, и даже специальное кресло, ныне ставшее исторической ценностью и выставленное на почетном месте, сделанное на заказ ловким и понятливым краснодеревцем и позволявшее королю предаваться изысканным наслаждениям, невзирая на толстое брюхо.

Да, чудесный был вечерок. Но едва сошло опьянение, как на сердце кошки стали скрести, не принесло бы мое богохульное развлечение с сестричкой из монастыря Сен-Венсан де Поль мне несчастья (в другие-то времена Полетта являлась ко мне в виде воспитанницы английского колледжа с ракетками и стеками под мышкой или в виде размалеванной портовой шлюхи с красными подвязками и в высоких кожаных ботинках). Да еще тот самый череп — просто страшно вспомнить, будь он там из воска или резины. Святая Дева-Заступница из Нуэва Кордобы, Хранительница рьяная моего Отечества, конечно, могла узнать о моих прегрешениях со своих подоблачных высот, оттуда, где в горах, среди скал и каменоломен, находится ее древняя обитель. Но я утешал себя тем, что в эту бутафорскую келью, обставленную в точном соответствии с моими греховными замыслами, к счастью, не додумались — в порыве услужливости — водворить еще и распятие. Надо отдать справедливость мадам Ивонне — в темном элегантном платье и жемчужном ожерелье, с великолепными манерами и набором фраз, которыми в зависимости от обстоятельств и положения клиента она искусно пользовалась, легко переходя от высокого стиля Пор-Рояля⁹ к жаргону Брюана¹⁰ (что весьма напоминало мой французский: а-ля Монтескье и парижский *gamin*¹¹, и умела потворствовать всяческим причудам, но при этом

⁸ Скорее, мой дорогой, пока нас не раздавит айсберг... Вот он... Скорее, мой дорогой... Корабль тонет... Мы дали течь... Идем ко дну... Скорее (*фр.*).

⁹ Аббатство Пор-Рояль в Париже вскоре после основания (1625) превратилось в крупный центр культуры своего времени, где, в частности, лингвисты К. Лансело и А. Арно написали «Общую и рациональную грамматику французского языка».

¹⁰ Аристид Брюан (1851–1925), исполнитель бытовых и гражданских песен, подражал в своих куплетах песням парижских окраин, широко используя городской жаргон.

¹¹ Уличный мальчишка (*фр.*).

никогда не теряла чувства меры. Она ни за что не повесила бы, скажем, портрет королевы Виктории в Комнате Английского пансиона, или икону — в Палатах русского Боярина, или приапически похотливую статуэтку в Покоях с помпейским декором. Когда ее навещали солидные клиенты, она, кроме того, заботилась, чтобы «*ces dames*»¹² надлежащим образом настраивались, как говорят артисты, и с подъемом проводили свою роль: горящей нетерпением невесты, впадающей в грех монахини, жаждущей удовольствий провинциалки, замужней женщины, идущей на тайное свидание; светской дамы, поддающейся минутной прихоти; иностранки, ищущей неизведанных страстей, и т. д. и т. п. — в общем, чтобы они вели себя как актрисы высшего класса, и запрещала им брать монеты особым способом, садясь верхом на угол стола, как это делали девицы из Салона свиданий рангом ниже — «*au choix, Mesdames*»¹³ — где весь их наряд состоял либо из одного испанского, расшитого позументом болеро, таитянской гирлянды или подобия кильта — шотландской мужской юбки с лисьим хвостиком спереди...

Сильвестр вводит ко мне куафёра. Во время бритья тот сообщает мне о недавних преступлениях бандитов-апашей, которые имеют теперь в своем распоряжении автомобили и целый арсенал различного оружия. Пока на моих щеках пузырится пена, он успевает показать мне последнюю фотографию своего сына, которому придают весьма воинственный вид — о чем я ему и говорю — перья казуара, украшающие кивер. При этом я хвалю твердый и разумный порядок в стране, где юноша скромного достатка благодаря своей добропорядочности и трудолюбию может встать в один ряд с офицерами, которые еще до того, как пушка выстрелит, знают, повозившись с расчетами и логарифмами, каковы будут траектория и точность попадания снаряда. (Мои артиллеристы, как правило, вычисляют угол наводки эмпирическим способом, который нередко бывает — это следует признать — поразительно эффективным: «три локтя вверх, два направо с поправкой в полтора пальца... по тому дому с красной крышей... Огонь!» И, что самое главное, снаряды попадают в цель...)

После фотографии юнца из военной академии Сен-Сир брадобрей показывает мне свежий фотоснимок девицы в прозрачном одеянии, которая, по всей видимости, проявляет трепетный интерес к 6,4 процента годовых нового русского займа и уже совсем готова — правда, это проявляется весьма деликатно, — готова... приобрести акции, могущие спасти состояния, которые в прежние времена прочно опирались на гербы с горностаями на пурпурном поле, а ныне находятся на краю гибели. Так вот, эта девица, — а ее «школа», видно, не из последних, — эта девица, в общем... (Пошлю-ка к ней для начала Перальту, пусть испробует и доложит...)

Сквозь оконные стекла виднеется лето, молодое, новоявленное, в ослепительной зелени каштанов. Портной, который обмерил меня вдоль и поперек, теперь прикладывает ко мне выкроенные части сюртуков, американок, курток, подгоняя, примеряя, приглаживая, рисуя плоским мелком геометрические фигуры на раскромсанных темных тканях. Я, как манекен, вращаюсь вокруг своей оси, замирая на месте в зависимости от того, на какую часть моей фигуры должен пасть свет. И мои глаза, вольно или невольно, останавливаются на окружающих меня картинах и

¹² Эти дамы (*фр.*).

¹³ К гостям, дамы... (*фр.*).

скульптурах, словно бы заново мне являющихся, ибо я столько раз их видел, что почти не обращаю на них внимания. Вот здесь «Святая Радегунда» Жан-Поля Лорана; блаженная меровингиха, как всегда, протягивает руки к святым реликвиям из Иерусалима: посланцы в монашеских капюшонах вручают ей прелестный ларец из слоновой кости со щепой от Креста Господня. А вон там великолепная скульптура — «Гладиаторы» Жерома: побежденный, запутавшийся в собственной сети, корчится под ногой победителя, здоровенного парня в шлеме с защитной маской, готового опустить меч по первому слову Цезаря («Масте»¹⁴, — говорю я всегда, глядя на эту вещь, и опускаю вниз большой палец правой руки...). Четверть оборота вокруг себя — и я уже смотрю на изящный морской пейзаж Эльстира¹⁵, где синие пенистые волны кидают лодки, чуть ли не в нависшие над ними тучи рядом с розово-мраморным «Маленьким Фавном», который получил Золотую медаль последнего Салона французских художников. «Чуть-чуть направо», — говорит мне портной. И передо мной открывается сладострастная нагота «Спящей нимфы» Жерве. «Теперь рукав», — говорит портной. И я взираю на «Волка Губбио» Люк-Оливье Мерсона: лютый зверь, укрощенный святым словом Поверелло, резвится с озорными мальчишками, которые таскают его за уши. Еще четверть оборота — и передо мной «Ужин кардиналов» Дюмона (сколько плотоядности у всех во взоре и как верно схвачено выражение лиц, а у того, что слева, даже вены вздулись на лбу); рядом — «Маленький трубочист» Шокарн-Моро и «Светский прием» Бери, где на красном фоне выделяются ослепительно светлые платья женщин, оттененные чернотой фраков, зеленью пальм и голубизной хрустала... А теперь солнце бьет мне почти прямо в лицо, и я скашиваю глаза в сторону «Вида Нуэва Кордобы» нашего местного художника, написавшего этот пейзаж, видимо, под влиянием одной из толедских панорам испанца Игнасио Сулоаги, — та же самая желтизна с оранжевым оттенком, то же ярусное нагромождение домов и мост Алькантары¹⁶, ставший мостом через реку Мапуче¹⁷...

Но вот, поставив меня лицом к окну, портной начинает рассказывать мне о некоторых своих клиентах, чьи имена поднимают его профессиональный престиж, как, скажем, в Англии, где какой-нибудь кондитер хвастливо сообщает на коробках своих бисквитов и мармеладок, что он «Поставщик двора Его Величества».

И тогда я узнаю, что Габриеле д'Аннунцио¹⁸, такой оригинал и привередник в выборе костюмов и такой скупец и сквалыга при расчетах, заказал ему двенадцать жилетов «фантази» и другие вещи, перечисление которых я пропускаю мимо ушей, потому что имя Габриеле д'Аннунцио вдруг вызывает в моей памяти тот причудливо украшенный, таинственный патио, который скрывался за обшарпанным фасадом

¹⁴ Масте... (лат.) — первое слово строки «Смелее, дитя. Так попадают на небо» из «Энеиды» (IX. 641) Вергилия.

¹⁵ Эльстир — персонаж романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», художник.

¹⁶ Алькантара — город в Испании на берегах реки Тахо, через которую перекинут знаменитый древнеримский мост.

¹⁷ Мапуче (Мапучо) — река в Чили, на обоих берегах которой испанские конкистадоры основали нынешнюю столицу страны — Сантьяго (1514).

¹⁸ Габриеле д'Аннунцио (1863–1938) — итальянский прозаик и поэт, творчество которого проникнуто тенденциями декадентства и мистицизма. В политических вопросах придерживался крайне правых националистических взглядов (в 1914–1915 годах вместе с Муссолини ратовал за вступление Италии в войну), в период фашизма был на стороне диктатуры, поддерживал колониальную политику.

какого-то дома на улице Жоффруа л'Анье, вдруг возникая, как экзотическая оперная декорация, в конце коридора, пропахшего луковым супом. Там, в павильоне с фигурной лепкой и чугунными узорами на дверях, я не раз имел честь ужинать в узком кругу друзей великого поэта. Об этом потайном месте, роскошном и недоступном, слагали мифы и легенды. Рассказывали, что, когда Габриеле бывал там один, ему прислуживали прекрасные девы со сказочными именами и что в то время, как его многочисленные кредиторы сражались с консьержкой, закаленной в подобных боях, там, в его обиталище, среди старинных гипсовых и мраморных статуй, средневековых стел и манускриптов, в чаду кадил звучали свежие, юные голоса, будто из детского монастырского хора, чередовавшиеся со стройным молитвенным песнопением, которое несло из-за ширм, скрывавших наготу женщин, многих женщин — и знаменитых, и благородных, и высокопоставленных, воздававших почести Архангелу Благовещения. «Не знаю, что они в нем находят, — говорил Перальта. — Уродливый, лысый, щуплый, да еще, мало того, — именуется Гладиатором». — «Кому что нравится», — отвечивал я, подумав, что, если знать в том толк, куда интереснее развлекаться именно так, чем посещать бордель в местечке Шабанэ, откуда еще, конечно, не улетучилась тень Эдуарда VII. И тут как раз входит Перальта с кипой книг, увенчанный желтым томиком «L'enfant de volupte»¹⁹ — французский вариант «Piacerere»²⁰, где мой секретарь, видимо, не обнаружил интересных ситуаций, обещанных названием... «Я их полистал немного», — и кладет книги на столик, откуда портной уже убрал материю, освободив меня от всей этой дорогостоящей кожуры, от парадных мундиров, от брюк, еще жмущих в паху. «Дай мне чего-нибудь выпить». Доктор Перальта открывает мой булевский секретер²¹ — и берет бутылку рома «Санта-Инес» с оригинальной этикеткой: буквы в готическом стиле на фоне остроконечных зарослей сахарного тростника. «Это вливает, жизнь». — «Особенно после вчерашнего вечера». — «Сеньора доконали монахини». — «А тебя негритянки». — «Люблю черноту, сеньор, ведь я же нефтяник». — «Все мы нефтяники²² там», — сказал я, смеясь, и в эту минуту Офелия, зная, что я уже не сплю, заиграла «К Элизе»... «С каждым днем все лучше, — сказал мой секретарь, замерев с рюмкой в руке. — Сколько нежности, сколько чувства...» И эта пьеска «К Элизе», которую так мило наигрывала, хотя и поминутно сбиваясь, моя дочь в своих апартаментах, напомнила мне, как играла «К Элизе» донья Эрменехильда, ее любвеобильная мать, — правда, также не признавая счета, — когда она в Пристани Вероники, — в дни нашей юности, дни бурь и страстей, «шторм-унд-дранга», сумасбродств и безумий, — усладив мой слух вальсами мексиканских композиторов Хувентино Росаса или Лердо де Техады, принималась за свой классический репертуар: Великий Глухой²³ («К Элизе» и начало, одно лишь излюбленное начало «Лунной»),

¹⁹ Дитя сладострастия (*фр.*).

²⁰ Наслаждение (*итал.*).

²¹ Секретер, сделанный в стиле французского мастера А. Ш. Буля (1642–1733), покрывавшего свои изделия многочисленными инкрустациями.

²² Речь, по-видимому, идет о нефтяном буме, разразившемся в некоторых странах Латинской Америки в начале XX века после открытия богатых нефтяных месторождений.

²³ Великий Глухой — имеется в виду Людвиг ван Бетховен.

«Идиллия» Теодора Лакка и отдельные пьески Годара и Сесиль Шаминад из альбома «Домашнее музицирование»... Вздыхаю при мысли о том, что три года назад состоялись ее похороны, правда, поистине королевские: урну под балдахином сопровождал кортеж министров, генералов, послов и сановников; военный оркестр был усилен еще тремя ансамблями, привезенными из провинции, — всего сто сорок музыкантов, — чтобы как следует сыграть Траурный марш из «Героической симфонии» и, понятно, Шопена. Наш архиепископ так проникновенно говорил в своей заупокойной молитве (содержавшей, по моему настоянию, немало из тех месс, какими чтит Боссюэ²⁴ память Генриетты Французской: «Та, что владычествует на небесах...» и т. д. и т. п.) о нравственном величии и благочестии усопшей, что ее причисление к лику святых становилось лишь вопросом времени. Правда, донья Эрменехильда была — замужем и, разумеется, имела детей — Офелию, Ариеля, Марка Антония и Радамеса, — но архиепископ в своей речи еще раз напомнил во всеуслышание о бесценных супружеских добродетелях праведной Елизаветы, которая была матерью Иоанна Крестителя и женой первосвященника Захарии, а также о святой Монике — матери Блаженного Августина. Я, конечно, тоже нашел нужные слова, но про себя решил не слишком торопиться с ходатайством пред Папским престолом в Ватикане, ибо мы с ней много лет прожили вместе, отнюдь не тревожась о законном бракосочетании, пока внезапные и бурные политические перипетии не сделали меня тем, кем я стал. Главное было то, что многокрасочный портрет моей Эрменехильды, отпечатанный в Дрездене по инициативе нашего Министра просвещения, превратился в предмет поклонения во всем нашем государстве, всюду и везде. Говорили, что покойница, презрев тлен и старания червей, навеки сохранила кроткую и нежную улыбку на устах. Женщины утверждали, будто ее лик чудесным образом исцеляет от подвздошных колик и облегчает первые роды, а обеты, которые дают ей девушки, дабы заполучить мужа, приносят куда больше пользы, чем добрый старый обычай — окунать вниз головой в колодец бюст святого Антония...

Едва я успел воткнуть в петлицу гардению, как Сильвестр доложил мне о визите Именитого Академика — академика хотя и избранного на последних выборах, но непонятно зачем оказавшегося под сенью академического Купола, ибо еще совсем недавно он величал Сорок Бессмертных²⁵ «замшелыми мумиями в треуголках, дряхлыми повивальными бабками Словаря, который так отстает от языковой эволюции, что любой Малый Лярусс²⁶ домашнего обихода полезнее его во сто крат». Перальта прячет бутылку рома «Санта-Инес», и мы приветствуем этого скромного и талантливого ученого мужа, который входит и садится туда, где солнечный луч, пронзив взметнувшуюся пыль, воспламеняет красную розетку Почетного легиона у него на груди. Наверху Офелия продолжает старательно очищать от никчемных бемолей пассажи из пьесы «К Элизе», но все же спотыкается на каждом шагу. «Бетховен», — говорит Именитый Академик, указуя пальцем вверх, словно сообщая

²⁴ Боссюэ, Жак Бенинь (1627–1704) — французский писатель, богослов, проповедник, идеолог абсолютизма, автор «Заупокойных месс», в частности в честь дочери французского короля Генриха IV.

²⁵ Сорок Бессмертных — речь идет в данном случае о сорока членах французской Академии литературы.

²⁶ Малый Лярусс — имеется в виду популярный однотомный энциклопедический словарь «Малый иллюстрированный Лярусс», впервые вышедший в 1906 году в Париже.

нам важную новость. И без стеснения, как и подобает тому, для кого всегда открыты двери моего дома, начинает листать книги, только что принесенные моим секретарем. «Атеизм» Ле Дантека²⁷. Хорошо. Серьезное чтение. «Ученик» Бурже²⁸. Неплохо, но нам не следует подражать немецким emmerdeurs²⁹ с их манией сваливать философствование и романтичность в одну кучу. Анатолий Франс: способности, конечно, есть, но за пределами Франции захвален чрезмерно. А кроме того, его упорный скептицизм ни к чему не приводит... «Шантеклер»³⁰ — удивительная вещь. Успех и провал. Гениальная смелость, обреченная на неудачу, но навсегда вошедшая в историю театра как эксперимент, единственный в своем роде. И он декламирует: «O Soleil! Toi sans qui les choses. Ne seraient pas ce qu'elles sont...»³¹ (Академик и не подозревает, что вот уже который год десятки тысяч борделей и ночных заведений низшего пошиба носят в Америке название «Шантеклер»...) Он иронически, хотя и добродушно, хмыкает при виде антиклерикального памфлета Лео Таксиля³², но корчит явно недовольную гримасу, узрев «Мосье Фока» Жана Лоррена³³. Ему, наверное, и невдомек, что Оллендорф, его собственный издатель, наводнил книжные лавки нашего континента этим романом (в переводе на испанский), разрекламированным в качестве несравненного образца французского гения и украшенным цветистой обложкой, с которой обнаженная Астарта — творение Дюпюи — до сих пор тревожит сон наших школяров...

А теперь он заговорщически ухмыляется, наткнувшись на «The sexual life of Robinson Crusoe»³⁴ и «Les fastes de Lesbos»³⁵ — книжки анонимных авторов (три звездочки), но с обилием иллюстраций, купленные мною вчера в специализированном магазине на Рю де ла Люн. «Это чтиво мосье Перальты», — говорю я, смалодушничаю. И наш друг, приняв самый серьезный вид, принимается назидательным тоном, который хорошо нам знаком — Перальте и мне, — читать лекцию по литературе, стараясь убедить нас, что большую, великую литературу Франции не знают в наших странах. Это хорошо, что все мы преклоняемся перед Бодлером, почивающим не на лаврах, а под унылой каменной плитой на кладбище Монпарнаса, но следовало бы

²⁷ Сочинение французского биолога-материалиста Феликса Александра Ле Дантека, изданное в 1906 году.

²⁸ Роман французского писателя Поля Бурже (1852–1935), поднявшего в этом произведении вопрос о нравственной ответственности философов (опубликован в 1889 году).

²⁹ Поганцам (*фр.*).

³⁰ «Шантеклер» — популярная в 1910–1911 годах аллегорическая пьеса французского драматурга и поэта Эдмона Ростана (1868–1918), действие которой происходит на птичьем дворе; главный персонаж — петух Шантеклер.

³¹ О, солнце! Без тебя не стало б в мира жизни, не стало б мира самого. (Перевод Т. Щепкиной-Куперник.)

³² Имеется в виду одно из сатирических сочинений против церкви, написанных французским журналистом Лео Таксилем в 80-е годы XIX века.

³³ Жан Лоррен (наст. имя Поль Дюваль), автор романа «Мосье де Фока» (1901), написанного в русле литературы декаданса.

³⁴ Сексуальная жизнь Робинзона Крузо» (*англ.*).

³⁵ Увеселения на Лесбосе» (*фр.*).

также читать Леона Дьеркса, Альбера Самена, Анри де Репье, Мориса Роллина, Реме Вивьен.

И — Мореаса, прежде всего Мореаса³⁶. (Меня так и подмывало рассказать ему, как несколько лет назад в кафе «Вашетт» я был представлен Мореасу и как тот набросился на меня с обвинением, будто это я лично расстрелял Максимилиана³⁷, пропуская мимо ушей все мои объяснения, что я был тогда младенцем и не мог находиться в тот день у Серро де лас Кампанас... «Vovo etes tous des sauvages»³⁸ — твердил поэт, и в его голосе слышалась неподдельная горечь...).

Наш друг высказывает сожаление, что Гюго, старик Гюго все еще пользуется огромной популярностью в наших странах. Он знает, что там даже рабочие табачных фабрик, которых скучная жизнь делает заядлыми почитателями литературы, питают особое пристрастие к «Отверженным» и «Собору Парижской богородицы», в то время как «Молитва за всех» («naïve sonnerie»,³⁹ — добавляет он) в особом ходу на поэтических вечерах. И происходит это, по его мнению, потому, что мы не проникнуты картезианским духом⁴⁰ (ну еще бы — ведь в «Рассуждении о методе» не цветут цветы-хищники, не порхают туканы, не свирепствуют бури...) и приходим в дикий восторг от дешевого красноречия, от пафоса, от ораторской велеречивости под грохот романтических фанфар... Я немного шокирован — он этого не замечает — подобным его мнением, которое опровергает мое понимание основ риторики (ибо речи лишь тогда волнуют нас, если они пышны, звучны, умело закручены, по Цицероновски великолепны, полны сочных образов, разящих эпитетов и завершаются крещендо). Чтобы переменить тему, я протягиваю руку к ценнейшему, роскошному изданию — «Моление на Акрополе» Ренана⁴¹ — с иллюстрациями Кабанеля. «Quelle horreur!»⁴² — восклицает Именитый Академик и морщится. Я говорю, что отрывок из этого произведения включен во многие учебники по литературе для французских студентов. «Мое отвращение к сему — плод моего светского образования», — поясняет гость и клеймит подобную прозу термином «amphigourique»⁴³, добавляя, что она претенциозна, многословна, до смешного напичкана ученостью и никчемными эллинизмами. Нет.

³⁶ Мореас, Жан (наст. имя Янис Пападиамандопулос, 1856–1910) — французский поэт-символист, введший в литературное обращение термин «символизм» в своем «Манифесте символизма» (1886). В 90-е годы примкнул к модернизму.

³⁷ Австрийский эрцгерцог Франц Иосиф Максимилиан Габсбург во время французской оккупации части территории Мексики (1864) был возведен Наполеоном III на мексиканский престол; после вывода оккупационных войск из страны был взят в плен повстанческим войском Б. Хуареса и 19 июня 1867 года расстрелян у Серро де лас Кампанас.

³⁸ Вы все дикари (*фр.*).

³⁹ Наивная дрянь (*фр.*).

⁴⁰ Имя Рене Декарта по-латыни — Картезиус.

⁴¹ «Моление на Акрополе» — небольшая часть книги французского историка, филолога-востоковеда и писателя Эрнеста Ренана (1823–1892) «Воспоминания детства и юности» (1883).

⁴² Какой ужас! (*фр.*).

⁴³ Бессмысленный, вздорный (*фр.*).

Народы латиноамериканских стран должны знакомиться с красотой французской изящной словесности по другим книгам, по иным текстам. Вот тогда можно было бы оценить то изящество стиля, легкость, непревзойденное умение, с каким Морис Баррес⁴⁴ в своем «L'ennemi des lois»⁴⁵ демонстрирует нам всего лишь на трех страницах «недостатки и ошибки марксизма», суть которого ясна — «культ желудка». Или, например, его дивные описания старинных замков Людвиг Баварского, где находишь такие истинно художественные средства, какие и в сравнение не идут с нравоучительным пустословием какого-то Ренана. А если мы, латиноамериканцы, хотим познать прошлое столетие, надо читать и перечитывать графа де Гобино⁴⁶, этого аристократа слова, мастера округлой мудрой фразы, который в своих произведениях воспевал Человека-гения, Человека-звезду, Принцев духа (которых, по его словам, не более трех тысяч во всей Европе), открыто возвещая о своей неспособности проявлять интерес к «массе, называемой людьми», к этому скопищу гнусных насекомых, тупых и вредных, лишенных Души... Я, однако, предпочитаю помалкивать и не вступать в дискуссию, ибо она завела бы нас в тупик, и вот, по-чому. Во время празднования Столетия Независимости Мексики власти сумели там не допустить людишек в крестьянских платках и сандалиях-уарачах, бродячих музыкантов и прочих юродивых к местам пышных церемоний, чтобы иностранные гости и все приглашенные на празднество правительством не увидели тех, кого наш друг Ив Лимантур называет «кафрами». Но в моей стране, где много — слишком много! — индейцев, негров, самбо, чоло и мулатов, было бы трудновато убрать этих самых кафров с глаз долой. И я весьма сомневаюсь, что наша кафрская интеллигенция — страшно многочисленная — стала бы восторгаться «Очерком о неравенстве рас человеческих» графа де Гобино... Да, пора изменить тему разговора. К счастью, сверху слышится «К Элизе». И Академик, на мгновение превратившись в слух, стал жаловаться на трюкачества современной музыки — так называемой «современной», — которая стала дегуманизированным упражнением разума, нотной алгеброй, далекой от того, что относится к сфере чувств (Вы только послушайте сочинения «Схолы Канторум» на Рю Сен Жак), и изменила вековым принципам Мелоса. Конечно, есть исключения: Сен-Санс, Форэ, Вентейль и прежде всего, наш обожаемый Рейнальдо Ан⁴⁷ — он, кстати, родился в Пуэрто-Кабельо, очень напоминающем Пристань Вероники. Мне известно, что этот мой «земляк» (меня он всегда называл «земляком») на своем нежном креольско-испанском наречии, когда мы где-нибудь встречались) еще до того, как написал свои великолепные хоры для «Эсфири» Расина, поставил несколько лет назад дивную оперу, полную тоски по родимым Тропикам, ибо ее действие развертывалось среди декоративных пейзажей, как две капли воды похожих на венесуэльские берега, где композитор провел детство, хотя в опере речь шла, как

⁴⁴ Морис Баррес (1862–1923) — французский писатель-декадент и националист. В романе «Враг законов» (1893) подверг реакционной критике утопический и научный социализм.

⁴⁵ Враг законов (*фр.*).

⁴⁶ Гобино, Жозеф де (1816–1882) — французский социолог, один из создателей расистской теории в социологии. В своем главном сочинении «О неравенстве человеческих рас» (1853–1855) доказывал необходимость существования элиты и выдвинул теорию о том, что борьба рас является движущей силой развития народов.

⁴⁷ Ан Рейнальдо (1875–1947) — венесуэльский композитор, автор комических опер, оперетт, балетов и камерной музыки. «Остров грез» (Париж, 1898) — первая опера композитора.

указывалось в программках, о «полинезийской идиллии»: «L'île du reve»⁴⁸, — по мотивам «Брака Лоти»⁴⁹: «Loti, Loti, voici ton nom»,⁵⁰ — пела Рапару в этой поэме экзотической любви, в опере, которая, по словам некоторых злостных критиканов, способных стереть в порошок всех и вся, очень смахивала на «Лакме». Но если рассуждать подобным образом, то, же самое можно сказать о «Мадам Баттерфляй», появившейся позднее оперы Рейнальдо. И как бывало на музыкальных вечерах на Кэ Конти, когда мы слушали его «Серые песни», разговор зашел о таких людях, как граф д'Аржанкур⁵¹, поверенный в делах Бельгии, который окружал себя педерастами, вовсе ими не интересуясь, а просто стремясь не привлечь внимания к своей слишком юной возлюбленной и не вводить в соблазн мужчин-мужчин; о таких, как Легранден, который сам присвоил себе — подумаешь, какая новость! — несуществующий пышный титул «Conde de Mes Eglises»⁵² или нечто подобное («Если бы он родился в Чолуле, мог бы называть себя Графом всех 365 церквей»⁵³), — заметил Перальта) и сделался махровым снобом в этом мире, где снобизм утверждался в качестве всеобщего модного устремления идти «в ногу со временем».

Париж, как утверждал Именитый Академик, превращается в Рим Элагабала⁵⁴ и распахивает двери перед всем, что кажется диковинным, необычным, азиатским, варварским, первобытным. Скульпторы-модернисты вместо того, чтобы черпать вдохновение в великих стилях эпох, млеют от восторга перед всякой кустарщиной, доэллиническими, грубыми и примитивными поделками. Находятся и такие, кто коллекционирует уродливые африканские маски, взъерошенные колючие амулеты, зооморфических идолов — поистине изделия людоедов. Из Соединенных Штатов нас оглушает негритянская музыка. Один вопиюще невежественный итальянский поэт осмелился опубликовать манифест, в котором обосновывает необходимость затопить Венецию и поджечь Лувр. Если следовать этим путем, можно дойти до экзальтации Аттилы, Герострата, еретиков-иконокластов и танцоров кэк-уока, английских поваров и анархистов под эгидой новоявленных Цирцей, которые теперь зовутся Лианой де Пужи, Эмильенной д'Алансон или Клео де Мерод («Ну, ради них-то я готов стать свиньей», — пробурчал Перальта).

И тут, чтобы умерить яростный пыл моего гостя, я заявил, что любой великий город всегда был подвержен и приступам лихорадки, и пошлым увлечениям, и разного рода модам, аффектациям, и мимолетным экстравагантностям, не оставлявшим следа

⁴⁸ Остров грез» (фр.).

⁴⁹ «Брак Лоти» — роман французского писателя Пьера Лоти (наст. имя Луи Мари Жюльен Вио, 1850–1923). Действие романа происходит на Таити, где европеец встречает прекрасную девушку Рапару.

⁵⁰ Лоти, Лоти, вот твое имя (фр.).

⁵¹ Граф д'Аржанкур — один из персонажей романа М. Пруста «В поисках утраченного времени».

⁵² Граф моих церквей (фр.).

⁵³ Чолула — город легендарных 365 церквей в Мексике. Ныне сохранилось лишь 39 церквей и часовен.

⁵⁴ Сириец по происхождению, Элагабал в 218 году был провозглашен римским императором. Ввел в Риме культ сирийского бога Гелиоса и прославился расточительством и распущенным образом жизни, пренебрежением к римским традициям. В 222 году был убит солдатами.

на характере нации. Еще Ювенал высмеивал причудливые одеяния, странные благовония, культы и суеверия, распространенные в римском обществе, которое благоговело перед заморскими новинками. Снобизм не такая, уж новая штука. Если приглядеться получше, то и «Жеманницы» Мольера окажутся не кем иным, как «Сноб-барышнями», *avant la letter*.⁵⁵ Имеете великую столицу — не извольте жаловаться. Ведь Париж всегда останется святая святых хорошего тона, чувства меры, порядка и гармонии; законодателем мод, элегантных манер и образа жизни для прочего мира. А что касается космополитизма, который был известен и Афинам, то едва ли он может извратить истинно французский гений. «*Se que n'est pas clair n'est pas francais*»⁵⁶, — сказал я, весьма довольный тем, что могу процитировать Ривароля⁵⁷, с которым меня познакомили еще в колледже братья-маристы из Пристани Вероники.

«Разумеется», — согласился Академик, однако политика, сия непристойная политика с ее суматохой, партийными распрями, гнусными парламентскими баталиями рождает хаос и анархию в этой, по существу, разумной стране. Такие позорные происшествия, как Панамский скандал или дело Дрейфуса, были бы просто немислимы во времена Людовика XIV. Уже не говоря о «социалистической нечисти», которая, как выразился наш друг Габриеле д'Аннунцио, «заливаем все и вся», оскверняя прекрасные и благородные принципы наших древних цивилизаций. Социализм... (он вздохнул, разглядывая носки своих лакированных ботинок). Сорок королей создали величие Франции. Посмотрите на Англию. Посмотрите на Скандинавские страны, образцы порядка и прогресса, где грузчики работают в жилетках, а у плотников под блузами часы на цепочке. Бразилия была великой страной, когда ею правил такой император, как Педро II⁵⁸, друг, сотрапезник и поклонник того самого Виктора Гюго, которого вы так почитаете. Мексика была великой, когда ею управлял Порфирио Диас, постоянно переизбиравшийся президентом. И если ваша страна живет в мире и довольствии, то это возможно только потому, что ваш народ, видимо, более умный, чем другие народы континента, переизбирал вас три, четыре... не помню, сколько раз подряд, прекрасно понимая, что бессменная власть надежнее всего гарантирует материальное благополучие и политическую стабильность. Благодаря вашему правлению...

Я прервал его легким жестом, уклоняясь от дальнейших похвал, которые, пожалуй, еще могли бы поставить на одну доску американские и европейские страны — наши разоряемые землетрясениями, опустошаемые ураганами и извержениями вулканов, и те, другие, расположенные на гораздо более спокойных широтах, где плетут свои кружева фламандские кружевницы и тихо разгораются северные зори. «П

⁵⁵ Здесь: еще не получившими своего названия (*фр.*).

⁵⁶ То, что непонятно, то не по-французски (*фр.*).

⁵⁷ Ривароль, Антуан (1753–1801) — французский публицист, в годы Великой французской революции — роялист и контрреволюционер.

⁵⁸ Педро II (1825–1891) — последний император Бразилии, низложенный после провозглашения республики в 1889 году. В 70-80-е годы совершал частые поездки в Европу, где встречался с писателями, художниками и учеными, был избран членом нескольких академий.

me reste beaucoup a faire»,⁵⁹ — сказал я, хотя и не преминул похвастать без ложного стыда тем, что в моей стране после столетия заварух и мятежей окончен этап революций, этих революций, которые в Америке всегда были не чем иным, как детской болезнью, скарлатиной и корью молодых народов, импульсивных, порывистых, горячих, которых иногда необходимо приструнить. *Dura lex sed lex*⁶⁰... Да, бывают случаи, когда суровость необходима, кивнул Академик. Кроме всего прочего, хорошо сказал Декарт: «Суверены имеют право кое в чем менять обычаи...».

Закончив свое долгое и скучное взывание «К Элизе» — мы и не заметили, как умолкло фортепиано, — Офелия вошла в библиотеку, ослепительная и несравненная в светлом муслиновом платье, с боа из страусовых перьев, в шляпе, увитой розами, меж коих гнездилися колибри; в элегантных митенках и с зонтиком, украшенным изящной ручкой из резной слоновой кости: сплошное благоухание, шорох незримых шелковых юбок, колыхание роскошных одежд и пышной прически. Она всплыла к нам, красуясь своими великолепными формами, обрисованными лифом и корсетом, — бригантина под всеми парусами, модель Болдини. «Сегодня Выезды на Четверках», — сказала она, и я вспомнил; что в самом деле несколько минут назад во время нашего разговора с Именитым Академиком я видел, как тащились по направлению к площади Согласия фиакры типа старых английских дилижансов — с двойными дверцами, империалом и высокими козлами, — запряженные четверками лошадей. Под щелканье бичей и трели рожков они — эти живые букеты зонтиков — катили туда, где их ожидал, застыв между двумя; жокеями в ловко пригнанной форме, Президент Общества Стипл-Чэз. «*Jamais je ne vous avais vu si belle*»⁶¹, — сказал Именитый Академик, отпустив затем весьма замысловатый комплимент моей дочери, которая уподоблялась одной из прекрасных дев Гогена, возникающей из дымчатого моря при свете лучезарной авроры. «Наше сладкое танго», — пробурчал Перальта. А у меня невольно вытянулось лицо: упоминание о Гогене словно бы ставило нас в один ряд с метеками⁶²... Но Офелии комплимент, видно, пришелся по вкусу: «*Oh Tout au plus la Noa-Noa du XVI Arrondissement!*...»⁶³

Откровенно же говоря, матовая кожа моей дочери в самом деле подчеркивала ее красоту, красоту рафинированной индеанки. Она ни на йоту не унаследовала округлость лица, массивность ляжек и широту бедер своей святой матери, которая была типичной уроженкой наших мест. У моей дочери длинные ноги, плоская грудь, узкая талия представительниц новой расы, формировавшейся у нас там, дома. Ее волосы, завитые и взбитые, как того требовала мода, по природе своей гладки и не имеют ничего общего с копной мелких завитушек, которые наши соотечественницы

⁵⁹ У меня еще хватает забот (*фр.*).

⁶⁰ Закон суров, но это закон (*лат.*) .

⁶¹ Я никогда не видел вас такой красивой (*фр.*).

⁶² Метеки (от греч. *metoikos* — переселенец) — прозвище чужеземцев в Древней Греции. «Ноа-Ноа» — автобиографическая книга французского художника Поля Гогена, рассказывающая о его пребывании на Таити и вышедшая в свет в 1906 году. Академик имеет в виду женские портреты, написанные Гогеном на острове, а дочь диктатора — героиню книги.

⁶³ О, что вы! Всего-навсего Ноа-Ноа из XVI округа (*фр.*).

старались выпрямить, поливая их знаменитым лосьоном Уокера, этого ловкача фармацевта из Нового Орлеана...

Осыпая меня нежнейшими ласками, Офелия просила, разрешить ей вечером, после званого обеда в Поло де Багатель, отправиться в путешествие. Ей хотелось побывать на вагнеровском фестивале в Байрейте, который открывался в следующий вторник оперой «Тристан и Изольда». «Oeuvre sublime!»⁶⁴ — воскликнул Академик и замурлыкал вступление, дирижируя невидимым оркестром. Затем он пустился в рассуждения о безмерной неге второго акта, о великолепном соло английского рожка в третьем акте, о хроматическом, пароксизмальном, жесточайшем нагнетании чувств в «Liebestod»⁶⁵ и спросил мою дочь, не пожелала ли бы она быть принятой на вилле Вагнера «Ванфрид». Насладившись театральными восторгами Офелии, для которой сия прославленная обитель, по ее выражению, была таким вожделенным, святым местом, что она и помышлять не смела о его посещении, Академик приблизился к моему маленькому бюро (или бару) «Буль-буль Санта-Инес» и взял листок бумаги. Ей следует передать это рекомендательное письмо его другу Зигфриду, весьма способному композитору, хотя его произведения и исполняются довольно редко. Да и вообще... Как ему, бедняге, сочинять музыку, если он сын Рихарда Вагнера?.. И перо Академика закончило свою каллиграфическую вязь, уснащенную высокими ионическими буквами: «Voici, Mademoiselle»⁶⁶. Просьба передать от него сердечный привет супруге Вагнера Козиме. Он предупредил Офелию, что места в Festspielhaus довольно неудобны. Но паломничество в Байреит должен совершить каждый культурный человек хотя бы раз в жизни, как, например, это делают магометане, идущие в Мекку, или японцы, взбирающиеся на Фудзияму. Взяв письмо, украшенное ренессансной надписью с росчерком и жирными прописными буквами, Офелия снова набросилась с поцелуями на своего расчудесного папу, всегда доставляющего ей массу удовольствий, хотя я, по правде сказать, не выразил ни малейшей радости по поводу ее внезапного отъезда, который шел вразрез с моими планами: я думал поручить ей в ближайшее время роль хозяйки дома на приеме в честь главного редактора журнала «Ревю де дё Монд», где мне очень хотелось опубликовать большую статью об экономическом процветании и политической устойчивости моей страны. Поцелуи дочери, увлажнявшие мой лоб, были явным лицедейством и сплошной комедией, предназначенной для гостя, ибо в действительности она никогда не считалась с моими желаниями или настроениями, если ей что-либо взбрело в голову. Офелия нагоняла на меня настоящий страх своими приступами бешеной ярости, внезапно вспыхивавшей в ней, если я пытался противиться ее воле, — она начинала как безумная топтать ногами, совать мне в нос кукиши и сыпать такой площадной бранью, какой можно набраться только в борделях, вертепах или бараках лесорубов. В такие минуты Инфанта, как величал её мой секретарь, без стеснения называла своими именами все то, что прямо или аллегорически изображено на Триумфальной арке. А после дебоша, достигнув цели, Офелия снова переходила к такому изысканному, такому грациозному способу выражения, что я иногда лез в словарь, чтобы узнать

⁶⁴ Великолепнейшее произведение (фр.).

⁶⁵ «Любовное томление» (нем.).

⁶⁶ Вот, мадемуазель (фр.).

точный смысл того или другого существительного с прилагательным и приберечь их для украшения своих собственных речей...

Когда мы остались одни, внезапно помрачневший Академик заговорил о годах лишений, пережитых Рихардом Вагнером, и о том, что в нынешнее отвратительное время никто не ценит истинных художников. Нет ни Меценатов, ни мудрых Лоренцо, ни просвещенных Борджиа⁶⁷, ни королей, подобных Людовику Четырнадцатому или Людвигу Баварскому. Разве что одни Короли рулетки... Сам он, несмотря на сногшибательную литературную карьеру, отнюдь не застрахован от нужды, мало того, спасаясь от судебных исполнителей в треуголках, которые не сегодня-завтра разнесут в щепы дверь его дома костяными набалдашниками своих жезлов (возможно ли такое в этом Великом столетии?), он с болью в сердце решился продать рукописи своих двух драм: первая «Робер Гискар» (историческая хроника, главные герои которой — нормандский полководец, его брат Роже и безумная Жюдит де Эврё). Эта драма была мастерски поставлена режиссером Ле Баржи и наделала много шума, когда провалилась. Вторая — «Отсутствующий» (трагедия совести: Давид и Вирсавия, чьи любовные свидания то и дело отравляются появлением призрака Урии, и т. д.) — выдержала более двухсот представлений в Theatre de la Porte Saint Martin, к великому огорчению паршивца Бернштейна, который замыслил написать пьесу на эту же тему... К сожалению, продолжал Академик, здешние, французские библиотеки сейчас не располагают средствами, и вызов в суд неизбежен: завтра люди в треуголках, размахивая жезлами с костяными набалдашниками... А впрочем, если... Национальная библиотека вашей страны... Дальше говорить было не о чем. Я тут же выписал чек — чек, который аи небрежно взял, словно сделав мне великое одолжение и даже не взглянув на выписанную сумму, хотя я почти уверен, что он ее уже знал, ибо пристально глядел на мою руку, выводившую цифры. «Ils sont tres beaux»⁶⁸, — сказал он. Через пять минут передо мной уже возвышались груды широких листов голландской бумаги, вложенных в кожаные бювары с металлическими экслибрисами автора. «Vous verrez...»⁶⁹ Массивный пакет, оставленный внизу, сюда тотчас принес Сильвестр. Я развязал веревочку, нежно погладил титульный лист с заглавием, каллиграфически выписанным цветными чернилами, и с рисунками на темы сюжета; медленно, благоговейно перелистал страницы и выразил признательность моему прославленному другу за то, что он избрал Библиотеку нашей страны для хранения этих бесценных манускриптов, Библиотеку, хотя и скромную, но таящую в своих архивах весьма ценные инкунабулы, флорентийские карты и ряд хроник эпохи Завоевания Нового Света. Заметив, что он слегка потирает руки, видимо, собираясь положить конец визиту, я встал будто для того, чтобы взглянуть на Триумфальную арку, и продекламировал: «Toi don't la courbe, au loin s'emplit d'azut, arche demesuree...»⁷⁰ Не желая показаться неблагодарным, Именитый Академик взял свой

⁶⁷ Имеется в виду правитель Флоренции Лоренцо I Великолепный Медичи (XV в.), покровительствовавший поэтам и художникам. Из римского семейства Борджиа покровителями литературы и искусств были Лукреция и кардинал Чезаре Борджиа (конец XV в — начало XVI в.)

⁶⁸ Они прекрасны (фр.).

⁶⁹ Вы сами увидите (фр.).

⁷⁰ О, ты, необъятная арка, объемлющая неба синеву... (фр.).

цилиндр, белые перчатки и сказал, зная, как это мне будет приятно услышать, что в конце концов Гюго не такой уж плохой поэт, и вполне понятно, что мы, латиноамериканцы, будучи столь великодушными ценителями французской культуры, не можем не восхищаться его лирическим талантом. Однако и Гобино надо читать, надо изучать Гобино...

Я спустился с ним по лестницам, устланным красными коврами, проводив до самой двери. И только мы с Доктором Перальтой собрались было отправиться на Рю дез Акасиа в «Буа Шарбон» мосье Мюзара, как перед нами остановился таксомотор, из которого вышел необычайно взволнованный Чоло Мендоса. Судя по виду моего посла, произошло нечто из ряда вон выходящее, ибо лицо его лоснилось от пота — оно всегда лоснилось, но не так, — волосы причесаны на кривой пробор, галстук съехал на сторону, фетровые гетры на ботинках расстегнуты. Я хотел было съязвить по поводу его регулярных исчезновений в Пасси, Отёй или черт знает куда с какой-нибудь очередной блондинкой, но он протянул мне дрожащей рукой расшифрованные телеграммы Полковника Вальтера Хофмана, Председателя моего Совета министров. «Прочтите, прочтите...» «ИМЕЮ ЧЕСТЬ СООБЩИТЬ ГЕНЕРАЛ АТАУЛЬФО ГАЛЬВАН ПОДНЯЛ МЯТЕЖ В САН-ФЕЛИПЕ-ДЕЛЬ-ПАЛЬМАР С ПЕХОТНЫМИ БАТАЛЬОНАМИ 4 7 9 11 13 (ГВАРДЕЙСКИЕ ЧАСТИ «ЗА СВОБОДУ РОДИНЫ») С Тремя ПОЛКАМИ КАВАЛЕРИИ ВКЛЮЧАЯ ЭСКАДРОН «НЕЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ СМЕРТЬ» С ПЯТЬЮ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ БАТАРЕЯМИ ПОД ЛОЗУНГОМ «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСТИТУЦИЯ ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗАКОННОСТЬ»...»

«Сволочь! Подонок!» — взвыл Глава Нации, отшвырнув телеграммы. «Я прочитаю вам», — сказал Чо-ло Мендоса, поднимая бумажки с пола. Восстание охватило три Северные провинции, грозя распространиться на побережье Тихого океана. Но гарнизоны и офицерство Центральных областей остались верны Правительству, Как уверял Хофман. Нуэва Кордоба не примкнула к мятежникам. Военные патрулировали улицы Пуэрто — Арагуато. Введено чрезвычайное положение, в результате чего, естественно, отложено на неопределенный срок восстановление конституционных гарантий. Газета «Прогресс» закрыта. Боевой дух правительственных войск высок, но не хватает оружия, прежде всего — легкой артиллерии и пулеметов «максим». Его Превосходительство знает, сколь предана ему столица. Ожидаются указания Президента.

«Сволочь! Подонок!» — повторил Глава Нации, словно этими двумя словами исчерпывался весь его лексикон при мысли о вероломстве того, кого он вытащил из дерьма захолустных казарм, — подлый неуч, вшивый солдафон! — взял под свою опеку, воспитал, научив держать в руках вилку и спускать за «собой воду в сортире; вывел в люди, налепив на него галуны и эполеты, назначив, наконец, Военным Министром, который теперь, воспользовавшись его, Президента, отсутствием, учинил... Человек, который столько раз на приемах во Дворце, налакавшись как свинья, называл его своим благодетелем, десницей провидения, отцом родным, любезным куадом, крестным детей своих, — этот человек вдруг возомнил себя чуть ли не Боливаром⁷¹ и, вспомнив об idiotских восстаниях вековой давности, стал, видите ли, заботиться об уважении Конституции, на которую с эпохи Войн за Независимость плевать хотели все правители, потому что, как мы там, у себя, говорим, «практика

⁷¹ Боливар, Симон (1783–1830), называемый Освободителем, — один из виднейших руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке в начале XIX века.

всегда дает пинка теории» и «силой добиваются, бумажкой подтираются...».

«Сволочь! Подонок!» — повторял Глава Нации, вернувшись в Большой Салон и жадно отхлебывая ром «Санта-Инес», который уже не был сладким дыханием родины в минуты ностальгической хандры после бурных парижских ночей, а превратился в жгучий напиток, предвещающий изнурительные марши и контрмарши в близком будущем, бьющий в нос конским потом, отдающий солдатским смрадом и пороховой гарью.

И вскоре пред святой Радегундой Жан-Поля Лоре-на, шляпками Эльстира и гладиаторами Жерома собрался Военный Совет.

Военный Совет. Три тени, спроецированные на стенах и картинах лампой, стоящей на письменном столе: пляшущая, дергающаяся, как в кинематографе, тень Чоло Мендосы; сгорбленная, копошащаяся среди бумаг и чернильниц тень Доктора Перальты; массивная, широкоплечая, содрогающаяся от ярости, сотрясаемая энергичными жестами в глубинах кресла тень Главы Нации, который диктует приказы и распоряжения Перальте: послать телеграмму Ариэлю, моему сыну, послу в Вашингтоне, с предписанием немедленно закупить оружие, боеприпасы, боевую технику и аэростаты воздушного наблюдения, точно такие же, какие недавно поступили на вооружение Французской Армии (они произведут потрясающий эффект там, у нас, где никогда не видели подобного...), а для этого, учитывая, что всякая война обходится дорого и что государственная казна трещит по всем швам, уступить по сходной цене североамериканской компании «Юнайтед фрут» банановые плантации на Тихоокеанском побережье. Эта сделка слишком долго откладывалась из-за деклараций и петиций всяких профессоров и прочих интеллигентов, которые только и умеют болтать всякую ерунду, обличая экспансию, — неизбежную, да, видит бог, неизбежную, фатальную, обусловленную географически и диктуемую исторически, — экспансию империализма янки. Чоло Мендосе: послать телеграмму Хофману с приказом удерживать в своих руках, чего бы это ни стоило, коммуникации между Пуэрто Арагуато и Столицей. Расстреливать тех, кого надо расстреливать. Снова — Перальте: передать по телеграфу «Послание к Нации» с твердым обещанием честно и неподкупно сражаться за свободу Родины, следуя заветам основателей нашей Республики, которые... («В общем, дальше сочиняй сам...»). А Чоло Мендоса уже позвонил в Агентство Кука и узнал, что довольно быстроходное судно «Йорктаун» в полночь выходит из Сен-Назера. Надо было попасть на пятичасовой поезд. Еще одна телеграмма Ариэлю с сообщением о времени прибытия и с распоряжением подыскать любое средство сообщения, чтобы попасть туда как можно скорее: грузовое судно, танкер, что угодно... «Сильвестру: пусть уложит мои чемоданы...» Он еще глотнул рома, уже взнуздав коня великих решений. «Офелии: пусть не беспокоится. У нас достаточно денег в Швейцарии. Пусть едет в Байрейт, как задумала, и развлекается там со своими Нибелунгами... С моими делами я управлюсь в две-три недели. Мне случалось вгонять в гроб генералов похлеще этого ублюдка...»

А когда Сильвестр начал упаковывать багаж, Главе Нации подумалось, что, право, не к добру было его свидание со святой сестричкой из монастыря Сен-Венсан де Поль. Накрахмаленная тока, ладанка и этот резиновый череп, конечно, купленный на Бульваре Капуцинов в магазине «Farces et Attrapes»⁷² — сколько злосчастных совпадений! — понятно, не могли спасти от греха и уберечь от беды. Но Святая

⁷² Забавы и сюрпризы (фр.).

Дева-Заступница из Нуэва Кордобы должна еще раз принять его чистосердечное раскаяние. Он добавит несколько изумрудов к ее короне, осыплет серебром ее мантию и сопроводит дары пышными церемониями. Всюду будут огни. Множество огней. Хоругвь Святой Девы среди церкви и вокруг — масса свечей. Коленопреклоненные кадеты. Торжественный ритуал награждения. Сияние новых орденов, заливающее Храм снизу доверху...

Снаружи, за окнами, призывы «Марсельезы» Рю-да — беззвучные призывы — рвались из широких каменных уст, которые в общем-то не что иное, как трещина в громаде монумента, на котором высечены имена шестисот пятидесяти двух Генералов Империи, покрытых вечной славой... «Неужели только шестисот пятьдесят два генерала? — пробормотал Глава, производя мысленный смотр своей армии. — Справочник Бедекера наверняка ошибается».

Часть вторая

...каждый так убежден в собственной правоте, что мы могли бы сказать: сколько на свете голов, столько и реформаторов...

Декарт

II

Два часа спустя после прибытия путешественников в свой suite⁷³ в отеле «Уолдорф Астория» состоялось подписание с «Юнайтед фронт» договора купли-продажи, молниеносно подготовленного Ариэлем еще тогда, когда его папаша и Доктор Перальта пересекали океан. С формальной стороны документ выглядел безупречно, ибо подписало его лицо, которое на то уполномочено и фактически и юридически (и впредь долго еще будет уполномочено и так и эдак, судя по прогнозам специалистов-политиков, изучающих сей континент), а именно — Конституционный Президент Республики. Помимо всего прочего, Компания абсолютно ничего не теряла при любом ходе событий, поскольку у Генерала Атаульфо Гальвана, когда он поднимал мятеж, хватило ума заявить представителям печати, что отныне и навсегда, и сегодня и завтра, *hic et nunc*,⁷⁴ и на любом этапе вооруженной борьбы, и после «несомненной победы» возглавляемых им сил — о чем речь, дружище! — все капиталы, земли, концессии и монополии североамериканцев останутся в неприкосновенности. Телеграф принес известие, что революционеры укрепили свои позиции на Атлантическом побережье, — их пока еще поддерживали четыре провинции из девяти, если глядеть трагической правде в глаза, — но попытки врага пробиться к Пуэрто Арагуато и перерезать коммуникации между Столицей и Океанским Побережьем натолкнулись на упорное сопротивление правительственных войск. Военная эскадра ожидала Главу Нации в Карибском море вблизи одного острова, где бросит якорь голландское грузовое судно, которое затем продолжит рейс в Ресифе. Что касается оружия, закупленного у одного из агентов, сэра Бэзила Захароффа⁷⁵, то оно должно быть погружено во Флориде на судно, приписанное к

⁷³ Номер-люкс с несколькими комнатами (англ.).

⁷⁴ Здесь и сейчас (лат.).

⁷⁵ Бэзил Захарофф — греко-англо-французский банкир, торговец оружием в первую мировую войну.

греческому порту и бороздящее моря под командой пирата, который обычно поднимал панамский или сальвадорский флаг по выходе из территориальных вод Соединенных Штатов, когда направлялся обделывать свои обычные делишки — перевозить людей, оружие, рабов-поденщиков, все, что душе угодно... — в те американские страны, что находятся пониже и где он знал все фарватеры, бухты и отмели так же хорошо, как и местные проныры-контрабандисты.

Поскольку тем вечером больше не предвиделось неотложных дел, Глава Нации, обожавший классические оперы, захотел послушать «Пеллеаса и Мелизанду»⁷⁶ в Метрополитен-Опера, где знаменитая Мери Гарден исполняла заглавную партию. Его друг Академик давно расхваливал партитуру этой, видимо, в самом деле прекрасной оперы, ибо в Париже у нее было много страстных поклонников, которых извращенный остряк Жан Лоррен называл «пеллеастами»...

Итак, они заняли свои места в первом ряду, дирижер поднял палочку, и огромный оркестр, разместившийся где-то внизу, у них под ногами... не стал играть. Да, не стал играть, вернее, стал не играть, а издавать шорохи, взвизги, пiski — одна нота здесь, другая там, — какие-то звуки, но никак не звуки музыки «А где же увертюра?» — спросил Глава Нации. «Сей час будет, сейчас будет, — успокаивал Перальта, ожидая, что вся эта шумовая каплея сольется в один поток, окрепнет и выльется в мощное фортиссимо. — «Фауст» и «Аида» тоже так начинаются, шепотком, как говорится, под сурдинку, чтобы подготовить слушателя, а потом ошарашить». Но вот уже поднялся занавес, а звуковая возня продолжалась. Многочисленные оркестранты, напряженные, не сводившие глаз с пюпитров, играть не начинали. Они давили пальцами на пистоны, выплескивали слюну из амбушуров, отрывая на секунду трубы от губ; дергали струны, щекотали арфы кончиками пальцев, но так и не могли сосредоточиться на какой-нибудь мелодии. Легкий вздох здесь, чуть слышный стон там, намек на тему: эмоция, которая умирала, едва успев родиться. А наверху, на подмостках, топтались два персонажа: говорили, говорили, но запеть так и не решились. Затем — смена декораций: средневековая сеньора с произношением уроженки Канзас-Сити читала длинное-предлинное письмо. Ей внимал какой-то старец. В его выкрики уже не стоило вслушиваться, скучища была смертная, а там уже и антракт...

Театрализованное зрелище в фойе и коридорах побудило Главу Нации отпустить несколько ядовитых реплик и колкостей по поводу псевдоаристократичности манер и одежды нью-йоркской знати, особенно в сравнении с парижской. Как бы ни был безупречен фрак, облегающий дюжего янки, этот «джентльмен» в своей огромной манишке с белой бабочкой всегда выглядит каким-то фокусником-иллюзионистом. Когда он в знак приветствия поднимает цилиндр, так и кажется, что оттуда выскочит кролик или выпорхнет голубок. На матронах из числа четырехсот семейств слишком, много соболей, слишком много диадем, слишком много камней от Тиффани. И у всей этой публики — пышные резиденции с непременно готическими каминами, вывезенными из Фландрии; с колоннами из Ключийского аббатства, доставленными в трюмах океанских лайнеров; с картинами — Рубенса или пейзажистки Розы Бонёр — и с парой подлинных танагрских статуэток⁷⁷, которым никак не удастся соразмерить

⁷⁶ «Пеллеас и Мелизанда» — опера К. Дебюсси по одноименной пьесе М. Метерлинка. Написана в 1902 году. В основу вокальных партий оперы положен декламационный речитатив.

⁷⁷ Танагрские статуэтки — раскрашенные терракотовые женские фигурки из некрополя древнегреческого города Танагра.

свои танцевальные па с ритмами Александр-Рэт-Тайм-банда, заставлявшими дрожать оконные стекла эпохи Возрождения. Хотя некоторые фамилии древнеголландского или древнебританского происхождения восходят, по слухам, ни более ни менее как к XVII веку, они, особенно если звучат поблизости от Сентрал-парка, тоже кажутся какой-то импортной продукцией — нелепой и экзотической, совсем как странные титулы — Маркиза по Указу Короля, за Заслуги перед Королем или по Милости Короля, — которые в ходу у нас, в Латинской Америке.

Эта аристократия была в общем такой же профанацией, как и вся постановка оперы, что шла в тот вечер и действие которой развертывалось на фоне довольно сомнительного средневековья, стрельчатых сводов из неопределенной страны, королевской мебели непонятного стиля, зубчатых стен неизвестной эпохи, то и дело выплывавших — по прихоти художника-декоратора — из вечной мглы. Снова поднялся занавес, промелькнули какие-то сцены, вскоре опять прерванные антрактом; и снова взвился занавес, и промелькнули другие сцены — в дымке, в тумане, в сумраке; гроты, тени, ноктюрны, невидимый хор, замершие в полете голуби, трое спящих оборванцев, далекие неподвижные стада и всякие иные вещи, которые, наверное, понятны другим, но сокрыты для нас... И когда наконец время подошло к последнему антракту, Глава Нации не выдержал: «Здесь никто и не думает петь, где тут баритон, тенор или бас?.. Ни арий, ни танцев, ни массовых сцен!.. Полюбуйтесь-ка на эту толстозадую дылду-американку, одетую мальчишкой, которая прилипла к окну дома, где здоровенный молодой парень и длинноволосая блондинка заняты только своими делами... А какого дьявола тут еще этот мозгляк, который стоит под окном и тихо страдает... А этот старикашка с физиономией Чарльза Дарвина, бубнящий, что будь он господом богом, то сжалился бы над несчастными людьми... Так вот: пусть наш друг Академик и сам Д'Аннунцио уверяют меня, что это чудо из чудес, я предпочитаю «Манон», «Травиату» и «Кармен»... И если уж мы заговорили о шлюхах, везите-ка меня к шлюхам...»

Через какое-то время все трое оказались в апартаментах на 42-й улице, где насурьмленные и причесанные под кинозвезд блондинки угощали их коктейлями из ликеров — тогда было модно смешивать ликеры, — а они забавлялись тем, что уподобляли ту или эту здешнюю мешанину нашим спиртным смесям: веракрусанским «минюлям» Отеля Дилихенсиас; антильским розовым пуншам; кубинским зельям, ароматизированным мятой; «Утренней петушиной росе»; джину с ангостурой; напитокку из кресса и лимонов или чистейшей чиче и пульке из наших Жарких Земель. Женщины приходили в изумление, глядя, как Глава Нации, мужчина далеко не первой молодости, опустошает стопку за стопкой, — всякий раз поднимая ее медленно и торжественно, — опустошает без лишних слов, не теряя достоинства и сохраняя гордый вид. Его сын Ариэль, наверное, впервые видел, как он умеет пить («День на день не приходится», — объяснил Перальта), ибо на приемах в своих дворцовых покоях Глава Нации всегда произносил хвалебные речи в честь минеральных вод, в честь целебного Источника Пилигримов, — возле которого он купил заводик по разливу воды в бутылки, — и вообще являл собой образец воздержания. На празднествах и торжественных собраниях он ограничивался одним-двумя бокалами шампанского и, нахмутив брови, с благородным возмущением сурово порицал неудержимый рост числа публичных домов и питейных заведений, что было одной из серьезнейших социальных проблем государства, язвой на теле нашего общества, существованию которой мы, понятно, обязаны исконной порочности индейцев и

старым водочным монополиям времен испанского колониального господства. И того не знали люди, что в саквояжике, который всегда носил с собой Доктор Перальта и который, по видимости, был набит документами государственной важности, хранилась дюжина купленных в парижском магазине «Гермес» плоских, чуть вогнутых карманных фляжек английского образца, обтянутых к тому же свиной кожей, дабы они не звякали при тряске. Таким образом, в президентском ли кабинете, в кулуарах Зала Совета, в опочивальне ли — конечно, это не было тайной для Мажордомши Эльмиры, — в поезде ли, на отдыхе во время путешествий верхом стоило Главе Нации дотронуться указательным пальцем до своего левого уха, как тут же, одна из фляжек выскакивала из сугубо делового саквояжика его секретаря. А вообще-то этот строгий и насупленный пропойца-любитель смочить горло *before breakfast*⁷⁸ — коему добрая Эльмира готовила всякие зубные эликсиры, ментоловые пастилки, вяжущие полоскания, и, надо сказать, готовила на совесть, изо всех сил старался скрыть от глаз людских свое давнее пристрастие к рому «Санта Инес», который однако, — это надо признать — никогда не подкашивал ему ноги, не лишал его трезвости суждений в любой конфликтной ситуации, не добавлял лишних капель пота на влажный лоб. Сам же он всегда обращался к присутствующим, немного наклонив голову и стараясь не дышать на них, и говорил с ними не иначе как через стол или на расстоянии трех шагов, — подобная дистанция лишь усиливала, если можно было еще усилить, величественность его патриархальной фигуры. К этим мерам предосторожности присоединялось постоянное употребление зубных эликсиров, ментоловых пастилок, вяжущих полосканий из солодкового корня, не говоря о таких внешних отвлекающих средствах, как одеколон и лавандовое масло, всегда овевавшие тонким ароматом его темные костюмы и накрахмаленные рубашки — эти поистине достойные атрибуты достойнейшего Главы Нации...

В тот вечер, взирая, как он пьет, Ариэль изумлялся поглотительной способности отца, намного превосходившей его, Ариэля, собственные возможности. «У него на редкость здоровый организм, — пояснял Доктор Перальта. — Это не то, что мы, труха, вспыхивающая от капли спиртного...» На следующий день, приобретя у «Брентано» великолепное издание «Факундо» Сармьенто⁷⁹, — что послужило ему поводом для полных горечи сентенций о трагической судьбе латиноамериканских народов, вечно впутываемых в манихейскую борьбу варварства и цивилизации, прогресса и каудильизма, — Глава Нации вступил на палубу голландского сухогруза, который намеревался мимоходом бросить якорь в Гаване...

И вот море уже стало светлее, и широкая желтая лунная дорожка закачалась на карибских волнах, освещая причудливые узоры водорослей саргассо и взлеты летучих рыбок. «Совсем другой воздух», — сказал Глава Нации, с удовольствием вдыхая ветерок, доносивший до него ни с чем не сравнимое дыхание далеких мангровых чащоб... В Гаване консул сообщил, что Полковник Хофман, несмотря на нехватку винтовок, продолжал держать оборону и не давал революционерам продвинуться ни

⁷⁸ До завтрака (*англ.*).

⁷⁹ «Факундо» — сочинение аргентинского государственного деятеля, ученого и публициста Доминго Фаустино Сармьенто (4511–1888) (Полное название — «Цивилизация и Варварство. Жизнь Хуана Факундо Кироги. Физическая характеристика, нравы и обычаи Аргентинской республики», 1845). В этой работе, написанной под влиянием европейского утопического социализма, Сармьенто анализирует экономическое и политическое положение Латинской Америки, противопоставляя насилие и отсталость прогрессу и демократии.

на шаг. Из Парижа на телеграфный запрос ответили то же самое. Поскольку известия были благоприятны, а в Гаване бурлил карнавал, Глава Нации с удовольствием остался поглядеть на шествие ряженных и демонстрацию маскарадных костюмов, швыряя серпантин направо и налево. А затем, облачившись в черное домино, отправился на «Бал каблуков», где мулатка в костюме маркизы времен Людовика не то Пятнадцатого, не то Шестнадцатого — розовый кринолин, напудренный парик, мушка на румянах, красно-зеленый веер и черепаховый лорнет — показала ему, как можно танцевать не танцуя, отбивать чечетку на одной каменной плитке, как можно вибрировать по вертикали, почти не сходя с места.

Она вращала бедрами все быстрее и быстрее, а затем — все медленнее, совсем медленно, пока не застыла в неподвижности, распространяя запах пропотевшего атласа, более влажного, чем ее тело, — и все это сопровождалось визгом кларнета и трубы, грохотом барабанов ансамблей Валенсуэлы и Корбачо. Когда ряженные стали расходиться и — ярус за ярусом — начали гаснуть огни театра, мулатка пригласила Главу Нации к себе, туда, где неподалеку от Вифлеемской арки находился ее «скромный, но приличный», как она выразилась, дом с патио, засаженным гранатами, альбаакой и кориандрами. Они сели в коляску, запряженную тощей сонной кобылой, — извозчик то и дело подгонял ее длинной палкой с гвоздем, — и потащились среди огромных, погруженных в сон домов, от которых несло вялым мясом, патокой и кухонным дымком, а легкое дуновение моря посылало то с одной, то с другой стороны запахи жженого сахара, кофе и раскаленной плиты, тяжелый дух стойла или шорной мастерской, усиливало дыхание замшелых и просоленных старых стен, сырых от ночной росы.

«Охраняй мой сон, дружище», — сказал мне Глава Нации. «Не беспокойтесь, дорогой друг, у меня есть все, что требуется», — ответил я, вытащив браунинг из-за пазухи... И пока Глава Нации и мулатка Луиса находились за синей дверью, я сидел на складном, табурете из коровьей шкуры, положив пистолет на колени. Впрочем, никто и не знал, что мой Президент находится в этом городе. Он сошел на берег с фальшивым паспортом в кармане, чтобы по телеграфу не сообщили о его прибытии туда, куда он хотел нагряться нежданно-негаданно... Запели петухи, рассеялась ночная тьма, и в какие-то считанные минуты воздух заполнился обычным шумом и гамом: затрещали повсюду колокольцы повозок и двуколок, зазвякали колечки занавесок, заскрипели жалюзи, замельтешили корзины и подносы: «Цвеееты, цветочки! Щеотки, щеточки! Купите счастливый билетик!» Появились и дерущие глотку наподобие грегорианских певчих торговцы сладкими хлебцами, авокадо и маисовыми лепешками с острой начинкой; и старьевщик, меняющий свистульки на бутылки; и продавцы газет, выкрикивающие последние новости: кубинский авиатор Росильо сделал мертвую петлю лучше француза Пегу; самоубийство-самосожжение; захват бандитов в Камагуэе; волна холода на высотах Пласетас — плюс тринадцать градусов по данным обсерватории; сложное положение в Мексике⁸⁰, где происходит настоящая революция: об этом мы знали из наводящих ужас сообщений Дона Порфирио, — и в нашей стране, да, в нашей стране (ее название выкрикнул газетчик), одержал победу Атаульфо Гальван (да, кажется, он сказал «победу») в районе Нуэва Кордобы...

Встревоженный, я разбудил Главу Нации, который спал, прижавшись своим

⁸⁰ имеется в виду развитие мексиканской революции 1910–1917 годов.

толстым волосатым бедром к полной, но стройной ноге мулатки. И вот уже вместе с ним, безупречно одетым и исполненным достоинства, мы идем пешком к пристани Сан-Франциско, где нас ждет грузовой корабль, готовый к отплытию... Из шарманки, разукрашенной кисточками и портретами Челиты и Прекрасной Камелии, вдруг вырываются пронзительные звуки пасодобля, аккомпанирующего бою быков. «Ну и бурный же город! — замечает Глава Нации. — По сравнению с ним наша Столица — типичный женский монастырь».

Наконец-то мы прибыли в Пуэрто Арагуато, где нас встретил Полковник Хофман, подтянутый, сверкая моноклем, как всегда в торжественные дни, и доложил, что все в порядке, положение не изменилось. Бунтовщики пользуются поддержкой лишь в Северных провинциях, население которых питает старую традиционную вражду к Центральному правительству, считая себя угнетаемым, униженным и живущим на положении бедного родственника, хотя оно, это население, владеет самыми богатыми и плодородными землями нашей страны. Из пятидесяти трех переворотов, происшедших за один век, более сорока инспирированы именно северными каудильо. Никто еще не знает, за исключением министров и старших офицерских чинов, что Глава Нации прибудет сегодня. Расчет на эффект неожиданного появления...

Я, чертовски расстроенный и разозленный изменой человека, которому доверял больше, чем кому-либо, смотрел на панораму порта с палубы сторожевого катера и вдруг до того растрогался, что даже, стыдно сказать, слезы подступили к горлу при виде груды маленьких ранчо, лепившихся одно поверх другого на крутом склоне холма, — словно хрупкая пирамида карточных домиков. Гнев мой поутих при встрече с родными берегами, и я, вдруг словно прозрев, ощутил, что этот воздух и есть тот самый «мой воздух»; что вода, которую я пью, — вода как вода, — но ее вкус напоминает о других забытых вещах, связанных с канувшими в прошлое людьми, с событиями, встававшими перед глазами, воскресавшими в памяти. Надо дышать глубоко. Пить медленными глотками. Возвращаться назад. В нереальную реальность. И когда поезд полз все выше и выше, извиваясь и прорезая туннели, делая короткие остановки среди, скал и колючих кустарников наших Жарких Земель, я уже мог видеть, — не видя, а скорее обоняя, — ажурные густые кроны во мгле чащоб; представлять себе дерево по одному свежему излому ветви; узнавать о встречах с красным кряжистым амарантом по его терпкому запаху... Какая-то обнаженность души, обезоруженность, разнеженность, умиротворенность, готовность к снисхождению, возможному примирению — все эти сантименты, оставшиеся от той поры, когда здешнее виделось оттуда, все это с каждым часом уходило от меня дальше и дальше, к подножию Триумфальной арки. По мере того как я поднимался к своему Президентскому креслу, во мне накапливалась ярость, — возможно, от свидания, почти соприкосновения с этой неистойвой растительностью, ведущей упорную борьбу за то, чтобы отвоевать прорубленный в ней коридор железной дороги, по которой пыхтя тащился наш локомотив, и я снова взирал на досадные события с растущей злостью и ожесточением. С каждой сотней метров, преодолеваемых паровозом, я все более утверждался в своем могуществе и обретал былую уверенность в себе, взбадриваемый свежим ветерком, уже тянувшим с горных вершин. Надо быть жестоким, безжалостным, как того требуют безжалостные, беспощадные Силы, составляющие пока необъяснимый, но всеобъемлющий смысл бытия — биение пульса — здешнего мира, который еще лишь сотворяется и неизвестно каким будет по своим очертаниям, проявлениям, устремлениям и конечным результатам. Ибо там, в Европе,

Базель с его рейнско-речными хлопотами тысячелетней давности все продолжает считаться морским портом, а Сена с ее bateauxmouches⁸¹ все так же продолжает измеряться вековыми пролетами моста Пон-Нёф, на котором толпятся ренессанские старьевщики и лоточники, в то время как здесь, сейчас, ежеминутно, сельва идет войной на сельву; воедино сливаются поймы рек, а реки за ночь меняют русла; здесь, где десятки городов, однажды возведенных, восставших из грязи и одевшихся в мрамор, поднявшихся от свинарников к дворцам и взамен гитары местного певца озвученных голосом Энрико Карузо, мгновенно обращаются в руины, никому не нужные и заброшенные, едва какая-то селитра перестает интересовать мир, едва экскременты каких-то морских птичек — из тех, что молочными брызгами кропят прибрежные скалы, — перестают котироваться на Больших биржах с их грифельными досками, шумом и толчеей, да, перестают котироваться, ибо им на смену приходит какой-нибудь эрзац, рождающийся в пробирке немецких химиков... По мере того как грудь мою распирало воздухом родной страны, я все больше становился Президентом...

Да, я был Истинным Президентом, когда стоял в тамбуре вагона — монументальная поза, каменное лицо; стек в руке, повелительные жесты — и смотрел на приближавшуюся столицу, возвещавшую о себе банальной картиной пригородов: мыловарня, лесопилка, электростанция; направо — громада полуразрушенного дворца с кариатидами и атлантами, обшарпанный мозаичный минарет; налево — огромные рекламные щиты: «Эмульсия Скотта» и «Лосьон Помпейя», «Мазь Слоана» от всех болезней и «Эликсир из целебных трав Лидии Пинкхэм» — непревзойденное средство от климактерических недомоганий — рядом с ее портретом: дама в гофрированном воротнике с камеей. Но над всем — над всем и вся — мука марки «Aunt Jemima», — «Тетушка Джемима» — стоит поглядеть на этикетку! — пользовалась особой славой в поселках бедноты, городских бараках и сельских хибарках: на коробке красовалась дородная негритянка, повязанная платочком в клетку — по моде местных женщин с побережья. («Точь-в-точь бабушка пруссака Хофмана», — говаривали шутники, имея в виду старуху, которая вечно копошилась где-то на задворках полковничьего дома и никогда не показывалась на званных обедах и приемах, лишь изредка выглядывая на улицу, когда надо было торопиться к вечерней мессе или крикливо торговаться о цене эстрагона или салата с зеленщиками, которые на заре, до того как омоеся светом Вулкан-Покровитель, спускались с ближайших гор, понукая осликов, сгибавшихся под тяжестью переметных сум...

Рельсы сходились перед нами и расходились, бежали навстречу огни светофоров, и вот в два часа пополудни мы подъехали к пустынному вокзалу Великой Западной дороги — сплошной металл и матовое стекло (почти все битое), — построенному недавно французом Бальтаром. Военный атташе Соединенных Штатов встречал нас на платформе вместе с членами Кабинета. И вереница автомобилей направилась в город, тихий, словно вымерший из-за комендантского часа, введенного сначала с восьми вечера, потом с шести, а начиная с этого дня — с половины пятого. На высоких тротуарах спали с наглухо закрытыми ставнями и дверями серые, бурые, желтые дома, выпятив ржавые водосточные трубы. Конная статуя Основателя Государства возвышалась на Городской площади в мрачном одиночестве, хотя у ее подножия водили хоровод герои, отлитые из бронзы. Большой Театр со своими высокими

⁸¹ Речные трамвайчики (фр.).

классическими колоннами, возле которого не было ни души, казался диковинным мемориалом. Правительственный дворец сиял огнями в ожидании Чрезвычайного Совета заседание которого должно было продлиться до завтрака. А в десять утра толпы народа, призванные сюда патетическим воззванием, опубликованным в специальном выпуске утренних газет, уже топтались перед зданием из вулканического тесонтия с мозаикой, которое было возведено в эпоху Завоевания одним вдохновенным архитектором, бежавшим от святой инквизиции и построившим в стране самые красивые храмы колониальных времен, ныне объявленные Национальными Обителями Святой Девы-Заступницы из Нуэва Кордобы. Когда Глава Нации появился на балконе, раздался столь мощный приветственный рев, что сотни голубей в испуге разом сорвались со всех крыш и террас, придававших городку в низине вид красно-белой шахматной доски, пронзенной тридцатью двумя шпильями церквей более высокого или более низкого ранга. После того как умолкли здравицы, Президент стал держать речь, по своему обычаю неторопливо, выдерживая паузы, произнося слова четко и звучно, в теноровом диапазоне, точно выражая свои мысли, хотя и употребляя слишком много, по мнению большинства, таких красивых надуманных слов, как «прегуманный», «очезримый», «рокамбольный», «эристичный», «демонстрантный». А затем, повышая голос, начал вызывать в воображении слушателей ярчайшие образы Кавдинского ига⁸², Дамокловых мечей, переходов Рубикона, Иерихонских труб, Сирано де Бержераков, Тартаренов и Клавиленьо⁸³ вперемежку с гордыми пальмами, родимыми землями, кондорами и пеликанами. Потом перешел к бичеванию «льстивых демагогов», «коварных янычар», «продажных кондотьеров», всегда готовых запятнать свои шпаги позором бесчестных поступков, возмутителей спокойствия в обществе, где трудолюбие и приверженность к патриархальному образу жизни сделали всех нас членами одной большой семьи, но такой Большой семьи, которая, будучи сплоченной и здравомыслящей, всегда неумолима и строга к своим блудным сынам, если они, вместо того чтобы, согласно библейскому сказанию, покаяться в грехах, хотят опустошить и поджечь Отчий дом, где, получив награды и чины, они наконец сделались людьми...

Немало злых шуток отпускалось по поводу витиеватости речевых оборотов Главы Нации. Однако — Перальта именно так это и понимал — тот употреблял их не ради любви к вычурности языка. Президент знал, что эта языковая изощренность являла собой стиль, который создавал ему особый ореол, а употребление слов, выражений, непривычных эпитетов, которые не доходили до публики, отнюдь не вредило оратору. Напротив, возрождение атавистического культа изысканности и цветистости создавало ему славу знатока изящной словесности, чья речь составляла разительный контраст с грубыми выпадами, площадной руганью и косноязычными прокламациями его противника...

Завершив свою речь страстным призывом к спокойствию, согласию и сплоченности всех граждан доброй воли, всех достойных наследников Основателя Государства и Отцов Родины, чьи священные гробницы стоят рядами в нефах

⁸² Кавдинское иго — в IV веке самнитский военачальник Понтий Эренний разгромил в ущелье близ города Кавдия римское войско и заставил всех пленных пройти под символическим «ярмом», которое было сделано из двух воткнутых в землю копий, соединенных перекладиной. Ныне это обозначение действия, унижающего побежденных.

⁸³ Клавиленьо — деревянный «волшебный» конь, о приключениях с которым героев «Дон-Кихота» рассказывается в главе XI второй части романа.

соседнего пантеона («...оберните головы свои туда, — и не глаза, а душу свою устремите. К этой гордой вавилонской башне...» и т. д., и т. п.), Глава Нации, после того как стихли последние шумные возгласы одобрения, направился в Зал Совета, где на длинном столе красного дерева были расстелены различные карты. Втыкая в них флажки на булавках — одни национальных цветов, другие красные, — Полковник Вальтер Хофман, Председатель Совета, отныне исполнявший обязанности Военного министра, без лишних слов и без прикрас обрисовал военную ситуацию. Вон за той линией находятся мерзавцы и подонки, а здесь, здесь и здесь — доблестные защитники нации. В последние недели мерзавцам и подонкам оказывали помощь другие мерзавцы и подонки, это видно на карте. Однако после передачи зоны Тихоокеанского побережья компании «Юнайтед фрут» враги отрезаны от Бухты Негра и лишены возможности получать боеприпасы. Верные присяге войска сдерживают наступление революционеров на Северо-восточном направлении: «Но если бы у нас было больше оружия, мы перешли бы к контратаке». — «Через неделю у нас будет все, что надо», — сказал Глава Нации, пояснив, что груженные суда отходят от берегов Флориды, а фрахт уже оплачен. Главное — поднять боевой дух правительственных войск. Он сам, например, лично отправится этим же вечером на передовую. В целом ситуация, хотя и сложная, не вызывает серьезных опасений. «А как в Нуэва Кордобе?» — тем не менее поинтересовался Президент, вспомнив об этом странном городе с полуразрушенными дворцами и многочисленными рудниками, может быть, слишком индейском городе, который вселял тревогу своим вечным недовольством, внушал страх своими внезапными бунтами, всегда оказывал самое упорное сопротивление во времена прежних восстаний. «Там спокойно, — ответил Хофман. — В тех местах Атаульфо не популярен. Поэтому он обошел город, не заняв его. Кроме того, он обещал уважать интересы англичан и американцев, которых там много, и не развертывал военных действий в той зоне, желая показать себя человеком слова». Главе Нации захотелось спать. Велев Мажордомше Эльмире приготовить себе походный мундир, начистить ваксой сапоги и натереть замшей до блеска каску с острием, он, повинувшись внезапной прихоти, вдруг овладел ею, задрал юбки, когда она стояла, нагнувшись над низким мраморным камином, а потом что-то лепетала смущенно и восторженно по поводу «искусности» своего господина, пожившего в Париже, — хотя Париж, этот ужасный Париж, совсем лишает людей души... Затем он улегся на свой гамак, дабы соснуть немного...

Открыв глаза после отдыха, первое, что он увидел, было лицо — на сей раз мрачное и озабоченное — Доктора Перальты. Студенты светского Университета «Сан Лукас» имели наглость пустить по рукам совершенно недопустимый, беспардонный манифест, по мере чтения которого рос гнев Президента. Там, в частности, напоминалось, что он захватил власть путем военного переворота, что утвердился на своем посту с помощью фальсифицированных выборов, что его полномочия были продлены на основе самовольного пересмотра Конституции, что его перевыборы... В общем, завершалось сие писание так же, как все ему подобные: пора покончить с властью, не имеющей ни цели, ни доктрины, держащейся на одних эдиктах и декретах, с Президентом-Проконсулом, который правит от имени правительства, но по указке, вернее, по шифровке своего сына Ариэля, посла в США. Однако самой большой неприятностью, ибо это уже было нечто новое, явилось заявление студентов, будто ныне что мундир, что сюртук-один черт, и бороться за дело правительства столь же глупо, как и за дело так называемых «революционеров». Меняются, мол, только

игроки у того же самого игорного стола, а нескончаемая пуля длится уже более ста лет... И человеком, который мог бы восстановить конституционный правопорядок и демократию, объявлялся Доктор Луис Леонсио Мартинес, суровый профессор философии, переводчик Платона, — его хорошо знал Перальта, ибо они когда-то вместе учились. Это был лысоватый человек с высоким выпуклым лбом и набухшими прожилками на висках, говоривший резко и кратко, не терпевший пьяниц и лежебок, воинствующий вегетарианец, отец девяти детей, поклонник Прудона, Бакунина и Кропоткина. Он когда-то переписывался с Франсиско Феррером ⁸⁴, учителем-анархистом из Барселоны, и организовал в городе огромную демонстрацию при известии о расстреле Феррера в Монтжуике, демонстрацию, проводившуюся с разрешения Главы Нации, ибо протест был всеобщим, а кроме всего прочего, этот Феррер уже перешел в мир иной и никто его оттуда вернуть уже не мог. Людское шествие, начавшееся засветло и окончившееся к девяти вечера (три часа выкриков, не направленных против Правительства), должно было показать наше уважение ко всем и всяческим свободам, нашу терпимость ко всем и всяческим идеям и т. д. и т. п. Доктор Луис Леонсио Мартинес, помимо всего прочего, прекрасно сочетал свое пристрастие к свободомыслию с влечением к теософии, страсть к которой ему внушили «Упанишады» и «Бхагавадгита»⁸⁵, оккультистки Анни Безант и мадам Блаватская, а также астроном Камиль Фламарион, и потому весьма интересовался связью с потусторонним миром, которая устанавливалась в тесном кругу на спиритических сеансах с помощью вращающихся столиков и медиумов, где постукивания и подскоки блюдечек извещали о явлении Сведенборга, графа Сен-Жермена или еще живой, но такой недоступной красавицы Эусалии Паладино...

А теперь этот мечтатель, этот бледный утопист вдруг объявился в Нуэва Кордобе, подстрекая к бунту рабочих на оловянных и медных рудниках с помощью полудюжины студенческих вожаков. Конечно, ему приходилось нелегко, если еще принять во внимание, что он был сугубо кабинетным ученым, которого обожало некоторое число единомышленников, но как политика почти никто не знал в стране.

Вновь обретя душевное равновесие после вовремя принятой рюмки рома и проанализировав обстановку как тактик и стратег, Президент сообразил, что, по сути дела, беспорядки в тылу Генерала Атаульфо, их общего врага, принесут ему, Президенту, одну только пользу, заставив мятежника ограничиться двумя Северо-восточными провинциями. А если в Нуэва Кордобе положение обострится, можно будет в конце концов обратиться за помощью к Соединенным Штатам, поскольку Белый дом готов — сейчас как никогда — покончить со всеми анархистствующими и социалистующими движениями в этой низкой Америке, такой взбалмошной, такой южной. И Глава Нации уже собрался обсудить дела с Полковником Хофманом, когда вторая листовка, написанная в ядовито-сатирическом тоне, снова распалила — пуще прежнего — его поутихшую ярость. Это было забавное переложение его собственных упражнений в велеречивости на уличный язык едкой

⁸⁴ Феррер, Франсиско — основатель и директор «Современной школы» в Барселоне, пропагандировавшей теорию, согласно которой путь к разрешению социальных противоречий — широкое распространение культуры и одновременно изменение содержания этой культуры. Привлекался к суду как анархист, хотя официально в анархистские организации не входил. Вторично был арестован после стихийного восстания в Барселоне в 1909 году и расстрелян в крепости Монтжуик.

⁸⁵ Упанишады и Бхагавадгита — индийские религиозно-философские трактаты.

пародии, где сам он фигурировал как «Тиберий из оперетки», «Сатрап Жарких Земель», «Молох. Государственной казны», «Толстосум Монте-Кристо», который во время своих вояжей по Европе швыряет на ветер миллионы. Его приход к власти определялся как «18 брюмера Мониподио»⁸⁶. Его Кабинет министров именовался «Goldenrush»⁸⁷, «Двором Чудес» и «Советом дружков-приятелей». Авторы не пощадили никого: Полковник Хофман был «пруссакком с черной бабкой на задворках». Генерал Атаульфо Гальван — «Забулдыгой-пустобрехом», «Варваром при кобуре и сабле», а многочисленные агенты и начальники службы безопасности ассоциировались — в трагическом или гротесковом плане — со служителями инквизиции или персонажами театра-буфф. Самым же скверным было то, что его дочь Офелия объявлялась «Дочерью царя Мидаса», и тут же приводились факты вроде того, что у местных нищих женщин нет ни одного родильного дома, а прелестная креолка, коллекционерша старинных камней, дивных музыкальных шкатулок и скаковых лошадей, раздаёт тысячи песо (по курсу 2,27 за доллар) таким учреждениям и организациям, как «Миссионерские службы в Китае», «Лига любителей готического искусства» и фонд «Капля Молока», председателем которой была одна европейская герцогиня... Здесь шутки уже переходили всякие границы, а Главе Нации было не до шуток. Мало того, Полковник Хофман явился к нему с сообщением, что студенты, укрывшись в Университете, митингуют против Правительства. «Пошлите кавалерию и займите здание», — сказал Президент. «Но как быть с их вековой привилегией? С автономией?» — «Мне некогда думать о всякой ерунде. Хватит, они уже намозолили нам глаза своей автономией. В стране — чрезвычайное положение». — «А если студенты будут сопротивляться, швырять кирпичи с крыш и покалечат лошадей, как в 1908 году?» — «Тогда... Не жалеть свинца! Повторяю, в стране чрезвычайное положение, и нельзя допускать никаких беспорядков...»

Полчаса спустя в патио Университета «Сан-Лукас» загремели выстрелы. «Если будут убитые, — сказал Глава Нации, застегивая китель, — не устраивать никаких торжественных похорон, никаких гробов на плечах и речей на кладбищах. Положить конец всем этим сборищам в знак траура. Отдать ящик семье, и пусть роют яму без визга и писка. В ином случае все семейство, включая родителей, стариков и щенят, отправлять за решетку... На улице продолжали греметь выстрелы. Восемь убитых и дюжины две раненых. «Послужит им уроком, — сказал Глава Нации, садясь в длинный черный «рено», который повез его к вокзалу. — Среди солдат есть убитые?» — «Двое, потому что один студент и один педель имели оружие». — «Устроить погребальную церемонию национального значения, с орудийным салютом, траурными маршами; и захоронением в Пантеоне Героев, ибо они пали на боевом посту...»

А затем началась операция по отправке войск на фронт. На перронах, как на плац-параде, сверкали каски и поскрипывала кожаная амуниция, звякали шпоры и красовались в руках офицеров бинокли и стеки; туда-сюда бегали сержанты, похожие на немецких фельдфебелей, и надзиравшие за погрузкой войск: в обычные, вагоны, в вагоны для скота и в багажные. Сначала грузилась солдатская элита — стрелки-егеря и гусары в блестящих сапогах и с блестящей выправкой, принадлежавшие к личной охране Президента. После них, в другой эшелон, лезли пехотинцы, куда менее

⁸⁶ Мониподио — персонаж новеллы М. де Сервантеса Сааведры «Ринконете и Кортадильо», главарь воровской шайки.

⁸⁷ Золотая лихорадка (англ.).

лощенные, в выцветших мундирах и грубых башмаках, а затем очередь дошла и до вояк третьего сорта — в обуви не по размеру, с мачете за поясом, с патронташами и старыми винтовками через плечо. Всюду шныряли солдатки, пристраиваясь к ротам и полкам, влезая в окошки, взбираясь на крыши со своими печурками и кухонной утварью, с грудями циновок и мешков: На открытые платформы взгромоздили две пушки Крупна на полукруглых лафетах, оснащенные весьма сложными механизмами наводки — с зубчатыми колесами, какими-то рычагами и рукоятками. «А это для красоты?» — осведомился Глава Нации. «Опыт показал, — ответил Хофман, — что их можно транспортировать в повозках, запряженных четырьмя парами быков». — «Очень удобно для быстрых передислокаций», — заметил Президент, которого вся эта суматоха привела в доброе расположение духа...

Наконец, по прошествии трех часов, в течение которых составлялись эшелоны, двигались вагоны, прицеплялись вагоны, отгонялись вагоны или выяснялось, что эти вагоны не годятся, а те годятся, но у них неисправны тормоза; что в цистерне тухлая вода, что платформа-самосвал не поднимается, — и еще по истечении двух часов, когда составы выводились из тупиков, эшелоны перетасовывались и окончательно сформировывались под пересвист локомотивов и корнетов из военных оркестров, — наконец войско тронулось в путь, горлая, как полагается, песню:

«Прощай, не плачь, моя зазноба,
Прощай, мой светик, моя крошка,
Я буду вечно твой, до гроба»,
Так пел солдатик под окошком...

Не теряя времени, Глава Нации заперся с Перальтой в просторном купе своего президентского вагона, чтобы смочить горло содержимым гермесова саквояжика втайне от капитанов и полковников, которые в салоне пульмановского вагона праздновали отбытие на фронт за бутылками с красочными этикетками. Сидя на краю спального дивана, он меланхолично созерцал носки своих начищенных сапог, свое ременное снаряжение, висевшее на крюке, и пистолет в кобуре — более тяжелый и большего калибра, чем его любимый легкий браунинг, обычно гревшийся в кармане. «Генерал»... «Мой генерал»... «Сеньор генерал»... Бесконечный перестук колес на стыках рельсов отдавался в голове, сводил с ума: «ген-рал... ген-рал... ген-рал... ген-рал... ген-рал». Он был, наверное, единственным генералом на всей нашей необъятной земле, которому не импонировал чин Генерала — он разрешал так величать себя лишь в офицерской компании или, как теперь, когда приходилось командовать армией. Потому что, говоря по правде, этот чин он сам присвоил себе много лет тому назад, во времена первых крутых поворотов своей политической судьбы, когда, возглавив вооруженный отряд в Пристани Вероники, повел шесть десятков молодцов на приступ крепости, занятой мятежниками, бунтарями, врагами Правительства, которому он тогда присягал и которое сверг несколько позже — на сей раз с помощью настоящих генералов, — чтобы поселиться в Президентском Дворце.

Теперь, пока будут длиться военные действия, его снова станут называть Генералом: «Мой генерал», «Сеньор генерал». И он опять вперил взор в кончики сапог, шпоры и ремни. И подумал с усмешкой об одном мольеровском персонаже, который, надевая колпак, становился поваром и, надевая ливрею, делался кучером. «Дай-ка выпить, — сказал он Перальте. — И протяни мне вон ту книжицу». В ожидании, пока его не сморит сон, он медленно листал страницы и остановился на Книге Шестой, где прервал чтение бог знает когда. Глава одиннадцатая. «Переходя к

этой части повествования, мы остановимся на местных обычаях Галлии и Германии и на тех различиях, которые характеризуют упомянутые земли. В Галлии существуют партии. И не только в каждой области, но и в каждом малом округе и в частях округа, и даже в каждой семье существуют сторонники разных партий...»

Существуют партии. «Поэтому эту Галлию и раздраконили в пух и прах», — заметил, дважды зевнув, Глава Нации... За окном неслась песня;

Когда в ту ночь тебя убили,
Тебе на редкость повезло, Росита
Шесть пуль красавицу ловили,
Но лишь одною грудь твоя пробита...

III

Едва только генерал Атаульфо Гальван, потерпевший поражение в первом же рукопашном бою, успел форсировать Рио Верде вслед за своей разбитой, бежавшей в панике армией, бросив на этом берегу обеих услад сердца своего — Красотку Олалью и Смуглянку Хасинту, которые отстали от войска, не будучи в состоянии бросить тюки с блузами, накидками, лентами и кружевами, награбленными в лавках одного до нитки обобранного селения, — как вдруг ослепительно сверкнула молния, казалось, расколовшая небеса сверху донизу, загремели неумемные раскаты грома, а после увертюры хлынул Дождь, проливной, злобный, неумолимый, который может зарядить на месяцы; не слабей, не прекращаясь, не зная передышки, и который столь обычен именно для здешних лесистых мест, ибо здесь, где сплошные леса покрывают склоны всегда окутанных туманом гор, облепленных плотной влажной дымкой, которая, рассеиваясь тут, сгущается там, солнце лишь иногда может пробиться сквозь бреши — на несколько мгновений тут, на несколько минут там, — чтобы осветить первозданную красу безымянных цветов, венчающих кроны прижавшихся друг к другу деревьев, или озарить понапрасну — кто их тут видит? — царственные созвездия орхидей в зеленых безднах сельвы. Именно здесь, в этих лесах, на кедр, каобы, хукары, кебрачо и многие другие деревья, столь странные и удивительные, что могут нарушить всю традиционную классификацию, — впрочем, они ее уже и нарушили, включая классификацию самого Гумбольдта, — именно здесь льют такие дожди, что людям, задолго чующим их приближение по особому запаху, начинает казаться, будто приходит новый год, состоящий из семи месяцев, который входит в обычный год, состоящий из двенадцати месяцев, но имеющий не четыре сезона, а только два: короткий ржаво-сухой, торопящий с работой, и долгий, сырой, нагоняющий смертную скуку.

Когда утих последний громовой раскат, возвестивший Об очередном «сезоне», началась новая жизнь — новый этап, новый период — у земной зелени, настолько мокрой, настолько пропитанной влагой, что вся она словно возникла из болот и трясин, квакающих лягушками, бугрящихся жабами, плюющих пузырьками, которые пускает затонувшая гниль...

Несколько походных палаток было оборудовано специально для военачальников. В центре стояла палатка Главы Нации: привязанные к кольям канаты растягивали брезентовый фронтон, увенчанный государственным флагом Республики. Недавний победитель, поужинав сардинами, солониной, жареными каштанами и глотнув рейнского, подумал, что его офицеры, должно быть, тоже утомились после жестокого дневного боя, и велел им отдохнуть до утреннего заседания Генерального штаба.

Бодрствовать остались лишь Полковник Хофман, Доктор Перальта и сам Глава Нации, вяло постукивая костяшками домино при тускло-желтом свете дорожных керосиновых фонарей. Но тут сельву снова пронзили пять, десять, двадцать молний в, сопровождении громовых раскатов, слившихся в сплошной гул, и водяной смерч — «крутень-закрутень», как называют его местные жители, — в мгновение ока снес лагерные постройки, захлестнув все свечи и фонари. Пока солдаты устраивались как могли на ночлег, Полковник Хофман и Глава Наций карабкались вслед за Доктором Перальтой на гору, где утром был замечен темный зев небольшой пещеры. К ней они, продрогшие, промокшие до нитки, лезли скользя, спотыкаясь и освещая путь карманными фонариками.

Летучие мыши было всполошились, заметались, но скоро успокоились, а сырые стены со сводчатым потолком, утыканным причудливыми сталактитами, служили надежным убежищем от дождя, шум которого отдавался, шорохом далекого водопада. Но здесь было настоящее: царство холода, который каплями воды сочился снаружи из тонких трещин в известняковой толще горы. Глава Нации, сидевший на свернутом пончо, испытывал неумное желание выпить. (Жажда сводила желудок, скручивала узлом кишки, отчего нутро казалось совсем пустым, полым: неодолимая жажда подступала к горлу, сушила рот, щекотала губы, нос...) Поняв, что происходит (указательный палец уже не раз поднимался к уху), Доктор Перальта с лукавым видом взял свой чурбанчик-саквояжик, заявив, что он, боясь простудиться в долгих походах, запасся спиртным, к которому — чего греха таить? — питает большое пристрастие. «Ладно, всем известно, что ты Приор монастыря Санта Инес», — заметил Полковник Хофман, внезапно повеселев и расстегивая плащ. Присоединяясь к настоятельным просьбам секретаря, он стал упрашивать Главу Нации сделать хотя бы глоточек рома, дабы уберечь свое здоровье, — теперь, как никогда, нужное народу, от губительных воздействий непогоды. «Ну, глоток, не больше», — сказал Глава Нации, поднося к губам первую фляжку, запах футляра которой, сделанного из щетинистой свиной кожи, вдруг вызвал в его памяти воспоминание о магазине в Париже, где Офелия покупала седла, уздечки и мундштуки для верховой езды. «Пейте, пейте, сеньор Президент, вам будет лучше, день на день не приходится. Кроме того, сегодняшний день — победный», — «В самом деле, славный денек», — поддакнул Доктор Перальта.

Снаружи ему ответил оглушительный грохот, который заставил их испытать здесь, внутри, благодатное чувство безопасности. Аромат крепкого рома, отдававшего свежим дыханием сахарного тростника, сливался в этой пещере с тяжелым запахом плесени и воскрешал атмосферу старых винных погребов, где дремлет сусло под надежными толстыми сводами.

Облегчив душу, Глава Нации вспомнил один классический текст, который он однажды шуток ради процитировал в Совете министров, — где ему вообще нравилось демонстрировать свою начитанность и уснащать свою речь стихотворными строками, пословицами и афоризмами, — по случаю какой-то стародавней политической распри, сопровождавшейся военными столкновениями: «Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки... Вы, стрелы молний быстрые, деревья расщепляющие, жгите мою седую голову...»⁸⁸ На что Доктор Перальта, более приверженный к Соррилье⁸⁹, нежели к

⁸⁸ «Дуй, ветер...» — слова Лира, из трагедии «Король Лир». (Акт III; пер. Б. Пастернака).

⁸⁹ Соррилья-и-Мораль, Косе (1817–1893) — испанский писатель-романтик, автор драмы «Готский кинжал»,

Шекспиру, ответил одним из выпадов «Готского кинжала», которые так часто делались в нашем Национальном театре испанским трагиком Рикардо Кальво, чье сугубо кастильское произношение Перальта забавно передразнил:

Што за ночь, спаси нас боже!
Што стрррашной быть буррри может!
Сколь ужасны эти звуки,
Жутко молнии сверканье,
Иль оглохло небо в шуме
И ослепло от блистанья?

Снова был раскрыт саквояжик с фляжками и произнесены тосты по поводу «ужасных звуков» и за здоровье трагика, извергавшего столь ужасные звуки. Изрядно разогревшись, расстегнув китель, Полковник Хофман начал докладывать военную обстановку: до вчерашнего дня были небольшие схватки, стычки, перестрелки на отдельных участках, столкновения патрулей; самой тяжелой потерей с нашей стороны было крушение состава при выезде из тоннеля Дель Рокеро, в результате чего погибли лошади, боеприпасы и семнадцать солдат, а сто два человека выбыли из строя по причине более или менее тяжелых ранений. Однако противник, — и он осветил фонариком карту, расстеленную на земле, прямо на фигурных экскрементах летучих мышей, — упорно отступал к Рио Верде, не принимая боя. Сегодня же мы навязали ему бой: произошло настоящее сражение, из тех, какие знавали только во времена Войн за Независимость. Понятное дело, что нужно было провести «подготовительные» операции, причем весьма жестокие. Население оказывало противнику слишком большую помощь живой силой, гужевым транспортом, поставками скота и маиса, сбором информации, передаваемой по деревьям с непостижимой быстротой этими сволочами горцами, которые вечно затевают смуты и готовят перевороты. Конфликт назревал давно. Уже полвека эти грязные ублюдки с Анд испытывали наше терпение своими маршами в столицу и набегами своих каудильо; которые, попав в Президентский Дворец, впервые в жизни видели газовые плиты и унитазаы, краны с горячей водой и телефонные аппараты в каждой комнате. Поэтому до непосредственной встречи с противником необходимо было провести широкие «очистительные» операции: дотла спалить дома и деревни, расстрелять всех подозрительных, запретить все сборища, и танцульки, отменить празднования именин и крестин, которые служили только предлогом для скрытой пропаганды, передачи новостей и подготовки восстаний, — как тут не вспомнить об иных бдениях возле покойника, когда, удивительное дело, покойного не оказывалось в гробу. «Да, а вот Сан-Томасо дель Анкону тебе не удалось приструнить», — сказал Глава Нации. Печально, весьма печально, нет сомнений, но война не занятие для чистоплюев и не картина для созерцания. Всегда полезно помнить две непреложные истины, высказанные Мольтке: «Самое благое дело, какое можно сделать, воюя, — это завершить войну как можно быстрее. А чтобы завершить ее быстрее, хороши все средства, включая самые предосудительные». В специальной «инструкции, разработанной Германским генеральным штабом в 1902 году, говорилось: «Активные военные действия следует проводить не только против боеспособного противника, но равным образом направлять их и на уничтожение материальных ресурсов и на подрыв моральных сил врага. Гуманные соображения «могут быть приняты во внимание лишь

в том случае, — если они не препятствуют; достижению военных-успехов». Кроме того, фон Шлиффен говорил... «Заткнись ты со своими немецкими классиками», — сказал Глава Нации. Фон Шлиффен хотел руководить сражениями, сидя за шахматной доской, — по картам, с дистанции, используя для связи телефоны, автомобили и мотоциклеты. Но в этих паршивых странах, где нет приличных дорог, связным приходится трястись по лесам, болотам и горным кручам на мулах и ослах, ибо не всякой лошади по силам иной тяжелый аркебуз, а зачастую — надо просто слать гонцов-сорокоходов, — которые умеют продираться сквозь чащобы не хуже, чем часки Атауальпы⁹⁰. Вот о таких идеальных баталиях, для которых не требуется ничего, кроме подзорной трубы, бинокля; разбитых на квадраты карт точных измерительных приборов, мечтают, вообще-то говоря, иные генералы с кайзеровскими усами и бутылкой коньяка под мышкой, не слишком горящие желанием, хотя встречаются и исключения, ринуться под пули и вцепиться врагу в глотку... Нам надо драться по-иному, — как, например, сегодня, — рыча от злости, послав подальше все теории Военных академий. А более всего нам полезны артиллеристы старой выучки («три локтя вверх, два направо с поправкой в полтора пальца»), которые умеют стрелять и попадать в цель ступками для маиса, взятыми у солдаток, тогда как молодые лейтенанты, напичканные алгеброй и несущие баллистическую ахинею, которую не понимают их солдаты, должны чертить карандашиком в блокноте, прежде чем навести орудие, а снаряд в итоге попадает куда угодно, только не в цель. «Хоть мы и начинаем Латинскую Америку артиллерией, шрапнелью и всякими современными огнеметами, купленными у янки, природа все так же довлеет над нами, как во времена Пунических войн, — сказал Глава Нации. — Вот если бы у нас были слоны, мы на них перевалили бы через Анды». — «Но все же фон Шлиффен...» — «Твой фон Шлиффен строит всю свою стратегию на сражении при Каннах, которое выиграл Ганнибал». И тут Глава Нации, столь успешно прошедший недавнее сражение, ошеломил своих подчиненных признанием — или, возможно, лишь недвусмысленным намеком, — что провел сию операцию, руководствуясь «Записками» Юлия Цезаря. Три шеренги пехотинцев в центре: две наступательные, третья, резервная, — в окопах. Две кавалерийские части: справа — Хофман, слева — он сам. Задачи: смять фланги противника, сжать, стиснуть вражеские отряды таким образом, чтобы отрезать от тылов и помешать переправе через реку. С трудом вырвавшись из окружения, Атаульфо Гальван успел удрать на другой берег, бросив на этом берегу двух своих услад — Красотку Олалью и Смуглянку Хасинту, которые в эту пору, наверное, уже успели ублажить полбатальона Гусар-Патриотов и еще продолжали путаться в ногах победителей. Сражение и в самом деле походило на бой Цезаря с Ариовистом⁹¹, начавшись с того, что пехота стала крошить почти безоружных индейцев и негров, примкнувших к революционерам, — для Цезаря это были венеты, маркоманы, трибуки, геты. Для нас гуахибы, гуачинанго, бочо и мандинги, — пока наконец их предводитель со своими разбитыми отрядами не отступил за Рио Верде. С Атаульфо Гальваном у нас вышло в точности так же, как у Цезаря с Ариовистом, — который бежал за Рейн, оставив на берегу двух походных дам сердца своего: одну из Свевии, другую из Норика. Что

⁹⁰ Атауальпа, (ок. 1500–1533.) — правитель инков (с 1530 г.), был взят в плен (1532) конкистадором Ф. Писарро и казнен. Часки (на яз. кечуа) — гонцы.

⁹¹ Сражение войска Цезаря с войском вождя германского племени свевов Ариовиста произошло в сентябре 58 года до н. э. Свевы потерпели поражение и отступили с территории Галлии за Рейн.

касается самого Цезаря, то ведь ему тоже приходилось сражаться с андами⁹², которые, не знаю почему, напоминают мне наши проклятые андские племена⁹³.

«Ну и ну, сеньор Президент!» — воскликнул Доктор Перальта, восхищенный такими, — познаниями в античной военной истории, «Я знаю только то, что сегодня мы разгромили Ариовиста Гальвана», — сказал Хофман, несколько уязвленный тем, что Глава Нации не оказал должного почтения Мольтке и фон Шлиффену...

Фляжки снова пошли по кругу, обжигая стратегам нутро, а вспышки молнии время от времени будто обжигали нутро пещеры. Президенту вспомнилась нудная опера, слышанная в Нью-Йорке, где в какой-то сцене вот так же изображался весьма неуютный, затерянный в горах грот с зеленоватыми фосфоресцирующими сводами. Полковник Хофман, обладавший зычным голосом, который позволял угадывать его амплуа; Heldentenor⁹⁴ и воскрешал в памяти подземные вертепы Миме и Альбриха⁹⁵, попытался спеть что-то из Вагнера, напыщенно артикулируя на своем рыкающем немецком языке фразы, ни одна из которых не совпадала с текстом партии Зигфрида. Разозлясь на провалы своей памяти, отнесенные за счет излишне выпитого, он схватил большой камень и швырнул в глубь пещеры.

Однако ответный звук не был ни стуком камня, о камень ни шлепком камня по грязи или воде, а гулким разрывом глиняного сосуда, которому удар пришелся прямо в брюхо и разнес этот сосуд на сто частей. Полковник поднял вверх фонарь. Над черепками там, у стены, возвышался страшный человеческий каркас, — уже почти не человеческий, — составленный из костей, обернутых в тряпье и сухие шкуры, истлевшие, источенные, поверх которых торчал череп, обвязанный пестрой лентой. Черные пустые глазницы свирепо взирали на свет, дырка на месте носа будто раздувалась от ярости, и немой вопль вырывался из-под желтых зубов этой скелетной рухляди: висящие фаланги пальцев, торчащие ребра, скрещенные берцовые кости, которые завершались пеньковыми альпаргатами тысячелетней давности, но такими яркими из-за необычайной прочности волокон и красок — черной, желтой, малиновой, — что казались новыми. Это чудище выглядело гигантским усохшим младенцем, который прошел все стадии развития — зрелость, дряхлость, смерть, — вернувшись к изначальному состоянию по завершении всего жизненного круга, и сидел здесь, очень далеко и, очень близко от собственной смерти, вещь или ветошь, анатомический хлам с темными зияниями под страшными пепельно-черными лохмами, которые падали на иссохшие щеки. И этот монарх, судья, жрец или военачальник гневно взирает из глубин своего вековечного возраста на тех, кто разбил его последнее глиняное убежище.

Остальные шесть больших кувшинов торчали справа и слева у стен, поблескивавших от воды, которая просачивалась внутрь, в пещеру. Швырнув несколько булыжников, Хофман разбил и эти кувшины, один за другим. И на свет явилось еще шесть мумий, сидящих на корточках, со скрещенными руками —

⁹² Анды — народ кельтского происхождения живший на правом берегу Луары.

⁹³ Индейские народности тех латиноамериканских стран (Чили, Перу, Эквадора и др.), по территории которых проходит величайшая горная цепь континента — Анды.

⁹⁴ Героический тенор (нем.) .

⁹⁵ Миме и Альбрех — персонажи «Песни о Нибелунгах» и тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга».

костями, — более или менее облезлых, с более или менее подгнившими бедренными костями и фалангами пальцев, с более или менее почерневшими физиономиями, — образуя чудовищно изукрашенный Конклав, оскверненный Трибунал. «Чур меня, чур! Нечистая сила!» — вскричали все трое, и всполошенные летучие мыши в страхе заметались над их головами. Потрясенные малоприятным видением пришельцы выскочили в ночь, прямо под ливень, и бросились в лагерь, где сорванный с палаток брезент плавал в грязной воде.

Прикрывшись насквозь, промокшими полотнищами, они уселись под раскидистым деревом в ожидании золотисто-розовой авроры. А поскольку холод становился все сильнее, были опустошены последние фляжки саквояжика-чурбанчика. Вновь обретая удивительную ясность ума, которая появлялась у него после обильного возлияния, Глава Нации поручил своему секретарю написать и отправить официальное письмо в Национальную Академию наук об открытии мумий с указанием местонахождения пещеры, расположения входа в нее с ориентацией: на солнечный восход, точное описание огромных сосудов и т. д., как это делают археологи. Кроме того, главная мумия, та, что в центре, должна быть преподнесена Парижскому музею Трокадеро, где она прекрасно будет выглядеть под стеклом на деревянном фризе с соответствующей медной табличкой: *Civilization Precolombiennee. Culture de Rio Verde*⁹⁶ и т. д. и т. п. Что касается определения степени древности, то возраст пусть установят иностранные эксперты, более осторожно относящиеся к находкам, чем наши, которые так и норовят заявить всякий раз, как наткнутся на ручку от старой вазы или на глиняный амулет, что сия вещь куда старше, судя по гончарному мастерству, чем все древности Египта или Шумера, вместе взятые. Но, во всяком случае, чем больше веков будет указано на табличке, тем выше поднимется престиж нашей страны, становящейся, таким образом, обладательницей реликвий, которые могут сравниться в отношении старины с памятниками Мексики или Перу, чьи пирамиды, храмы и некрополи служат как бы геральдикой наших цивилизации, ясно показывающих, что, свет наш — наново открытый, но отнюдь не Новый Свет, ибо наши императоры блистали великолепными золотыми коронами, драгоценными камнями и разноцветными перьями Кецаля⁹⁷ уже в ту пору, когда предполагаемые предки Полковника Хофмана бродили по дремучим лесам в медвежьих шкурах с бычьими рогами на головах, а французы в те времена, когда Ворота Солнца в Тиауанако⁹⁸ уже имели солидный возраст, еще только ставили свои менгиры⁹⁹ — эти нелепые бесформенные валуны — на побережье Бретани.

IV

Телом я считаю все то, что может заполнить данное пространство, вытеснив из него любое другое тело.

Декарт

⁹⁶ Доколумбова цивилизация. Культура Рио Верде.

⁹⁷ Кецаль — птица тропической Америки с зелено-красным оперением; изображена на гербе Гватемалы.

⁹⁸ Ворота Солнца в Тиауанако — архитектурный памятник цивилизации тиауанако (на территории соврем. Перу).

⁹⁹ Менгиры — вертикально поставленные каменные блоки, имевшие культовое значение, устанавливались в Европе в эпоху неолита и бронзового века (3-2-е тысячелетие до н. э.),

После победы Глава Нации собирался было дать отдых войскам и, кстати, эвакуировать многочисленных раненых — штыком ли, пулей, мачете или просто ножом, — но увидел, что надо немедленно форсировать Рир Верде, ибо ночные ливни — да и днем хлеставшие дожди — быстро поднимали уровень воды в реке. Кавалерия еще могла переправиться вброд, но для переброски, пехоты использовали баркасы, лодки, шлюпки, а, также старый, замшелый паром, найденный в тростниковых зарослях и наскоро отремонтированный, на котором перевезли, обоз, пушки Круппа, шесть легких орудий, боеприпасы саперное и прочее воинское снаряжение, консервы и ящики с джином и коньяком для офицеров, а также сковородки, печурки и жаровни стряпух-солдаток, — все, что, к вящему удовольствию Главы Нации, Генерал Хофман величал «материально-технической базой», а Доктор Перальта, выражаясь проще, называл «огнедышалами, металлохламом и нектаром»...

Операция по форсированию реки проводилась без задержки, ибо драться было не с кем: вероломный враг отступал к морю с явным намерением закрепиться на небольших высотах, окружавших Пристань Вероники, базу Атлантического флота, который состоял из двух крейсеров со своими вышедшими из употребления таранами и пушками ограниченного действия, а также из нескольких более современных, сторожевых катеров, находившихся на ремонте в доке неподалеку от Адмиралтейства с Военно-морским Арсеналом. Хотя все городки и селения были дочиста обобраны людьми Атаульфо Гальвана при отступлении, умельцы-воры и девки-солдатки ухитрились раздобывать свиней, телят и кур, запрятанных в пещеры, погреба и даже в кладбищенские склепы; выкапывать буквально из-под земли — в патио при хижинах, в садах возле ризниц и даже из могильного тлена — бутылки кашасы и чаранды, кувшины с хмельным гуарапо и вишневкой. Шумно, весело, бесшабашно проходили бивуачные ночи: певцы состязались в исполнении куплетов под аккомпанемент обычных и четырехструнных гитар, погремушек маракас и барабанов, в то время как мулатки, самбы¹⁰⁰, парды¹⁰¹ и чолы¹⁰² мастерски отбивали чечетку в ритме бамбы, харабе и маринеры, а потом исчезали где-нибудь в чащобе, подальше от костров, со своими кавалерами, чтобы дать отдых ногам...

В апреле начались первые атаки на аванпосты Пристани Вероники, и враг вынужден был окопаться в предместьях городка. «Теперь претворяется в жизнь мудрая мысль Фоша, — сказал Глава Нации, цитируя французского военного специалиста, чтобы уколоть Хофмана: — «Если противник отказывается от наступательной тактики, он роет окопы и зарывается в землю». И с вершины одного из трех холмов, окружавших городок, Президент с тихой нежностью любовался куполами и барочными колокольнями церквей, старыми колониальными стенами. Там он родился, и там обучили его братья-маристы складывать буквы в слоги (вот в том двухэтажном здании со стрельчатыми сводами среди цементных пилоэстров), научили читать красивые книги с картинками, из которых он узнал о разливах Нила, о норовистом Буцефале, о льве Андрокла¹⁰³, об изобретении книгопечатания, и о том,

¹⁰⁰ Самбо — потомство от смешанных браков индейцев и негров.

¹⁰¹ Пардо — в Аргентине, Бразилии и на Антилах так называют мулатов; в других странах Латинской Америки — мулатов и метисов.

¹⁰² Чоло — чаще всего прозвище метисов.

¹⁰³ Лев Андрокла — имеется в виду древнеримская легенда, согласно которой раб Андрокл, вышедший на арену для

как брат Бартоломе де лас Касас¹⁰⁴ ратовал за индейцев, и о том, что эскимосы строят свои хижины из снега, и что монах Алкуин¹⁰⁵, основатель первых школ при Каролингах, предпочитал любознательных детишек из бедных семей юным лентяям и бездельникам знатных фамилий. Затем были весьма обогащающие интеллект уроки истории на французском языке с чтением текстов, где гораздо больше места отводилось — и это вполне естественно — Суассонскому Котлу¹⁰⁶; чем Битве при Аякучо¹⁰⁷, ибо заточение кардинала де ла Балю в железную клетку¹⁰⁸ представлялось делом гораздо более важным, чем Освобождение Перу от испанцев, а Людовик Святой, затеявший крестовые походы, поневоле выглядел более внушительно, чем Симон Боливар со своей победой при Карабобо¹⁰⁹, хотя при этом упоминался такой небезынтересный факт, что именем последнего, то бишь Боливара, окрестили шляпу, которая была в большой моде у парижских франтов в начале прошлого века... Но мало-помалу детские учебники отступали в прошлое — по математике лишь кое-где разрезанные, по родной литературе почти не листавшиеся, — и перед очами Главы Нации уже рисовались его юношеские блуждания по портовым окраинам, где толпились рыбаки, матросы, торговцы и проститутки и красовались такие названия веселых кабачков, как «Триумфы Венеры Милосской», «Люди неученые, да умом начинённые», «Веселые парни», «Корабль на суше» или «Моя контора». На улочках шла бойкая торговля крючками, вершами, сетями, всякими рыболовными снастями; вдоль тротуаров катились тележки, нагруженные устрицами, кальмарами и палтусами, а запахи смолы, рассола в бочках и анчоусов на лотках смешивались с ароматами духов и жасминовых или туберозовых эссенций портовых красоток...

Вот она, Пристань Вероники, лежит у его ног, столь похожая на медную чеканку, на которой воспроизвел ее один английский художник лет сто тому назад, с силуэтами рабов и фигурами всадников-господ на переднем плане. Вот она, с ее громадным Храмом святой инквизиции, на паперти которого толпа в стародавние времена избивала и поносила, забрасывала дерьмом и грязью негров и индейцев, обвинявшихся в колдовстве... Вот он, городок, Пристань Вероники, с тем доминой из трех строений под двумя крышами, где виднеются громоотвод, небесно-синяя голубятня и

борьбы со львом, был пощажен хищником, так как некогда вылечил ему лапу.

¹⁰⁴ Де Лас Касас, Бартоломе (1474–1566) — испанский миссионер-гуманист, историк и публицист, многие годы жизни посвятивший борьбе за права коренных жителей стран Латинской Америки.

¹⁰⁵ Алкуин, Флакк Альбин (735–804) — ученый-монах, приглашенный Карлом I Великим, организовал несколько школ, сыгравших важную роль в развитии раннесредневекового образования.

¹⁰⁶ Суассон — французский город, разрушенный немецкой артиллерией в первой мировой войне.

¹⁰⁷ Битва при Аякучо — сражение 9 декабря 1824 года при Аякучо (Перу) завершило освободительные войны народов Латинской Америки против испанских колонизаторов.

¹⁰⁸ Де ля Балю, Жан (1421–1491) — французский кардинал, был заточен в железную клетку на десять лет королем Людовиком XI за дворцовые интриги.

¹⁰⁹ Победа в Карабобо — битва на равнине Карабобо (Венесуэла) в начале 1821 года была выиграна армией С. Боливара совместно с партизанами Х. А. Паэса. Победа означала полное освобождение территории Венесуэлы от испанских колониальных войск.

скрипящий флюгер-петух и где родились его дети в ту пору, когда он влачил жалкое существование провинциального журналиста и мог принести домой иной раз медовую коврижку, иной раз просто головку сахара, а иной — только бумагу из-под сахара, чтобы хоть как-то подсластить кипяток, которым запивали весьма скромный ужин — каштаны с куском черствого хлеба. Именно тут, в этом замызганном патио, и сделали его отпрыски свой первый прыжок в игре в «классики» и стали — прыг да скок — подпрыгивать вслед за лихими политическими подскоками своего, родителя, который вел их от домика к домику, от номера к номеру в отелях по восходящей лестнице игры в «гусёк» — от Пристани к Столице, от Столицы к Столицам столиц, устремляясь от нашего убогого портового мирка к бескрайнему миру, Старому Свету — Новому Свету для них, хотя это благоволение фортуны не обходилось без драм, заметно омрачавших успехи и удачи. Офелия, ладно, какой родилась, таковой, и осталась — *sum qui sum*¹¹⁰ и характером и манерами, и ничего тут не поделаешь. Вспыльчивая и упрямая девица, своевольная и легкомысленная, для которой познание вселенной началось и ограничилось все теми же старыми играми, как, например, жмурки, «Антон Перулеро», «ломоть рисовой запеканки», салочки-скакалочки, «Мальбрук в поход собрался» или игра в фанты с зелеными юнцами. На Ариэля тоже в общем грех было жаловаться, он родился дипломатом: священников обманывал чуть ли не с пеленок, на вопросы отвечал вопросами, врал так, что заслушаешься, умел говорить ни да ни нет, завораживая слушателей бряцанием своих будущих орденов; прибегал, если требовалось решить срочное дело, к таким хитроумным проволочкам и двусмысленным формулировкам, что только канцелярия Шатобриана могла бы додуматься до этого при аналогичных обстоятельствах, И Радамес был яркой личностью, но попал в катастрофу, хотя тоже столь впечатляющую, что оставил о себе вечную память — в виде фотографии — во всех газетах мира: обуреваемый желанием обогнать Ральфа де ла Пальму на автомобильных гонках в Индианаполисе, Радамес на шестом километре взлетел в небо над раскаленным асфальтом, влив перед стартом слишком много эфира в газолин, чтобы сделать горючее более легким, взрывчатым и чистым. (После провала в США на экзамене в Вест-Пойнтской военной академии ему захотелось упиться быстрой ездой...)

А вот там Главе Нации привиделся его младший сынок в коротких штанишках, Марк Антоний, вкривь и вкось скачущий по клеткам «классиков», существо непонятное, не примкнувшее к их клану, не свившее гнезда в ветвях здешних родословных деревьев, а затерявшееся где-то в далекой и чужой генеалогической сельве, куда его занесла нелегкая, — возможно, потому, что он был самым неудачным ребенком в семье, чудаковатым и непохожим на других ни носом, ни глазами. Сумасбродный — «шизоид», как мы тут говорим, — и чрезмерно импульсивный, он успел испытать, будучи подростком, мистический ужас, когда однажды убедился перед зеркалом платяного шкафа, что его фаллос сам так и тянется к отвару из листьев гарабато. Со страха Марк Антоний вознамерился было отправиться в Рим, чтобы облобызать сандалию Папы Римского и полечиться кардинальским марганцевым калием, но так и не проник дальше камер-лакейских, где по воле случая познакомился с одним любителем геральдических изысканий и уверился в том, что он потомок — хотя и не по прямой, а по довольно искривленной, боковой и нецеленаправленной линии — Византийских императоров, последний отпрыск которых — Палеолог —

¹¹⁰ Какой есть, такой есть (*лат.*).

умер на острове Барбадос, а кое-кто из его потомства переселился в нашу страну. Забыв о всяких своих мистических страхах и купив за уйму песо титул «Лимитрофе» (sic — см. Кодекс Юстиниана), а в нашей интерпретации — графа Далматского, Марк Антоний отправился знакомить Европу со своей благоприобретенной родовитостью: Титул среди Титулов, обожатель Титулов, знаток Титулов, любитель титулованных женщин, — ко всему прочему хорошо знавших цену мужской силе, о коей они на ухо оповещали друг друга, испытав на себе чудодейственные свойства (столь известные и нам) «бехуко гараньона»,¹¹¹ которым охотно пользуются наши пылкие старцы.

Обладатель всех этих достоинств, Марк Антоний вел жизнь, которая кидала его с равнин Андалузии в окрестности Пеньяранды, из древних венецианских дворцов в шотландские замки, от королевских псовых охот в Колодже к регатам короля Альфонса в Сан-Себастьяне, Так он и ездил и кружил по землям довольно потускневшей и поистрепанной аристократии, где уже ярко и самодовольно сверкали североамериканские гербы монополий «Армура» и «Свифта» и набирала силу американо-кетчупианская знать «Либби»; ездил, пользуясь в своих путешествиях по владениям именитых особ альманахом «Готы» (где его собственное имя должно было непременно появиться в следующем издании), который он изучал, знал и цитировал с усердием раввина, толкующего Талмуд, или Сен-Сирана, трижды переводившего Библию, чтобы лучше постичь все нюансы ее лексики и уловить все ее иносказания. Марк Антоний был в одно и то же время гениален и никчем, экзальтирован и коварен, подобно своему папаше, но тем не менее далек от президентских приступов озабоченности: плоть от плоти, которую, не считал родной, ибо называл себя «феноменом великолепия»; глашатай нашей культуры, необходимый фактор нашего национального престижа, лунатик, коллекционер перчаток и палок, денди, не желавший носить рубашек, которые не были бы выглажены в Лондоне; хулитель знаменитых артистов, искатель наследниц фирмы «Вулворт» (он спал и видел Анну Голд, подарившую дворец из розового мрамора Бонн де Кастеллане), пятикратно разведенный, любитель-авиатор (друг Сантос-Дюмона¹¹²), чемпион игры в поло, участник лыжных гонок в Шамони, судья в поединках между борцами Атосом де Сан-Малато и кубинцем Лабердеске, блестящий пикадор в тренировочном бое быков, чудодей рулетки и баккара — хотя при всем этом бывал довольно рассеян и казался вне мира сего, а-ля Гамлет, подписывая многочисленные необеспеченные чеки, оплата которых приостанавливалась нашими по долгу службы бдительными посольствами...

И вот у ног Главы Нации лежала эта Пристань Вероники, где на двери одного из домов была прибита мемориальная доска с датой его рождения и где Донья Эрменехильда испускала стоны во время четырех родов под тюлевой москитной сеткой, такой же синей, как представшая его взору голубятня...

Надо сказать, что сей городок перейдет в руки правительственных войск целехоньким и не будет задет ни одним снарядом, ибо состоится капитуляция почти всех мятежных офицеров в исторический день 14 апреля... Покинутый всеми своими самыми преданными соратниками, не нашедший ни одного хозяина шхуны или

¹¹¹ Букв. лиана бабник (*исп.*).

¹¹² Сантос-Дюмон, Альберто (1873–1927) — бразильский авиатор, один из первых воздухоплателей. В 1898 году осуществил полет на аэроплане собственной конструкции.

лодочника, который пожелал бы взять его на борт, генерал Атаульфо Гальван укрылся в старом Замке Сан-Лоренсо, сооруженном по приказу Филиппа II на высокой, скале, с моря огражденной рифами, которые препятствовали входу в гавань. У этой скалы и высадился к вечеру в день капитуляции Глава Нации в сопровождении Полковника Хофмана, Доктора Перальты и дюжины солдат. Победенный молча стоял в центре главного патио. Его губы странно двигались — без всякого звукового сопровождения, словно выдавливая слова, которых никто не слышал. Клетчатый платком он старался утереть пот, ливший из-под высокого кепи, ливший так обильно, что по суконному кителю расплзались темные капли. Президент остановился и долго оглядывал его с головы до ног, будто внимательно изучая. И вдруг произнес сухо и коротко: «Расстрелять!» Атаульфо Гальванг упал на колени: «Нет... Нет... Не надо... Не стреляй... Ради твоей матушки... Не надо... Ради святой Доньи Эрменехильды, которая так меня любила... Ты не можешь меня... Ты был мне отцом родным... Больше, чем родным... Дай сказать... Ты поймешь... Меня обманули... Послушай... Ради твоей матушки...» — «Расстрелять!» Его потащили, стонущего, плачущего, молящего, к задней стене. Хофман выстроил взвод, у побежденного подкосились ноги, он прислонился к стене, медленно заскользил вниз и шлепнулся задом на каменные плиты, растопырив ноги в грубых башмаках, уронив руки на пол. Стволы винтовок опустились вслед за ним, точно отмерив угол прицела, «...товьсь!» Приказ оказался излишен, ибо винтовки были взяты на изготовку. «Нет... Не надо... Священника мне... Исповедаться... Я христианин...» — «Пли!..» И вот приклады уже стукнулись оземь. Залп возмездия, все правильно и справедливо. Шумно вспорхнули чайки. Краткое молчание. «Швырните его в море, — сказал Глава Нации. — Акулы завершат остальное».

С этим делом было покончено. Однако оставалось другое, возможно, посложнее первого. Мы недооценили боевой дух и личное обаяние забытого нами из-за экстренных военных действий Доктора Луиса Леонсио Мартинеса, который совсем распоясался в Нуэва Кордобе, где из Консистерского дворца он непрерывно обстреливал манифестами Правительство и обрел силу, большую силу в городе, где вокруг него объединились студенты, журналисты, вчерашние политики, провинциальные адвокаты, социалиствующие энтузиасты, не считая кое-кого из молодых офицеров, только что окончивших Кавалерийскую школу в Сомюре и являвших собой армейскую интеллигенцию-интеллигенцию, которая противостояла таким, как Вальтер Хофман, и всем тем, кто, подобно ему, обучался у немецких вояк и обожал стальные шлемы с острием. Эти мятежники устраивали бесконечные заседания, не зная ни сна, ни отдыха, расстегнув пиджаки и кителя, выкуривая дюжинами сигареты, хмелея от черного кофе и едкого табачного дыма. Они спорили, дискутировали, обвиняли друг друга во всех смертных грехах и горячо клялись вершить дело чистыми руками, что могло служить достойным примером для Комитета народного здравоохранения. В то же время детально разрабатывался План Реформ, который час от часу становился все демократичнее и в результате раскрытия разного рода хищений и обнаружения случаев противозаконного обогащения постепенно превращался в довольно рискованный проект ограничения латифундий и распределения земель среди крестьянских общин.

Глава Нации, получив тем же самым утром по почте сообщение о действиях в стане противника, вначале воспринял положение вещей довольно иронически. «Бредни вегетарианца утописта», — заметил он. Но вскоре стало известно, что в Нуэва

Кордобе, кроме митингов, собраний, прокламаций и принятий разного рода законов, началось интенсивное военное обучение студентов и рабочих под началом смуглокожего Капитана Бесерры — неудавшегося энтомолога, любителя насекомых, получившего звание Шефа военной подготовки. И, видя, что это движение набирает силу, проявляя симпатии к синдикализму, в основу которого кладутся чужеземные, антипатриотические доктрины, недопустимые в наших странах, Посол Соединенных Штатов предложил немедленное вмешательство североамериканских войск для спасения наших демократических институтов. Как раз в эту пору несколько их крейсеров проводили маневры в Карибском море, «Нет, может пострадать наш суверенитет, — заметил Глава Нации. — А сама операция не представляет сложности. Да и этим стервецам гринго не мешает показать, что мы сами можем управляться со своими проблемами. Они ведь тоже хороши: придут на три недели, а засядут здесь на два года и провернут большой бизнес, Влезут к нам в хаки, а вылезут в золоте. Посмотри-ка, что творит Генерал Вуд¹¹³ на Кубе...»

Три дня прошли в инспектировании и ремонте путей Восточной железной дороги, и после общеармейской мессы, в которой молили Святую Деву-Заступницу ниспослать победу воинам-: защитникам Отечества, отдельные части направились на новый фронт с развевающимися стягами и штандартами своих полков под несмолкаемое «ура!» и при общем ликовании. Лишь за полночь, пыхтя и свистя, отошел последний поезд. На крышах вагонов и на платформах мужчины в пончо и женщины в накидках дружно пели гимны и песни, а бутылки с прозрачным ромом при свете ламп, и фонарей держали путь от тендера с углем до светящихся глазков последнего вагона — «Если ты, Аделита, уйдешь от меня, я тебя возвращу непременно, — броненосцем вспорю все моря и все земли пройду эшелонном военным...»¹¹⁴

А позади оставалась ночь и жабы в черных низинах у Пристани Вероники, возвратившейся к миру и своему сонному провинциальному бытию, к неспешным беседам в цирюльнях, хоровому пению старух в порталах, к лотереям и играм детей в фанты — после молитв и отбитых в лоне семьи поклонов с мыслями об одних лишь «тайнствах» Девы Марии.

V

Суверены имеют право кое в чем изменять обычаи.

Декарт

Город Нуэва Кордоба, основанный в 1544 году генерал-капитаном Санчо де Альмейдой, внезапно возникал в пустынной дали на фоне шафранных зыбучих песков, хилых травяных метелок, кактусов, колючих кустарников, желтой акации, отдающей потом лежачего больного, и слепил глаза белизной марокканских домиков на берегу реки, русло которой, сухое десять месяцев в году, пробивалось, — извилистой тропой среди скал, отороченных ребрами, рогами, черепами и когтями животных, некогда погибших от жажды. В безоблачном небе от рассветной вспышки до закатного багрянца кружили ястребы, кондоры и стервятники над змеистыми ступенчатыми каньонами, пробитыми кайлом, буром и отбойным молотком, парили над странными

¹¹³ Вуд, Леонард (1860–1927) — американский генерал, губернатор Кубы в период ее оккупации Соединенными Штатами (1898–1902).

¹¹⁴ «Ты не вздумай, Аделита...» — куплет из популярной мексиканской народной песни времен революции 1910–1917 годов.

изломами и округлыми впадинами, превращенными в гигантские геометрические фигуры людьми, которые два века добывали из чрева земли ее темное сокровище. Словно огромные кресла, сиденья и спуски высечены из скал мозолистыми, черными до самых костей, натруженными руками пеонов компании «Дюпон Майнинг К^о»; хаотическая панорама отвалов и холмов, груды гравия и горы шлака, усугублявшие одиночество этой стерилизованной земли, разрезаны эвклидовыми линиями штреков и врубов. И вот здесь-то, в самом жарком месте страны, стояла, окаймленная кактусами-нопалями и опунциями, Нуэва Кордоба, воинственная, начиненная мятежными идеями, противостоящая армии Главы Нации, армии, которая уже одержала победу на Востоке. Объединившись вокруг хилого университетского профессора, тысячи противников режима объявили себя Священным Легионом. И чтобы укрепить подходы к городу, войска Бесерры — уже Генерала Бесерры имели предостаточно времени для создания мощной оборонительной линии; с сетью траншей и блокгаузов, защищенных колючей проволокой и заграждениями из рельсов, которые были завезены сюда для строительства железной дороги.

Наблюдая эти военно-инженерные работы в полевой бинокль, Глава Нации изрек шутку, призрачно маскировавшую его раздражение: «Я всегда говорил: В наших странах применимы только два вида стратегии — Юлия Цезаря или Буффалло-Билла¹¹⁵». И Большой совет Главного штаба решил, что в нынешней ситуации наиболее целесообразно предпринять классическую осаду, отрезав мятежникам все пути сообщений с маленькими северными деревушками, тоже бунтарскими и снабжавшими их провиантом и оружием. «Даже водичку питьевую им надо возить из других мест! Тут климат работает на нас...» Разбив лагерь на благоразумном расстоянии от вражеских оборонительных сооружений, откуда время от времени раздавались одиночные выстрелы (противник не имел возможности тратить боеприпасы ради развлечения), армия перешла к тактике выжидания. Дни коротали за картами, шахматами, домино. Кое-кто играл в кегли, приспособив под них пустые бутылки, а другие состязались в меткости, швыряя камни в бычий череп, надетый на кол. За неимением другого чтива Глава Нации листал произведения классиков военного искусства, всегда занимавших достойное место в багаже Полковника Хофмана. И чтобы подразнить «пруссак с черной бабкой на задворках», как называли его остряки-вольнодумцы читал вслух с нарочито ехидными усмешками явные несуразности, попадавшие на глаза. «Послушай, нет, ты — только послушай, — повторял он и высокопарно цитировал: — «Победу может принести лишь выигранное сражение» (Шарнхорст); «Из двух свежих, равно вооруженных армий побеждает та что превосходит другую числом» (Шарнхорст); «Тот, кто находится в обороне, может перейти в наступление» (Лассау); «Только бой может привести к какому-либо результату» (Лассау); «При командовании надо думать головой, ибо в ней сосредоточен разум» (Клаузевиц); «Главнокомандующий должен знать войну и ее непредвиденные случайности» (Мольтке); «Необходимо, чтобы Главнокомандующий знал, чего он хочет, и обладал нерушимой волей к победе» (Шлиффен); «Театр военных действий имеет только три части: правый фланг, левый фланг и центр» (Жомини). Ясно, если нет центра, не двинешь ни направо, ни налево, — заметил сквозь смех Глава Нации. — И вот эту-то дребедень вам преподают в Военной Академии?..»

¹¹⁵ Буффало-Билл — прозвище Уильяма Фредерика Коуди (1846–1917) — американского авантюриста и охотника.

Так и тянулись дни в безделье, которое зной и мошкара делали невыносимым, пока наконец однажды утром не явился сюда в пробковом тропическом шлеме, с густой сеткой от москитов и в шортах — а-ля Стэнли в поисках Ливингстона¹¹⁶: — сам сеньор Посол Соединенных Штатов с весьма серьезными претензиями. Вооруженные отряды под руководством агентов того, кого уже называли «Каудильо из Нуэва Кордобы», ворвались в банановую зону Тихоокеанского побережья и завладели двумястами тысячами долларов, которые хранились в одной из контор «Юнайтед фрут». Деятельность компании «Дюпон Майнинг К°» парализована прекращением портовых работ в Пуэрто-Негро. Кроме всего прочего, надо покончить с социалистующими мистиками Доктора Луиса Леонсио Мартинеса. Мы, мол, не потерпим пришествия второго Мадеро в этой Америке, что ниже нас. Если страна в самом скором времени не вернется к спокойствию и нормальному режиму, уважающему иностранную собственность, североамериканское вмешательство окажется неизбежным.

Под таким нажимом Глава Нации дал клятвенные заверения, что начнет решительные военные действия в течение сорока восьми часов. И на следующий же день, предоставив все требуемые гарантии безопасности, переданные военным парламентом, он пригласил юного Генерала Бесерру в лагерь, где без всяких экивоков и лишних слов, могущих оскорбить его чувство собственного достоинства, всадил в него... сто тысяч песо, добавив-так, чепуху с несколькими нулями, — двум сопровождавшим его лейтенантам.

К вечеру над окопами и блокаузами взвились белые флаги, возвещавшие жителям Нуэва Кордобы — вместе с прокламацией, — что решение о капитуляции было принято, если к тому же учесть лучшую вооруженность правительственных сил, с единственной гуманной целью: избежать ненужного кровопролития... Вот тогда-то и поднялся вдруг во весь свой исполинский рост яростный И взбушевавшийся Мигель Монумент, прозванный так за свою силу, неутомимость в работе и ходьбе, за невиданной величины торс, треугольником сужавшийся от широченных плеч к такой тонкой талии, что Мигелю всегда приходилось прокалывать добавочные дырки в своих кожаных поясах, чтобы серебряная пряжка — его единственный предмет роскоши — оказывалась на середине живота. Искусный взрывник-зайчик, ухитрявшийся с динамитными шашками в зубах добираться до любого уступа в мраморной каменоломне, этот негр прославился на всю страну в течение каких-то месяцев своим открытием — тем, что из камня можно освобождать животных. Да. Именно так. Впрочем, он уже давно знал, что лесные деревья — живые существа, с которыми можно говорить, и, если им говоришь нужные слова, они в ответ поскрипывают и покачивают ветвями. Но однажды вон там, на том хребте, он увидел круглый камень словно бы с двумя глазами, приплюснутым носом и впадиной рта. «Освободи меня», — послышалось Мигелю. Взяв свой бурав и кайло, он принялся отбивать тут, откалывать там, высвобождая передние лапы, задние ноги, тихонько постукивая по спине, и оказался лицом к лицу с огромной жабой, сотворенной его руками и нежно глядевшей на него. Он взвалил ее себе на плечи, притащил домой, обточил острым резцом, отшлифовал наждачной бумагой, поставил на деревянный

¹¹⁶ Имеется в виду экспедиция в Африку, снаряженная на поиски английского миссионера и исследователя Дэвида Ливингстона и возглавлявшаяся репортером «Нью-Йорк геральд» Генри Мортонем Стэнли. На рисунке, изображавшем финал экспедиции и появившемся в прессе в августе 1872 года, Стэнли представлен в простом походном костюме и колониальном шлеме.

ящик, поглядел на жабу и увидел, как она хороша. Вдохновленный своим открытием, Мигель стал смотреть на скалы, на валуны, на камни, которые его окружали, другими глазами. Вот здесь заточена летучая мышь, потому что по бокам торчит что-то вроде крыльев. Вон там заключен пеликан, грустно опустивший свой зубатый клюв. Из того каменного обломка хочет вырваться лань; страстно тоскующая о свободе. «Гора — это тюрьма, где заперты животные, — говорил Мигель. Животные в ней, внутри. Они просто не могут выйти, пока кто-нибудь не откроет им дверь». И Мигель — начал выпускать на волю своими многочисленными инструментами — буравами, скобелями, зубилами, сверлами — огромных голубей, филинов, кабанов, брюхатых коз и даже освободил тапира, который предстал перед ним как живой. Мигель смотрел на все это: на голубя, на филина, на кабана, на козу, на тапира, — и все они казались ему прекрасными; устав наконец от тяжелой работы, он на седьмой день прилег отдохнуть... Все свои создания Мигель поставил рядышком в — заброшенном, старом депо компании «Нуэва-Кордоба Рэйлрод К^о»; непригодном для ремонта вагонов и платформ, куда по воскресеньям стекались толпы народа поглядеть на выставку каменных тварей. Слава Мигеля росла. Одна из столичных газет опубликовала репортаж о нем, назвав его гением-самоучкой. Но когда к нему пришли из Испанской торговой палаты с предложением сделать статую Главы Нации, Мигель ответил: «Копирование меня не вдохновляет. За сходство не ручаюсь». С тех пор его стали считать — впрочем, без особых на то оснований противником режима. Правда, другие художники из «Атенео»¹¹⁷ его защищали: «Ему не осилить образ человека. Он отказал не из политических соображений, а из боязни оскандалиться». И святым отцам было поручено уговорить его, упрямца, сделать статуи Четырех Евангелистов для украшения четырех углов сада каноников при соборе Святой Девы-Заступницы. «Я не умею вызволять из камня людей», — ответил Мигель. Однако, узнав, что у Марка был лев (он недавно видел одного льва в цирке, дававшем представления в соседних селениях), что у Луки имелся бычок (бык есть бык, везде и всюду), а у Иоанна — орел (здесь не водятся орлы, но все знают, что такое орел), Мигель взял заказ и стал высекать символических животных, приписываемых Обитателям Апокалипсиса, отложив напоследок Матфея, ибо лик юноши, сопровождавшего этого святого, он никак не мог себе представить. Но Мигель работал, работал, впервые в жизни сотворяя из камня человечьи лики с нимбами, — уже не буравом, а резцами, привезенными из столицы, острыми, как ножи...

Этим-то делом он и занимался, когда узнал о подлой капитуляции. Тут же бросил прочь инструменты и выскочил на улицу. Мечтатель, творец диковинных животных и людей, сумасброд и чудаки вдруг стал держать речи на всех перекрестках, расправил могучие плечи и стал трибуном, стал вожаком, стал народным вождем. Авторитет его был столь велик, что ему внимали и повиновались. Он велел убрать белые флаги, — и белые флаги были спущены, и увидел Мигель Монумент, что это хорошо — спустить белые флаги — и хорошо снова вступить в бой. С динамитными шашками в руках, с тлеющим фитилем за спиной, он призвал сопротивляться, и бороться до тех пор, пока Хлеб Насущный не станет Хлебом — Сущим, сегодня, заработанным и сегодня же съеденным, а не принадлежащим лавкам компаний янки, национальных или «смешанных» компаний, которые распоряжаются рудниками, платят бонами и за боны

¹¹⁷ Атенео — общество писателей, художников, ученых, основанное в 1820–1823 годах в Мадриде. Подобные ассоциации создавались в странах Латинской Америки.

дают товары. Вмиг он организовал из тех, кто его слушал, роту подрывников и роту саперов. И вдохновленные речами, которые звучали правдой, хотя были неблагозвучны грубы (красноречие души, зовущее и увлекающее, более убеждает, чем любая высокопарная речь), студенты, интеллигенты и те, что с отбойными молотками, и те, что с кувшинами для оливкового масла, и те, что в альпартатах, и те, что в уарачах, — все, кто уже не верил в мозгляка Луиса Леонсио Мартинеса, который наводнял страну прокламациями, взывая к народу, едва его; знавшему, заявляя, что рассчитывает на помощь провинций, еще вовсе и не собиравшихся помогать, — все подтвердили свою решимость сражаться до конца...

Но хотя к сражению готовились и взрослые мужчины, и молодые девушки, и отважные: подростки, а старухи щипали корпию для перевязки раненых и старики перековывали в кузницах ломы на копья, люди находились в совершенно открытом городе, городе без старинных крепостных стен, как в других местах; без зданий, которые можно превратить в бастионы; в городе, где глинобитные домишки выбегали из улиц прямо на песчаные пустоши. И, несмотря на устланные динамитом дороги, где в грохоте взрывов взлетали кверху изувеченные тела, вскидывая руки и ноги; несмотря на кровопролитные драки за каждый патио, за каждую крышу, — не говоря уже о том, что защитники отбивались от врага старыми винчестерами, охотничьими ружьями, допотопными мушкетами, кольтами, дробовиками и тремя или четыремя пулеметами «максим», которые из-за нехватки воды приходилось охлаждать мочой, правительственные войска заняли площадь, окружив Собор, где укрылась сотня отчаянных смельчаков; которые отстреливались последними патронами через окна, оконца и решетки. Наибольшую опасность представляли собой стрелки на колокольне — они брали на мушку каждого, кто пытался сунуть нос на Главную Площадь. Шли часы, а в общем все оставалось по-старому — там урвали клочок, тут отхватили кусок, но самое главное, никак не удавалось занять уже оставленное здание Муниципалитета, фасад и галерея которого простреливались горсткой этих бандитов, у которых никак не кончались патроны и провиант. Хофман уже установил в надлежащем месте свои «крупные» пушки, подвезенные волами, и нацелил их на Собор. Некоторые волы, слишком заметные сверху и тащившиеся слишком медленно, были ранены. Тем не менее окровавленные животные из третьей упряжки, волочившие за собой свою мертвую вторую пару, и из второй упряжки, тянувшие свою исходившую предсмертной слюной первую пару, привезли тяжелейший груз туда, куда его надо было привезти. Однако Глава Наций вдруг заколебался: Храм Святой Девы-Заступницы, Хранительницы рьяной Отечества и Воинства... Предмет поклонения, цель паломничества, жемчужина колониальной архитектуры... «Пропади она пропадом! — сказал Полковник Хофман, который был лютеранином. — Или побеждать, или в куклы играть». На худой конец здание можно реставрировать. — любая реставрация только укрепляет постройки, продлевает им жизнь. «А если повредят Святую Деву?» — спросил Глава Нации. «На парижской площади Сен-Сюльпиие продают такие же статуэтки, причем очень миленькие», — ответил Доктор Перальта. «Чего там ждут? Пора кончать с этими son of bitch¹¹⁸, — сказал Военный атташе Соединенных Штатов. — Наши marines¹¹⁹ давно бы с ними

¹¹⁸ Сукины сыны (англ.).

¹¹⁹ Морские пехотинцы (англ.).

расправились. Мы не так сентиментальны, как вы...» — «Да, иного выхода не вижу, — произнес наконец Глава Нации. — Если Пилат умыл руки, то я заткну уши». «Приказ поистине стратегического значения», — сказал Хофман. Стволы крупновских пушек были направлены на цель.

Старый Артиллерист произвел расчет по методу «три локтя вверх, два направо, с поправкой в полтора пальца», и первый выстрел бухнул. Удар пришелся по центру башенки, и колокола грохнулись на крышу храма — затрещали каменные стены, рухнули статуи. Громыкнул второй выстрел — тут расчет был произведен по всем правилам, с логарифмами: — и снаряд, пробив Главные врата, просвистел по алтарю, не задев статую Святой Девы-Заступницы, которая как стояла, так и осталась стоять на своем постаменте — цела и невредима, равнодушна и неподвижна: феномен, который отныне стал всюду известен как «Чудо Нуэва Кордобы», «Святая Дева с нами!» — возопили победители, «Дева, — сказал Глава Нации, облегченно вздохнув, — не могла быть на стороне атеиста, который верит в говорящие столики и божества о шести руках...» Затем началась расправа. Отряды вояк, разнузданных и безудержных, бросились на охоту за мужчинами и женщинами, принялись рубить и колоть штыками, мачете, ножами, кидая истерзанные, изуродованные, обезглавленные голые трупы на середину улиц для острастки и наглядного урока. А последние вражьи дети — человек тридцать — сорок — были приволочены на Городские бойни, где среди содранных шкур, потрохов, луж желчи и густой крови забитого скота их повесили живьем на крючья, зацепив под мышки, за ребра, за подколенки и загривки, предварительно избив ногами и прикладами. «Кому свежего мяса? Кому свежего мяса?» — орали экзекуторы, передразнивая торговцев и лишний, раз втыкая штык в какого-нибудь умирающего до того, как встать в позу перед камерой фотографа-француза мосье Гарсена, который жил в этом городе испокон веков (злые языки болтали, что он бежал с каторги из Кайенны) и изготавливал семейные портреты, навечно запечатлевая свадьбы, крещения, первое причастие и «ангелочков» — умерших новорожденных в их маленьких белых гробиках. «Улыбочку! Улыбочку! — И фотограф был готов нажать на резиновую грушу. — Два пятьдесят за полдюжины, фотография формата открытки, могу увеличить, ручная раскраска, на память... Не шевелиться... Готово... Теперь туда... На фоне тех распятых. Теперь сюда, на фоне этих повешенных... Опустите юбку той бабе, чтобы прикрыть срам... Еще разок, возле того, с вилами в брюхе... Кто закажет дюжину, даю скидку...».

Стервятники — ауры и ястребы уже кружили над Городскими бойнями. С телеграфных, столбов, с тополей, в парке, с балконов Муниципалитета гроздьями свисали повешенные. Беглецов, заарканенных, как бычков на родео, кавалеристы волокли за собой на веревке по брусчатой мостовой или просто по голому щебню. Человек пятьдесят горняков с руками, на затылке были препровождены военными на бейсбольный стадион, торжественно открытый пару месяцев, назад компанией «Дюпон Майнинг К°. У ног Святой Девы-Заступницы возвышавшейся в опаленном, алтаре среди руин ее Святой Обители, громоздилась куча людских тел, из которой, нарушая гармонию, округлого контура, — несуразно торчали чья-то нога, рука или голова с застывшей предсмертной гримасой. Еще звучали отдельные выстрелы в квартале горняков, где солдаты поджигали, предварительно оросив керосином, дома, — откуда неслись крики и зовы о помощи... А ровно в полночь раздался оглушительный взрыв в заброшенном депо «Нуэва Кордоба Рейлрод К°. Мигель Монумент, подорвав сарай динамитом, взлетел на воздух со всеми своими каменными

творениями. Отдельные куски фигур Евангелистов рухнули на военный отряд, прирезав трех солдат лезвиями своих острых нимбов, отточенных напильником вдохновенного подрывника-шахтера.

Погасив основной очаг сопротивления, Глава Нации вернулся в столицу возложив на Хофмана, получившего за свои военные заслуги чин Генерала, уже весьма несложную задачу: покарать ближние селения, оказавшие какую-либо помощь мятежникам. Доктор Луис Леонсио Мартинес сбежал в направлении северной границы по тропе вдоль какого-то сухого русла, терявшегося в безлюдных горах Ятитлана. Где-нибудь он провозгласит себя, главой Правительства в изгнании, лидером Подлинной национальной партии и т. д. и т. п. и постарается слепить ее рыхлое ядро из эмигрантов политиков, которое — это Президент хорошо знал — быстро распадется, подточенное червем соперничества, разногласий, размолвок, измен, взаимных обвинений и обид, распаленных газетенками, выходящими тиражом не более трехсот экземпляров, и пасквильными листками, читаемыми не более чем полусотней читателей.

И Апостол из Нуэва Кордобы, поглощенный своими иллюзиями и теориями, кончит Дни, как и многие ему подобные, забытым в каком-нибудь boarding house¹²⁰ Лос-Анджелеса или в одном из карибских притонов, строча послания и памфлеты, которые не будут представлять никакого интереса для тех, кто прекрасно знает, что в политике имеет цену только успех...

В честь возвращения Главы Нации в правительственные апартаменты на улицах были вывешены флаги; воздвигнуты Триумфальные арки, пылали фейерверки и всюду гремел марш *Sambre et Meuse*¹²¹, который он так любил. Но на первой же своей пресс-конференции Президент, мрачноватый и словно подавленный, дал понять, что душу его снедает великая скорбь при мысли — видимо, причиной тому явились недавние события, — что не весь народ беззаветно верит в его честность, бескорыстие и патриотизм. Поэтому он решил оставить свой пост и возложить свои обязанности на Председателя Сената до ближайших выборов, на которых какой-либо наидостойнейший муж, какой-нибудь добродетельнейший гражданин, обладающий неизмеримо большими, чем он, способностями направлять судьбы Нации, мог бы быть избран президентом, если — повторяю, если-плебисцит не решит иначе.

И тут же был проведен плебисцит, в то время как Глава Нации занимался своими текущими делами с благородной и безмятежной отрешенностью, чтобы не оказать с достоинством, глубоко, но тайно страдающего человека, который уже не верит ни во что и ни в кого, — раненный в самое сердце черной неблагодарностью тех, ради кого он трудился и дни и ночи. Вот она, тщета власти! Классическая драма Короны и Пурпурной мантии! Горькая участь Первого из первых!

Поскольку сорок процентов населения; не умело ни читать, ни писать, были изготовлены бюллетени двух цветов, дабы упростить процедуру выборов: белый для тех, кто «за», черный для тех, кто «против». А неизвестные голоса; еле слышные и злокозненные, стали распускать втихомолку слухи в городах и селениях, в горах и на равнинах, с севера на юг; и с Востока на запад, что результат голосования, самого тайного, все равно будет известен сельским или городским властям. И для того уже

¹²⁰ Меблированные комнаты (англ.).

¹²¹ Самбр и Мёз (фр.).

изобретены особые приборы. Например, фотокамеры в занавесках кабин, автоматически снимающие всякий раз, как только гражданин протягивает руку к урне. Там, где нет таких аппаратов, есть люди за теми же занавесками. Также будет произведена — это уж Обязательно — проверка отпечатков пальцев на бюллетенях. Не следует забывать и про то, что в маленьких деревнях каждый знает политические взгляды соседа, и там с максимальной долей вероятности можно будет установить, кто подал эти самые двадцать голосов «против». Страх до дрожи в коленях все сильнее овладевал государственными служащими, а их было немало. С другой стороны, таинственные голоса — уже несколько громче — вешали в тавернах, публичных домах о том, что крупные компании: металлургические, банановые, текстильные и другие уволят всех, кто выступит против продления срока полномочий Главы Нации. Неблагонадежные крестьяне на собственной шкуре узнают, что такое мачете сельских жандармов. Преподаватели будут выброшены из своих аудиторий. Самой суровой проверке подвергнутся финансовые декларации о доходах некоторых коммерсантов, которые — ты мне, я тебе — всегда находят способ обмануть Налоговое ведомство. Одновременно напоминалось, что любой иностранец, недавно получивший местный вид на жительство, может быть лишен гражданства и выдворен туда, откуда явился, если попадет в категорию подозрительных лиц, анархистов или подстрекателей... Посему плебисцит увенчался поразительным единогласием и единодушием, таким единогласием и единодушием, что Глава Нации счел необходимым допустить наличие 4781 черного бюллетеня (число было тут же представлено Доктором Перальтой), чтобы продемонстрировать полнейшую объективность счѐтных комиссий...

И снова — речи, торжественные процессии, пиротехнические чудотворства и бенгальские огни. Но Президент устал. Кроме того, с каждым днем все больше начинала беспокоить правая рука — она то странно немела и тяжелела, то подрагивала, то отдавала болью в плечо, и не помогали ни массажи, ни лекарства, ни даже домашние микстуры, приготовлявшиеся Мажордомшей Эльмирой, которая, будучи дочерью колдуна, отлично разбиралась во всяких кореньях и травах: их отвары, как правило, более эффективны, чем некоторые запатентованные фармацевтические пойла, рекламируемые прессой в сопровождении прелестных сказок о чудесном исцелении и полном выздоровлении. Американский врач, специально прибывший из Бостона, поставил диагноз: артрит — или аналогичный недуг, но только с новым названием, похожим на те, что появляются на первых страницах прогорающих журналов и сеют еще большую панику среди больных, вселяя ужас в их души, — и заявил, что здесь, в стране, нет таких новейших физиотерапевтических аппаратов, которые могут излечить болезнь. Правительство в полном составе обратилось к Главе Нации с убедительной просьбой не пренебрегать своим здоровьем, столь дорогим для родины, и отправиться в Соединенные Штаты на лечение. Во время его отсутствия Премьер-министр мог бы исполнять президентские обязанности совместно с Генералом Хофманом, ответственным за национальную оборону, и Председателем Сената... Одним словом, Глава Нации отчалил в США на борту роскошного парохода компании «Канард-лайн». Однако, прибыв в Нью-Йорк, он вдруг почувствовал какую-то необъяснимую робость, почти детский страх — вероятно, результат утомления и нервного расстройства, связанного с недавними событиями, — страх перед американскими врачами с их непонятным языком, неуважительным обращением, неприятной манерой по любому поводу хватать

скальпель и кромсать пациента без особой на то надобности, с их пристрастием ко всяким жутким и рискованным экспериментам, столь отличным от мягких, деликатных и мудрых терапевтических методов французских или швейцарских докторов, которые — и он подумал о Дуаене, Ру, Венсане — были в Европе истинными светилами. Белым, стерильным, безликим кабинетам здешних американских врачей с красующимися в застекленных шкафах пинцетами, зондами, зазубренными ножницами и другой адской утварью Президент предпочел бы кабинеты, украшенные пейзажами Арпиньи, портретами Каролус-Дюрана, — персидские ковры, старинная мебель, книги в переплетах восемнадцатого века, едва ощутимый запах йода или эфира, — кабинеты докторов с эспаньолками и в сюртуках с орденом Почетного Легиона, принимающих столь мило и любезно, на авеню Виктор Гюго или на бульваре Малерб, «Прекрасно, сказал Перальта, — но... Как вы думаете, разумно ли уезжать так далеко? А если там снова затеют резню, мой Президент?» — «Эх, дружок... Все возможно в наших странах. Но сейчас это маловероятно. И отсутствовать мы будем всего лишь несколько недель.

Здоровье для меня самое главное. Я не желаю быть одноруким. Если бы еще потерять руку при Лепанто¹²²... А так — чего ради? Идиотство. К тому же без своей; правой руки я не могу положиться даже на того, кто меня искренне любит. Ибо, когда я на родине, где меня очень любит народ, я лишь тогда чувствую себя спокойным, уверенным, твердым на приемах и обедах, когда знаю, что эта штучка со мной». И, кивнув в сторону своего левого плеча, где под мышкой прятался браунинг, Глава Нации не упустил случая воздать должное чуткости Гашетки и красоте Рукоятки «этой штучки». Когда он говорил, в его голосе звучала такая нежность, с какой лишь влюбленный может говорить о достоинствах своей любимой: она и верна, и послушна, и надежна, и изящна в пропорциях, приятна в обращении, изысканна и красива вплоть до маленького роти... то бишь дула; разит наповал, хотя и такая крошка, а на рукоятке в качестве украшения выгравирован Национальный герб. Мажордомша Эльмира с поистине материнской любовью холила и каждодневно чистила это оружие, когда хозяин снимал его, чтобы принять ванну, и тотчас возвращала, перезаряженное и готовое к употреблению, когда вытирала своего господина широким мохнатым полотенцем, — из тех, что Офелия покупала для отца в Ла Мезон де Блан... Таким образом, отказавшись от электрических приборов, изобретений, новейших методов и столов пыток американских больниц, похожих, по его мнению, на огромные исправительные тюрьмы, Глава Нации вступил однажды утром на борт «Ла Франс», чтобы после стольких напастей и тревог вкусить прелести парижского лета, в том году такого жаркого и солнцеобильного, какого, по сообщениям газет, не наблюдалось с середины прошлого века.

Часть третья

Все истины могут быть правильно поняты, но не всеми, — по причине предубеждений.

Декарт

¹²² Имеется в виду эпизод из жизни Сервантеса. 7 октября 1571 года в бою итало-испанского флота против турок у греческого города Лепанто Сервантес получил тяжелое ранение, в результате чего лишился левой руки.

VI

Путешественников встретил на Gare du Nord¹²³ Чоло Мендоса — желтые перчатки, гардения в петлице и, как всегда, летом или зимою, серые гамашы. Получив радиogramму с борта парохода, он срочно вернулся из Виши, где гармоничное сочетание ежедневных водных процедур с ежевечерними винными возлияниями и разумное чередование «виши» с виски «бурбон» омолодили его почти до неузнаваемости. Остальные служащие посольства проводили свои летние отпуска с детьми в Трувийе или Аркашоне. Офелия была в Зальцбурге на моцартовском фестивале, который открывался оперой «Cosi fan tutte»¹²⁴.

Посол изобразил на своем лице крайнюю тревогу при виде Главы Нации с рукой на перевязи — безжизненная длань покоилась в повязанном вокруг шеи кашемировом шарфе. «Боли мучительны, но ничего особо опасного нет», — пояснил Перальта. Здешние доктора с их далеко ушедшей вперед медициной одолеют недуг. А кроме того, новая обстановка, вечное движение, всегдашнее веселье, французская цивилизация... Стоит тут только вдохнуть воздух — вот так: вдох, выдох, расправить грудь... — и уже чувствуешь себя лучше. Давно известно, что душевное состояние определяет физическое самочувствие, и боль лишь усиливается, если сосредоточить на ней свое внимание, ибо в конечном итоге все современные психологи, равно как и Эпикур когда-то, придерживаются мнения, что... И т. д., и т. п. «Однако трудно разговаривать на вокзале — шум поездов, свистки, суэта носильщиков, — и ты, Чоло, иди-ка лучше вперед с багажом, а мы с Перальтой пойдем помедленнее: ноги затекли от долгого сидения...»

И Глава Нации в сопровождении своего секретаря зашел в знакомое бистро фламандского стиля, где можно выпить горького пива «хугаарде» или крепкого «ламбика», доведенного «до кипения» раскаленным гвоздем, опущенным в его пену. Вновь прибывшие бы: ли готовы подчиниться знакомому ритму беспечной жизни и направиться куда глаза глядят: от пивной «У Пантеона» к тюльпановым луковицам набережной Межисри, от книжного магазина оккультных наук и черной магии Шакорнака (гороскопы, наставления для начинающих, писания Станислава де Гойта...) к гимнастическому залу, где еще практиковался благородный вид боксирования в перчатках и ботинках с правом удара ногой по лицу; от небесно-голубого тента прилавков «Предметы культа Нотр Дам де Виктоар» к Рю Сент-Аполлин, 25 — «Под Зеркалами», где по утрам частенько «несла караул» одна «пышная блондинка, большая мастерица по части обхождения а-ля герцог д'Омаль, что можно сравнить с упражнениями в забавном комфортабельном манеже для лежащих всадников.

В барах на цинковых стойках и на полках за стойками все говорило на языках запаха и вкуса: сдобные булочки в маленьких плетенках, вздыбленные складками пирожные в, квадратных стеклянных вазах, похожие на раковины Компостелы; берсальерская эстетика бутылок «чинзано», этикетки «дюбоннэ», сверкающая керамика бутылей голландского джина, лестницы деревянных полок, запруженных бочонками виноградной водки; благоухание — нечто среднее между смолой, и апельсиновой коркой — «амера пикона».

¹²³ Северный вокзал (фр.).

¹²⁴ Так поступают все женщины (итал.).

«Здесь получше, чем в Пещере с Мумиями», — пробурчал Глава Нации. И, усевшись наконец в авто с открытым верхом., велел везти себя на Рю де Тильзит. «Париж всегда Париж», — глубокомысленно изрек его секретарь, когда вдали показались кони Марли¹²⁵ и неуклюже-великолепная громада Триумфальной арки...

Удобно устроившись, утонув в своем кожаном кресле, Глава Нации почувствовал органическую потребность восстановить былые связи с городом. Он позвонил по телефону на Кэ Конти, где бывали такие приятные музыкальные вечера, но мадам, не оказалось, дома. Позвонил скрипачу Морелю, но тот поздравил его с приездом поспешно и сухо, как человек, желающий скорее окончить разговор. Позвонил Луизе де Морнан, экономка которой, заставив его прождать у трубки сверх всякого приличия, изволила наконец сообщить, что прекрасная дама на время отлучилась из Парижа. Позвонил Бришо¹²⁶, профессору Сорбонны. «Я почти слеп, — сказал тот, — но газеты мне читают». И повесил трубку. «Хамом был, хамом и остался», — подумал Глава Нации, несколько опешив от такого странного ответа и отыскивая следующий номер в своей книжечке. Он звонил, звонил, звонил; тому, другому. И чувствовал, что голоса — впрочем, за исключением его портного и парикмахера, — как: то странно изменились, и по тону и по манере говорить. Тогда он подумал о д'Аннунцио, который должен был быть». Париже, но служанка сказала, что её хозяин уехал в Италию. Однако из трубки вдруг вырвался голос поэта, который опроверг сие утверждение и стал яростно поносить своих кредиторов, буквально осаждавших его дом. Да, именно осаждавших, как полчища каких-то эринний, эвменид, фурий¹²⁷ или как псы Персефоны, здесь, везде, всюду — в бистро напротив, в табачной лавке за углом, в ближайших булочных, — они сторожат его дверь, высматривают, ждут, когда он выйдет, чтобы наброситься на него и растерзать, опозорить своими наглейшими требованиями денет. «О, чего бы я только не дал, чтобы обладать правами латиноамериканского тирана и очистить Рю Жоффруа л'Анье от проходимцев и еретиков, как это сделал в Нуэва Кордобе мой благородный друг, позвонивший мне!..» Не желая подставлять себя под следующий удар — видимо, не последний, — Глава Нации стал постукивать по трубке своей авторучкой, приговаривая: «Ne coupez pas, Mademoiselle, ne coupez pas...»¹²⁸ — и нажал на рычажок, оборвав собеседника на полуфразе, дабы тот подумал, что нарушилась связь. Однако сам он встревожился и расстроился. Явно не знал, как оценить слово «тиран», ибо поэт всегда выбирал «образно-призрачный», не банальный способ выражения. А что касается Нуэва Кордобы, он даже представить себе не мог, что д'Аннунцио мог знать имя этого города. В чем же дело? Видимо, следует позвонить Рейнальдо. Ану, милому в любезному «земляку» из Пуэрто Кабельо.

Композитор не замедлил внять телефонному зову и ответить на своем правильном испанском языке; с легким венесуэльским акцентом и отдельными словами,

¹²⁵ Кони Марли — скульптурная мраморная группа работы Гийома Кусту (1677–1746). В 1795 году была перевезена из местечка Марли-ле-Руа (ок. Версаля) и установлена на площади Согласия в Париже.

¹²⁶ Бришо — персонаж романа М. Пруста «В поисках утраченного времени».

¹²⁷ эриннии — богини мщения и кары в древнегреческой мифологии. По отношению к раскаявшимся преступникам становятся эвменидами. Фурия — в римской мифологии — одна из богинь мщения.

¹²⁸ Не разъединяйте, мадемуазель, не разъединяйте... (фр.).

несомненно, рио-платскрго происхождения, появление которых в, своем лексиконе он не считал нужным объяснять. После обмена обычными приветствиями Рейнальдо своим тусклым голосом ениво и равнодушно, будто рассказывая о чем-то совсем постороннем сообщил ему, что «Матэн» опубликовала серию страшнейших репортажей о событиях там и что его «земляк» назван «Мясником из Нуэва Кордобы».

Фотографии мосье Гарсена заняли три или четыре колонки, демонстрируя трупы, завалившие город, трупы, подвешенные на крючьях в городских бойнях под мышки, за ребра и подбородки, пронзенные пиками, вилами, саблями в ножами. Были там и женщины, одни — отбивающиеся от солдат, нагишом бегущие по улицам под градом штыковых ударов. Другие — изнасилованные под сенью храма. Третьи — распростертые во дворах. И горняки, сотнями расстреливаемые у стен кладбища под грохот военных оркестров и взвизги блестящих кларнетов. А рядом — фотографии Главы Нации в походном мундире: в профиль, вполоборота, иногда спиной, — но и тогда его можно было узнать по фигуре весьма внушительных размеров, — отдающего приказ бить из пушек по национальному сокровищу, по Собору Святой Девы («Не я приказывал, а Хофман», — протестовал Глава), по этому чуду архитектуры барокко, по «Нотр-Дам Нового Света», как сказано в газете. И все же самым неприятным было то, что его сын Марк Антоний, давший интервью журналисту дня два назад на пляжах Лидо, где он проводил время в компании одной Арсиной из «Комеди Франсез»¹²⁹, вместо того чтобы встать на защиту отца, заявил: «Je n'ajque faire de ces embrouillements sudamericains...»¹³⁰

Только теперь дошел до ошеломленного слушателя истинный смысл многих извинений и любезных отговорок, мнимого отсутствия Луизы де Морнан и странный ответ Бришо: «Я знаю, земляк, что здесь многое преувеличено... Ныне творят чудеса в области фотографических трюков. Вы, конечно, не могли... Все это понятно фальшивка...» Но Композитор, увы, не нашел времени отужинать с ним тем вечером в Лари. И назавтра тоже не обещал, ибо дал слово встретиться со своим коллегой Габриэлем Форе¹³¹. К тому же так много работы: опера на либретто испанца Моратина¹³² «Девушки говорят да», концерт для фортепьяно с оркестром. Очень, очень жаль...

Совершенно сраженный Глава Нации свалился в гамак, подвешенный по диагонали на кольцах, которые несколько месяцев назад он велел укрепить в противоположных углах своей спальни. Даже не набросился в ярости на Чоло Мендосу, который ведь мог Сообщить ему обо всем этом заранее. Он прекрасно знал, что из всех газет его дипломаты читают только «Рир», «Фантази» и «Ви Паризьен» и всегда последними узнают то, что пишется об их стране. Он глядел на лепные украшения белого потолка с горьким чувством досады, какую, видимо, ему еще никогда не приходилось испытывать. Плевать на те прозвища — «мясник» ли,

¹²⁹ Имеется в виду исполнительница роли Арсиной в комедии Мольера «Мизантроп». Характер и имя этого персонажа — Арсиной, в свою очередь, соответствует имени египетской принцессы Арсенои, которая вышла замуж за Птолемея, обезглавив своих сыновей от первого брака.

¹³⁰ Не имею отношения к этим латиноамериканским заварухам (*фр.*).

¹³¹ Форе, Габриель (1845–1924) — французский композитор, — директор Парижской консерватории.

¹³² Моратин (Фернандес де Моратин, Леандро. 1760–1828) — испанский поэт и драматург.

«варвар», «кафр» и прочие, — какими его наградили бы в местах, которые он никогда не любил и сам отзывался о них весьма неуважительно. Так, он не скрывал мнения, что Берлин по праву может называться «Медвежьим логовом»; их Бранденбургские ворота — просто нелепый гранитный паровоз, который норовит раздавить самое понятие архитектурной композиции, а их Пергамский алтарь¹³³ втиснут в четыре музейных стены возле Унтер-ден-Линден. Вена, хотя и славится элегантною и сластолюбием благодаря опереттам и вальсам, в действительности страшно провинциальна со своими расфуфыренными, офицерами с дюжиной — или менее того — ресторанов, из кожи вон лезущих, чтобы казаться парижскими, и своим кофейно-молочным Дунаем, который бывает голубым, наверное, лишь 29 февраля, да и то не каждого високосного года. Берн — скучнейший городишко, загромоздивший свои улицы каменными швейцарскими герольдами и превративший дома в выставки часов и барометров. Рим со своими театральными площадями, переулками — сплошные оперные подмостки, где прохожие, как бы ни были они одеты, что бы они ни говорили, все равно не более чем сборище хористов из опер Верди «Сила судьбы» или «Бал-маскарад». А Мадрид вообще город второго сорта: бродячие торговцы водой, сладостями и спиртным, ночные стражники со связками ключей за поясом, пирушки-тертулии в кафе, где первые проблески рассвета освещают неприглядную картину столов с недопитым какао, объедками и огрызками, оставшимися после тех, кто отправился спать, в то время как другие посетители с утра пораньше уже начинают жевать чурро, запивая их касальей и дымя дешевым табаком...

Париж совсем другое дело. Это Земля Обетованная, Благословенный Край, Святое Место интеллигенции, Метрополия всех образов жизни, Источник всяческой культуры, город, который год за годом в журналах, газетах и книгах восхваляли, пожив здесь и в полную меру удовлетворив свое честолюбие, такие знаменитости, как Рубен Дарио, Гомес Каррильо, Амадо Нерво¹³⁴ и многие другие латиноамериканцы, каждый из которых по своему умению и разумению сделал для себя из этого Великого города Врата Рая...

Постепенно и упорно Глава Нации тоже добивался своего, соблюдая строгие правила светского этикета, меняя костюмы в соответствии с часами, днями и временами года, преподнося щедрые, но не сверх меры роскошные подарки, рассылая огромное количество цветов, не жалея денег на благотворительных базарах и лотереях в пользу бедных, а также приобретая друзей среди артистов и писателей, открыто презиравших экстравагантности богемы; посещая все; выдающиеся концерты, торжественные рауты и театральные премьеры, — показывая тем самым, что в наших странах «тоже» знают толк в светской жизни. Так он вступил на путь, который еще не привел его к вождельным страницам Альманаха «Готы»¹³⁵, но тем не менее уже

¹³³ Пергамский алтарь — памятник эллинистического зодчества, созданный во II веке до н. э. в городе Пергаме, столице небольшого малоазиатского государства. Найденные в результате раскопок фризы алтаря были куплены прусским правительством и в конце прошлого века перевезены в Берлин.

¹³⁴ Речь идет о трех крупных фигурах латиноамериканского модернизма. Никарагуанский поэт Рубен Дарио (1867–1916, наст. имя Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто) прожил в Париже несколько лет, посылая оттуда корреспонденции в аргентинскую газету «Ла Насьок». Гватемальский писатель Энрике Гомес Каррильо (1870–1927) более трех десятилетий находился во французской столице на дипломатической службе, а мексиканский поэт и критик Амадо Нерво (1870–1919) был там корреспондентом газеты «Импарсиаль». В Париже к ним пришла литературная известность.

¹³⁵ «Гота» — альманах со статистическими данными и сведениями о знаменитых людях. Издавался в городе Готе

трижды приводил на музыкальные вечера мадам Вердюрен¹³⁶, что было неплохим началом. Ему хотелось когда-нибудь, когда он будет по горло сыт заварухами и треволнениями там, навсегда, до конца дней своих поселиться в этом доме, который с каждым новым приездом становился все милее его сердцу. И вот теперь все пошло прахом. Навсегда закроются перед ним двери домов, о которых он мог лишь мечтать с той поры, когда был провинциальным журналистом и бродил по извилистым улочкам Пристани Вероники, декламируя; поэмы, в которых Рубен Дарио воспевал «век короля Людовика Французского, Лик солнца в окружении звезд и синий Абажур над дивными дворцами, где благоухает роза, Роза Помпадур»¹³⁷. Или, когда, вдыхая в какой-нибудь портовой таверне чад подгорелых креветок и пережаренной хамсы, уткнувшись в журналы оттуда, он наслаждался зрелищем великолепия, которое сотворили лучшие художники мира, смотрел на пурпур и позолоту фойе Гранд-Опера, на белизну сильфид и на царственное одеяние амазонок — участниц конных состязаний, на серые соборы, плачущие дождем, — «il pleure dans mon couer comme il pleut sur la ville...»¹³⁸, — на яркие соцветия женщин, которые выглядели на картинках какими-то жар-птицами, брильянтовыми симфониями, чудо-существами, неведомо откуда явившимися вдруг на страницу; «Иллюстрасьон» — вот тут, здесь, где слышался рев гудка датского грузового парохода, скрип лебедки и шум угля, сыпавшегося на ближний мол...

Теперь же ему казалось, что он видит презрение и немое осуждение в глазах решительно всех, кто его окружал: камердинер Сильвестр как-то странно отводил взор, кухарка — при виде его подозрительно вытирала руки о, фартук — что, правда, можно было объяснить тысячей разных причин; консьержка, с вытянутой физиономией даже не сочла нужным проявить интерес — или, кто знает, сочла вопрос бестактным? — к его руке на перевязи. И в «Буа Шарбон», куда, как обычно, посидеть вместе с Перальтой за бутылкой «божолэ», он отправился тем вечером со смешанным чувством любопытства и робости, мосье Мюзар был не слишком приветлив. Его супруга не вышла пожелать им приятного аппетита, а судя по взглядам, какие кидали на него те двое, в кепи, сидевшие в другом конце бара, они судачили о нем. Во всех остальных кафе у гарсонов было какое-то странное выражение лиц. В конце концов, желая избавиться от снедавшей его тревоги, Глава Нации по совету Перальты нежданно-негаданно явился к Именитому Академику, который стольким был ему обязан. Там, в мрачноватых апартаментах с видом на Сену, среди старинных книг, рисунков Хокусаи, портретов Сунт-Бёва. Верлена, Леконт-де-Лили и Леона Дьеркса, Президент нашел радушный прием, полное понимание и здравый взгляд на жизнь, что тронуло его до глубины души. Власть налагает ужаснейшие обязанности; утверждал его друг. «Если король исполняет обет, это страшно; и если не исполняет — тоже страшно», — говорил он, цитируя, кажется, Оскара Уайльда. Любой народный вождь, любой популярный монарх, любой Великий Правитель имел твердую руку...

Перед глазами Президента проплывали драматические и вдохновляющие видения

(Тюрингия) с 1763 года.

¹³⁶ Мадам Вердюрен — персонаж романа М. Пруста «В поисках утраченного времени», хозяйка салона.

¹³⁷ Фрагмент стихотворенья Р. Дарио «Воздух был нежен...» из книги «Языческие псалмы» (1896),

¹³⁸ «И в сердце растрava, и дождик с утра...» (*фр.*). П. Верлен. (Перевод Б. Пастернака.)

и картины: разрушение Карфагена, осада Нумансии, падение Византии. В памяти ни с того ни с сего попеременно всплывали образы Короля Филиппа и герцога Альбы, Саладина. И к тому же... Разве удавалось кому-нибудь и когда-нибудь удержать разнузданную солдатню, упоенную победой, умерить ее ярость, неистовство, жестокость? Явление прискорбное, но неизбежно повторяющееся на протяжении всей Истории. А когда надо подавить восстание индейцев и негров, ситуация еще более усложняется. Ибо в конечном итоге, если говорить честно... это был заговор — да, без всяких сомнений! — именно заговор негров и индейцев...

Снова став самим собой, обретя боевой дух в беседе, Глава Нации невольно соскользнул с рельсов очень правильного французского языка, очень старательного произношения и словоупотребления, и в пылу красноречия обрушил на собеседника лавину креольских, в том числе отборных, словечек, которые тот в полной растерянности воспринял как речевое извержение каких-то звукообразов, недоступных его пониманию. «Индейцы, негры», — да, но потом: «Самбо, чоло, пеладо, аторанте, гуахиро, леперо, ихо-де-ла-чингада, чусма и моралья», что Доктору Перальте пришлось перевести на французский, усовершенствованный в стенах «Буа-Шарбон» мосье Мюзара как *des propres-s rien, des pignoufs, des galvaudeux, des jeanfoutres, des salopards, des poivrots, des caves, des voyous, des escarpes, de la racaille, de la merde...*¹³⁹

Но самое главное — тут Президент вернулся к своему прежнему французскому — социалисты, социалисты входящие во Второй Интернационал, анархисты, проповедующие невозможное равенство, классов, толкающие к человеконенавистничеству неграмотные массы; люд», использующие в своих интересах упрямство темного народа, который отказывается от предлагаемого ему образования и фанатически верит в манипуляции колдунов, кошмарные наваждения и в святых, которые, похожи на наших святых, но отнюдь не наши святые, ибо для этого невежественного народа, чуждого грамоте, «Прекрасный бог» Амьенский¹⁴⁰ — просто Элегуа, «Распятый Христос» Веласкеса — Обатала, а «Пьета» Микеланджело — Огун¹⁴¹...

«Вот чего здесь не понимают...» — «Понимают, понимают, больше чем вы думаете», — заметил Именитый Академик, все более, размякавший и убеждавшийся в правоте гостя. Это можно объяснить — и он вернулся к Филиппу II, к герцогу Альбе, перейдя затем к Америке Кортеса и Писарро, — объяснить испанской кровью, исконным испанским темпераментом, испанской инквизицией, боями быков: бандерильи, плащ и шпага, лошади с распоротым брюхом, блестящие и пасодобли. «L'Afrique commence aux Pyrenees»¹⁴². Такая, мол, кровь у латиноамериканцев течет в жилах, такова роковая неизбежность. Народ там не похож на народ здесь, хотя, впрочем, есть и некоторые приятные исключения, ибо в конце концов Сервантес, Эль Греко, который, кстати говоря был открыт для мира гением француза Теофиля

¹³⁹ Негодяи, хамы, сволочи, мужланы, бродяги, вахлаки, проходимцы, подонки, мерзавцы и т. п. (*фр.*).

¹⁴⁰ «Прекрасный бог» Амьенский — статуя благословляющего Христа в центральном портале собора в Амьене (XIII в.).

¹⁴¹ Элегуа, Обатала, Огун — божества негритянского пантеона, которым в Америке поклоняются потомки выходцев из Западной Африки.

¹⁴² Африка начинается за Пиренеями (*фр.*).

Готье¹⁴³...

В этот момент, не вытерпев, бывший школьный учитель, коим был Перальта, подскочил от ярости: «Je vous emmerde' avec le sang aspagnol!»¹⁴⁴ И с горячностью, презрев всякий пиетет, красочно живописал оторопевшему Именитому Академику, словно чередуя картины волшебного фонаря, преступления Симона де Монфора и кровавые Крестовые походы против альбигойцев¹⁴⁵, зловещую фигуру Робера Гискара, героя его собственной драмы, приобретенной нашей Национальной библиотекой, драмы, повествовавшей о том, как этот нормандский разбойник вырезал пол-Рима; Варфоломеевскую, ночь — общепринятый синоним ужаса; преследования гугенотов-«камизаров»¹⁴⁶ в Севеннских горах, массовые убийства в Лионе, кровопролитие в Нанте, белый террор после Термидора и прежде всего — да, прежде всего, — если проводить более точные параллели, последние дни Коммуны. Вот где французы, самые интеллигентные и самые цивилизованные люди в мире, после того, как было сломлено сопротивление революционеров, прикончили без колебаний более семнадцати тысяч человек. Лазарет семинарии Сен-Сюльпис — «Oh Fuyez douce image!»¹⁴⁷ — версальцы превратили в сплошной эшафот. А мосье Тьер, прогулявшись после расправы по Парижу, заявил как ни в чем не бывало: «На улицах горы трупов, но это ужасное зрелище должно послужить неплохим уроком». Газеты той поры — версальские прежде всего — призывали буржуазию к крестовому походу, с кровопусканием и резней. Возьмем более близкое время... Что вы мне скажете о жертвах забастовки в Фурми¹⁴⁸? И еще более близкое! Очень ли был любезен великий Клемансо с забастовщиками в Дравеле или Вильнёв-Сен-Жорж? А?..

Не выдержав лобовой атаки, Академик обернулся лицом к Главе Нации: «Tout cela est vrai. Tristement vrai. Mais il y a un nuance, Messieurs...»¹⁴⁹ И затем, после долгой торжественной паузы, он напомнил, смачно и звучно произнося каждое имя, что Франция подарила миру Монтеня, Декарта, Людовика XIV, Мольера, Руссо, Пастера. Президент хотел было ответить, что, несмотря на свою более короткую историю, его Континент тоже успел породить борцов за свободу и святых, героев и мучеников, мыслителей и даже поэтов, которые модифицировали — правда, не лучшим образом — литературный язык Испании, но подумал, что названные имена все равно останутся пустым звуком для той культуры, которая о них не ведает. Тем

¹⁴³ Мировое признание творчество Эль Греко получило лишь спустя столетия после его смерти. — Интерес к его живописи пробудился в эпоху романтизма, и одним из первых иностранных авторов, «открывших» Эль Греко, был французский поэт Теофиль Готье, с восхищением писавший о художнике в своих очерках «Путешествие в Испанию».

¹⁴⁴ На... я на вас хотел вместе с вашей испанской кровью

¹⁴⁵ Речь идет о крестовых походах XIII века против религиозной секты альбигойцев на юге Франции. Поход 1209 года возглавлял Симон де Монфор.

¹⁴⁶ Имеется в виду жестокая расправа над участниками крестьянского антифеодального восстания 1702–1704 годов во французской провинции Лангедок.

¹⁴⁷ Да, прелестная картинка! (*фр.*)

¹⁴⁸ В 1891 году французская полиция расстреляла демонстрацию рабочих в городе Фурми.

¹⁴⁹ Все это правда. Печальная правда. Но есть один нюанс, господа... (*фр.*)

временем Перальта все более и более припирает Академика к стенке: именно потому, что здесь звучит александрийский стих Расина и всем хорошо известно «Рассуждение о методе», некоторые варварства никак нельзя оправдать. Неприлично, например, что мосье Тьер, первый президент Третьей Республики, известный знаток и описатель эпохи Революции, Консульства и Империи, прославился также и зверской расправой с Коммуной, расстрелами на кладбище Пер-Лашез, ссылками в Новую Каледонию, и поэтому гораздо менее неприлично то, что какой-то Вальтер Хофман, внук самбы и гамбургского иммигранта, липовый пруссак и бивуачный тенор, осуществил — ибо это именно он виновник всего происшедшего — карательную операцию в Нуэва Кордобе... «La culture oblige, autant que la noblesse, Monsieur l'Academicien».¹⁵⁰

Видя, что брови его знаменитого друга печально ползут к переносице, Президент устало шевельнул рукой, призывая своего секретаря уняться, а сам, впав в чёрную меланхолию, съезжился в вольтеровском кресле. Взгляд его блуждал по вещам — портретам, старинным книгам, гравюре Гранвиля, — не видя их. Академик, напротив, вскочил вдруг с места и, будто не видя Перальты, задел его плечом. «Pardon¹⁵¹ — наступил ему на ногу. — Je ne vous ai pas fait mal¹⁵² — и стал ходить по кабинету с чрезвычайно озабоченным видом: — On peut essayer! Peut-etre...»¹⁵³. Затем позвонил по телефону Главному редактору газеты «Матэн». Фото мосье Гарсена — ах, этот проклятый француз из Нуэва Кордобы! — доставлены сюда студентами, которые бежали оттуда и сейчас бродят по Парижу, занимаясь болтовней и агитацией в кафе Латинского квартала; все они ученики доктора Луиса Леонсио Мартинеса. Газета не хочет идти на попятную и снять уже анонсированные статьи. Говорят, что газету недавно купил человек, владеющий, как всем известно, огромным состоянием. Можно было бы вырвать лишь одну уступку: попросить не помещать подготовленное для завтрашнего выпуска фото, на котором Глава Нации изображен рядом с трупом, прислоненным к стойке в винном погребе как раз под календарем Фосфатины Фальер, где можно ясно различить дату убийства. «Да, тут мы дали маху», — грустно прошептал бедняга Президент. Эх, если бы случилось что-нибудь — ну хоть что-нибудь! — могущее отвлечь внимание публики: кораблекрушение, Подобное катастрофе «Титаника»; какая-нибудь комета Галлея, предвещающая конец света; новое извержение Мон-Пеле, землетрясение в Сан-Франциско; великолепное убийство, подобное убийству Гастона Кальметта¹⁵⁴, совершенному мадам Кайо. Так нет же, ничего. Тем гнусным летом не происходило ровным счетом ничего; И все отвернулись от него в единственном месте вселенной, где он еще как-то считался с мнением людей.

Видя Президента в таком тяжелом душевном расстройстве, в полной прострации, сутулившей ему спину и туманившей взор, Именитый Академик вложил в долгое

¹⁵⁰ Культура так же обязывает, как и положение, мосье академик (фр.).

¹⁵¹ Извините (фр.).

¹⁵² Я вам не сделал больно? (фр.).

¹⁵³ Можно попробовать! Может быть... (фр.).

¹⁵⁴ Кальметт, Гостом — директор газеты «Фигаро», начавший в январе 1914 года кампанию в прессе против министра финансов Ж. Кайо. Был убит женой последнего., Нашумевшее дело об убийстве завершилось оправданием мадам Кайо.

пожатие его левой руки весь пыл своей дружбы и доверительно стал шептать о возможной контратаке. Французская пресса, как ни печально признаться; в этом, легко идет на подкуп. Это не относится, конечно, к «Ган», тесно связанной с Кэ д'Орсе¹⁵⁵; ее редактор Адриен Эббар не способен на нечистые дела. Также нечего думать об «Эко де Пари», где сидит его друг Морис Баррес; или о «Голуаз» — этом детище злопыхателя Артура Мейера¹⁵⁶. Но, кроме ведущих изданий, имеются другие, которые, получив в свое распоряжение определенные фонды (Глава Нации с готовностью кивнул), могли бы, ну, вы меня понимаете... Надо только не дремать.

И вот три дня спустя, «Журналь» уже стала публиковать серию статей под общим названием «Латинская Америка — Непознанный край», где, бросаясь от универсального к местному, от общего к частному, от Христофора Колумба к Порфирию Диасу (походя было замечено и о том, что такая великая страна, как Мексика, не сумев вовремя обуздать революцию, допустила страшную анархию...), дошли наконец и до нашей родины, воздавая хвалу ее водопадам и вулканам, ее кенам и гитарам, ее расшитым упилям и ликилики, ее хижинам, ее кукурузным лепешкам с разными специями и мясным похлебкам с перцем, а также другим блюдам, не забыв и о великих поворотах ее истории — истории, которая принуждала страну вступать в эру прогресса, развития сельского хозяйства и общественных работ, расширения сети школ и установления прекрасных отношений с Францией и т. д. и т. п., благодаря дальновидной и проницательной политике Главы Нации. В то время как остальные молодые республики Континента погружались в пучину хаоса и беспорядков, эта маленькая страна возвышалась над ними примером и т. д. и т. п. Однако при этом нельзя забывать, что, имея дело с народностями, как правило невежественными и непокорными, легко поддающимися подстрекательским проповедям, и подрывным идеологиям (здесь уместно напоминалось о Равашоле, о Казерио, убийце президента Карно¹⁵⁷; об убийце президента США Мак-Кинли; о Матео Морале, и его бомбе¹⁵⁸ брошенной в свадебную карету Викторией Баттенбергской и Альфонса XIII), и учитывая распространение вредных, анархистских идей, только лишь энергичное правительство может принять энергичные меры, иной раз не будучи, правда, в состоянии остановить спровоцированных врагом, разозленных, ожесточившихся солдат, которые совершают достойные сожаления проступки, но тем не менее при этом, разумеется, что...

«О! Замечательно, мой Президент! — восклицал Доктор Перальта, читая и перечитывая статьи. Теперь мы приструним студентешек, взбаламутивших Латинский квартал митингами, где, всего-то три кота, мяукают, и листовками, которых никто не читает».

В это же время Глава Нации получил телеграмму с извещением об отправке в

¹⁵⁵ На Кэ д'Орсе расположено здание министерства иностранных дел Франции.

¹⁵⁶ Артур Мейер (1844-1924) — французский журналист, один из основателей еженедельника-сначала бонапартистского, позже монархистского толка — «Голуаз».

¹⁵⁷ Мари Франсуа Сади Карно, президент французской республики с 1887 года, был убит анархистом С. Казерио 24 июня 1894 года,

¹⁵⁸ Имеется в виду бомба, взорвавшаяся на улице Мадрида 31 мая 1906 года во время церемонии бракосочетания короля Альфонса XIII с внучкой королевы Виктории. Покушавшийся — барселонский библиотекарь Матео Мораль — покончил с собой, когда полиция напала на его след.

Париж ящика, волшебного ящика, чудесного ящика, самой судьбой уготованного к этому часу ящика, который недавно был погружен на пароход в Пуэрто Арагуато и в котором ехала со всеми своими украшениями, нарядами и костями Мумия — Мумия той злосчастной ночи, предназначенная для музея Трокадеро. Ловко подправленная невидимыми глазу скрепками и заклепками, посаженная в новый погребальный кувшин, с проломом впереди, — достаточно большим, чтобы скелет был виден во всей его красе, — она была прекрасно реставрирована одним швейцарским таксидермистом, который обычно бальзамировал пресмыкающихся и птиц, но в данном случае превзошел самого себя. Итак, Мумия была в пути, пересекала океан, прибывала вовремя, очень вовремя, чтобы снабдить материалом определенную часть прессы, которая, сказать по правде, — Президент с каждым днем все более поражался скрытым резервам ее алчности и наглости, — казалась просто ненасытным чудищем. Ибо отныне дом на Рю де Тильзит был объектом настоящих атак с раннего утра до позднего вечера.

Тут были журналисты, борзописцы, публицисты, хроникеры, редакторы каких-то газет, никем не виданных ни в киосках, ни на лотках; репортеры — «слухоловы», люди в сюртуках, люди в потертых костюмах, люди — а цилиндрах, люди в кепи, люди со стилетом в трости, с моноклем, запачканным яичным желтком, так называемые специалисты по внешней политике, которые об Америке знали лишь то, что там есть кондор из романа «Дети капитана Гранта», «Последний из могикиан», «Перикола» и аргентинское танго «Эль Чокло», сенсация тех дней... Люди, приходившие ежечасно «в поисках информации», заявлявшие с ноткой угрозы в голосе, что получают потрясающие новости оттуда, из нашей страны; что знают о жестоких преследованиях студентов и журналистов там, об опасности, нависшей над многими европейскими капиталовложениями, и, самое интересное, да, самое интересное, о странном, удивительном самоубийстве мосье Гарсена — бывшего каторжника, но, как ни говори, француза, — чье тело было недавно найдено повешенным на брошенной землечерпалке в нескольких километрах от Нуэва Кордобы. После «Пти Журналь», которая в ту пору несла немалые убытки, сюда являлась «Эксельсиор», ехидно напоминая о том, что на ее страницах «иллюстративный материал выглядит особенно красочно и броско». За «Кри де Пари» жаловала «Либр Пароль», и вот так, — начиная от великих и малых, от бульварных газет и скандальных журналов, кончая провинциальными листками: «Нижние Пиренеи», «Приморские Альпы», всякие там «Эхо Севера», «Маяки Арморики», «Марсельские памфлеты»... — ежедневно лезли в двери коварные вымогатели, с которыми надо было разговаривать языком денежных знаков при магическом содействии образа Мумии. Они получили ее фотографии во всех видах; они любовались Бабушкой Америки, возраст которой в зависимости от силы воображения редактора мог насчитывать две тысячи, три тысячи, четыре тысячи лет, — это был самый древний памятник Континента, и его появление с головокружительной быстротой отодвинуло назад начало истории Латинской Америки. Честь и хвала воздавались нашим научным учреждениям, честь и хвала воздавались Главе Нации, герою сенсационной находки; приносились благодарности за столь щедрый дар музею Парижа.

Но Мумия не приехала. Отправленная на шведском судне в Шербур, она по ошибке попала в Гётеборг, куда на ее поиски и отправился Чоло Мендоса... А тем временем вечно требующие, вечно угрожающие репортеры продолжали атаковать Рю

де Тильзит, жажда «новостей». «Я больше не могу, больше не могу! — вскричал Глава Нации после визита редакторши «Лизе-муа-Блэ». — Эти кровопийцы оставят меня без, единого лочо, без фьерро, без медяка в кармане! Пусть болтают что хотят, но я им больше не дам ни сантима!» Но сам давал и давал, потому что Мумия, сфотографированная вдоль и поперек, описанная до косточки, детально сравненная с другими мумиями — из Лувра, из Британского музея, — уже не давала пищи для статей.

В поисках новых сенсаций Перальта изыскивал случаи явлений Богоматери народу, чтобы сравнить их с чудесами нашего культа Святой Девы-Заступницы, — эта тема могла бы заинтересовать читателей католических изданий... И вот из такого-то тяжкого положения его вывел пистолетный хлопок в Сараево¹⁵⁹, прозвучавший до выстрелов в Кафе дю Круассан, где был убит Жорес. «Слава тебе, господи, наконец что-то случилось на этом драчливом континенте!» — сказал Глава Нации. Второго августа была объявлена всеобщая мобилизация, а третьего — война...

«Не впускать ни одного журналиста в мой дом», — сказал Президент Сильвестру. «Теперь можно и отдохнуть», — сказал Доктор Перальта... И тем же самым вечером Глава Нации вернулся к своей прежней, нормальной жизни. Он посетил со своим секретарем «Буа-Шарбон» мосье Мюзара, Рю Сент Аполлин, 25 — «Под Зеркалами», воспитанниц английского колледжа и сестричек Сен-Венсан де Поль. Всюду обсуждали последнюю новость. Одни говорили, что война долго не продлится и французские войска скоро вступят в Берлин. Другие говорили, что война будет затяжной, трудной, страшной. «Ерунда! — сказал Президент. — Франко-прусская война семидесятого была последней войной, ибо она была последней классической войной». Один известный английский экономист перед этим заявил («Вы, кстати, можете купить его книгу в издательстве Нелсон...»), что ни одна цивилизованная нация не в состоянии нести тяжкое финансовое бремя долгой войны. Новейшее оружие, мол, слишком дорого и едва ли нашлась бы такая страда, которая, могла бы средства на содержание армий, уже насчитывавших миллионы человек. Кроме того, французский Генеральный штаб уже объявил: «Три месяца, три битвы, три победы...»

В ту же пору из Зальцбурга, через Швейцарию, вернулась Офелия, зачавшая от Папагено из «Волшебной флейты». Она так глупо дала провести себя однажды вечером после обильных возлияний, забыв надеть колпачок, который всегда носила в сумочке на всякий случай, — да; глупо позволила так нагло обойтись с собой, — как с какой-то кентаврихой, в маленькой вилле под соснами Капуциннерсберга. Она вернулась разъяренной, разъяренной потому, что отделаться от «этого» надо было где-то в другом месте, ибо там стервецы врачи ни за какую цену не соглашались на такого рода хирургическое вмешательство, — разъяренной потому, что публикации «Матэн» получили резонанс в немецких, и австрийских газетах, а в мюнхенском «Симплициссимусе» появилась карикатура, где Глава Нации изображен в широкополом мексиканском сомбреро с патронными лентами крест-накрест, с большим брюхом миллионера и с гаванской сигарой в оскаленной пасти, стреляющим в коленопреклоненную крестьянку; «Ultima Ratio Regum»¹⁶⁰ — гласила подпись...

¹⁵⁹ 28 июня 1914 года сербскими националистами был убит в Сараево австрийский престолонаследник Франц Фердинанд, что послужило поводом для начала первой мировой войны.

¹⁶⁰ «Ultimo ratio regum» (лат.) — «Последний довод королей», девиз, выгравированный на пушках Франции в XVII веке.

«Ты всегда садишься в лужу! — вопила Инфанта. — Макакам не спрятать хвост под фраком! Если ты столько прихлопнул, мог бы кокнуть и фотографа!» — «Его уже убрали!» — «Опомнися! Лучше поздно, чем никогда! Слава богу, что этого эрцгерцога вовремя шлепнули! Может, хоть теперь забудут твои дикие выходки! Весь свет от нас отвернулся! Мы погибли. Сидим в дерьме по самую...» (Ее палец при этом чиркнул по шее.)

Глава Нации вытащил свою правую руку из шелковой перевязи. К ней вернулась подвижность, и локтевой сустав уже не причинял страданий. Президент мог снова поглаживать рукоятку своего пистолета. Бросив Офелию, кричащую и стучащую ногами об пол (должно быть перебрала виски в вагон-ресторане), он отправился ужинать с Доктором Перальтой в погребок неподалеку от вокзала Сен-Лазер, где за длинным столом, уставленным кувшинами с вином, можно было отведать восемьдесят сортов сыра — и среди них один особый, козий, благоухающий ароматическими травами, острый вкус которого напоминал куахаду андских долин.

VI

*Чем больше мы о себе мним, тем нетерпимее относимся
к обидам.*

Декарт

Стояло такое прекрасное солнечное лето, какого давно не отмечалось в метеорологических анналах Европы: Монахи, повинувшись немецким гигроскопам, не решались сбросить капюшоны с головы, а крестьяне, поглядывая на гигроскопы швейцарские, отсиживались с зонтиками в своих альпийских шале, предпочитая, чтобы наружу выходили работницы, которые не стеснялись затыкать фартук за пояс, — само воплощение чудесных летних дней. Весело шептались каштаны и не стихал птичий гомон среди статуй в парках Тюильри и Люксембургском, несмотря на тревожную военную обстановку в Париже, который, говоря по правде, был изрядно обескуражен ходом событий, и хотя ряд признаков уже предвещал драматический исход войны, для многих это было неприятным сюрпризом, особенно для тех, кто помнил эпохальные волнения 1870 года. Глава Нации тем временем положил конец дорогостоящей шумихе, которую, наперебой восхваляя его страну и его правительство, подняли газеты, — на их страницах публика теперь искала только то, что относилось к шабашу ведьм в Европе. Эта шумиха стала ненужной по двум причинам — из-за новых происшествий и из-за того, что, откровенно говоря, ему не удалось восстановить свое реноме там, где он жаждал этого больше всего. Во всяком случае, ничто не подтверждало успеха. Никто не позвонил ему по телефону, чтобы выразить восторг по поводу хотя бы одной публикации, — кроме, впрочем, его портного и парикмахера. Лица, представлявшие для него особый интерес, проводили лето неизвестно где, благоразумно продлив свой летний отдых ввиду развертывавшихся событий.

От Рейнальдо Ана, которому он отважился задать вопрос, был получен неопределенный, вежливый, но уклончивый ответ: «Да, да, читал... Все очень хорошо... Поздравляю вас, земляк...» В общем, было ясно, что в конце года, когда он снова окажется на родине, ему уже не придется получать из Парижа ни поздравительных открыток с колоколами и омелой, ни писем на прекрасной бумаге с водяными знаками и порой с автографами, более дорогими его сердцу, чем все посвященные ему панегирики отечественной прессы, — автографами, начертанными

рукой высокочтимых и достойных восхищения особ в ответ на его учтивейшие рождественские поздравления, всегда сопровождавшиеся какой-нибудь милой поделкой наших кустарей.

Итак, надо было отказаться от мысли приручить важных персон, на общение или тесное знакомство с которыми он рассчитывал в будущем, когда отступится от своей высокой должности, пресытившись властью, утомившись делами или кто знает почему, и придет провести последние дни жизни в этом уютном и радующем душу пристанище на Рю де Тильзит. У него не было намерений тотчас покинуть Париж (по правде говоря, ему и бояться-то было нечего): подходил к концу курс лечения больной руки, уже почти восстановленной по методу доктора Фурнье, «*medecin des hopitaux*»¹⁶¹, который по долгу службы не эвакуировался из города. В сопровождении своего секретаря Президент совершал долгие пешие прогулки без определенной цели в ожидании вечерних выпусков газет и порой добирался, когда вдруг хотелось вдохнуть свежий запах зелени, до Булонского леса, где аллея «*Sentier de la Vertu*»¹⁶² ныне была пуста, а лебеди на озере вопросительно вытягивали шеи в напрасной надежде на то, что, как совсем еще недавно, прохожие и дети бросят им кусочки бисквита. Оба располагались на террасе «Пре-Кателан», с грустью вспоминая о былых веселых и фривольных развлечениях, хотя иной раз Глава Нации, переходя от доверительного монолога к полуйсповеди, начинал рассматривать эту войну, к удивлению Перальты, сквозь призму этакого всевидящего опечаленного моралиста. «Богатые, обленившиеся нации, — говорил Президент, — хиреют и теряют свои основные достоинства. Эстетизм — это хорошо, но человек, дабы укрепить мускулы, которые слабеют от чрезмерно долгого созерцания Красоты, жаждет — после пребывания в длительном трансе — Борьбы, жаркой схватки, битвы не на жизнь, а на смерть. Прекрасен образ Людвига Баварского, воспетый нашим Рубеном Дарио и даже Верленом, но для объединения и возвеличения раздробленной и впавшей в спячку Германии более полезен грубый, неотесанный Бисмарк со своим воинственным пылом, чем правитель-музыкант, строитель поэтичных, но, по существу, ненужных замков. Эта драка не будет ни долгой («три месяца, три битвы, три победы», — утверждали его же собственные генералы), ни такой кровопролитной, как в 1870-м, ибо народы, уже наученные горьким опытом, не дадут ей вылиться в нечто подобное «мерзкой Коммуне». А Франции полезна встряска, сильнодействующее лечение, шок, чтобы покончить с ее летаргическим самодовольством. Зазналась — нужно дать ей урок. Все еще полагает, что мир живет по ее указке, а на самом деле исчерпала свои великие духовные возможности и вступила на путь явного декаданса. Пришел конец царствованию литературных гигантов: Гюго, Бальзака, Ренана, Мишле, Золя. Здесь уже перестали появляться всемирно значимые величины, и потому Франция начала искупать великий грех, который в наш многообразный век состоит в пренебрежительном, презрительном отношении ко всему тому, что существует за ее границами. Все, что чуждо его стране, нимало не интересуется француз, убежденного, что он живет для того, чтобы доставлять удовольствие человечеству. Но перед ним встает теперь во весь свой рост новый человек, который вселяет ужас громогласным утверждением своей воли и который, вероятно, станет властелином эпохи;

¹⁶¹ Госпитальный врач (*фр.*).

¹⁶² Стезя добродетели (*фр.*).

ницшеанский человек, обуреваемый неистребимой Жаждой Власти, трагический и агрессивный герой спектакля под названием «Вечное Повторение прошлого», возвращающегося снова в действиях, которые потрясают мир...»

Перальта, знавший скромные мыслительные возможности своего господина, был уверен, что Глава Нации никогда не читал Ницше и цитирует его с таким авторитетным видом только потому, что вчерашней статье натолкнулся на его изречения, конечно, приведенные в кавычках. Кроме того, постигнув изменчивый нрав Президента, Перальта понял, что за этими неумеренными излияниями кроется жгучее возмущение людьми, которые унизили и оскорбили его, захлопнув перед ним двери своих домов. Произноси имена Бисмарка или Ницше, Президент мысленно направлял орудия своего злопамятства в сторону обжоры Бришо, наглецов Курвуазье, Форшевиля¹⁶³ и графа д'Аржанкура. Последний же, этот незадачливый дипломат, случайно встретив Президента в книжном магазине, где они оба покупали порнографические книжки под такими научно-историческими названиями, как «Краткое описание индуистского эротизма» или «Фривольные авторы XVIII века», но иллюстрированные весьма современными фотографиями, и вовсе отвернулся от него с холодным презрением, не ответив на поклон, Перальта видел это и — злонамеренно подливал масло в огонь, еще больше распаяя гнев Президента вескими аргументами, которые он нашел в прочитанных недавно — на скорую руку в минуту нужды — писаниях о явлениях Богоматери народу, когда подбирал материалы для статей о «Чуде в Нуэва Кордобе», статей, которые уже не будут ни напечатаны, ни тем более оплачены. Однажды утром он неимоверно, развеселил Главу Нации, показав ему текст, где один видный католический писатель, прославившийся своим яростным кликушеством и злобными репликами неблагодарного нищего («неблагодарным нищим» он именовал себя), утверждал, что Господь Бог, мол, более всех любит народ Франции. Без Франции «Бог не был бы истинным Богом», — утверждал писатель. Кроме того, важные факты подтверждали его правоту: фраза *considerate lilia agril*¹⁶⁴ из Евангелия предрекала, конечно, появление Флор-де-Лис¹⁶⁵ Французского Королевства; Петух, упоминаемый на Евхаристическом общении во время Вечери, — явный намек на *Coq gaulois*¹⁶⁶. Франция Лилии, Франция Петуха, Франция Пречистых Хлеба и Вина — страна Избранного Народа, что в наши времена, добавляет автор, подтверждается тремя явлениями Богоматери в течение тридцати трех лет: в Понмэне, в Лурде и в Ла Салете.

Никогда так не смеялся Глава Нации, как в этот раз; услышав о стольких чудесах. «Значит, Франция и есть земля Святого Духа? А куда же денет сеньор Испанию, которая насадила католическую веру на громадном куске планеты от Рио Гранде мексиканской до льдов Южного полюса?.. А что же говорить тогда о наших Святых Девах!». Великолепная Дева Гуадалупская из Тепеяка, Дева дель Кобре на Кубе, — которая чудесным образом явилась из вод морских, увитая зелеными водорослями, тем

¹⁶³ Курвуазье и Форшевиль — персонажи романа М. Пруста «В поисках утраченного времени»:

¹⁶⁴ Посмотрите на лилии полевые (*лат.*).

¹⁶⁵ Флор-де-Лис — геральдическая лилия французской монархии.

¹⁶⁶ Гальский петух (*фр.*).

троим в лодке: Хуану Ненавистнику, Хуану Индейцу и Хуану Рабу; Дева из Реглы, покровительница моряков и рыбаков, парящая в звездной мантии над всем земным шаром; Дева из Валье в Коста-Рике; Святая Дева-Заступница нашей страны; Дева из Чикинчира, надменная и пышногрудая, — женщина и королева в зубчатой короне; Дева из Коромотос, которая оставила свое изображение в одной индейской хижине после чудесного посещения этого жилища. А Великие Воительницы за Веру в пуленепробиваемых доспехах под дивными одеяниями — Дева из Кинче в чине генерала эквадорской армии и Дева из Мерседес, патронесса армии и маршал Перу? И всегда рядом с ними — монах Сан Педро Клавер¹⁶⁷, покровитель рабов; негр Сан Бенито, «черный, как гвозди Креста Господня», и Сайта Роса из Лимы, истинная Королева Континента, владеющая самой большой Сельвой, самой длинной Горной цепью и Величайшею Рекою в мире¹⁶⁸. Беспрепятственно наступает сия Чудотворная рота Дев во славе и блеске, слегка запятнанная смуглым ликом Девы из Реглы и карими глазами Девы из Коромотос. Шествуют Девы, всемогущие и милосердные, нарядные и стройные, награждая людей Семью болями и Семью радостями, принося с собой чудеса, счастье, утешение и исцеление; всегда готовые откликнуться на зов, сотни раз виданные, сотни раз слышанные, усердные и щедрые, всевидящие и вездесущие, они являются, как явился Спаситель Святой Терезе — и из Морских Глубин, и в высях Башен из Слоновой Кости. Но прежде всего они матери, Матери божественного Младенца, который, прободенный в бедро, воссядет однажды одесную Бога, ниспосылающего милости и налагающего кары свои, не взирая на лица, и будет судить нас, живых и мертвых...» «И пусть не морочит мне голову этот, неблагодарный нищий, или как его там, своими тремя Девами французскими, тем более что явление одной из них, в Салете, оспаривает даже Ватикан!..» Девы — только у нас. Девы истинные и подлинные, и настанет время, когда собьется спесь с французов, со здешнего люда, убийственно невежественного в отношении всего того, что к ним не относится. Теперь они тут узнают, что такое сильный, знающий цену порядку и дисциплине, восходящий народ.

И Германия, где он был всего лишь несколько раз, вдруг предстала перед ним этакой огромной, великолепной панорамой со Шварцвальдами, Миннезингерами, Королями-Воинами, Кафедральными соборами, где, под стрельчатыми сводами окон ровно в полночь показываются Апостолы и Герольды, а рядом — Рейн, великий Рейн со своими удивительными замками, воспетыми и разрисованными Виктором Гюго, и Ундинами, которые ловят юношей в сети, сплетенные из собственных волос. А эти празднества, где пиво льется рекой и танцуют веселые люди с толстыми ляжками, люди, умеющие сочетать йодли под аккордеон с философским духом (о, этот увитый плющом Гейдельберг!), с математическим гением, с культом Повиновения, с любовью маршировать колоннами по десять человек в ряд — в общем, со всем тем, чего недостает этим вонючим латинянам Второго Декаданса. Но теперь-то они узнают хорошую жизнь, когда под Триумфальной аркой (сам он будет наблюдать этот спектакль из своего окна, тверд и суров, хотя, возможно, чуть взволнован страданиями побежденных, но полон решимости, по рецепту Декарта, считать правильным то,

¹⁶⁷ Сан Педро Клавер — монах-миссионер, выступавший в защиту рабов в испанских колониях Америки (конец XVI − начало XVII в.).

¹⁶⁸ Речь идет об Андах и Амазонке.

истинность чего ему очевидна), когда под Аркой продефилируют генералы Мольтке, Клюк, Бюлов и Фалькенхайн на буланых конях, эскортируя кронпринца и возглавляя впечатляющий парад — черные доломаны гусаров, бранденбургское шитье плащей и каски с остриями — под звуки грандиозного марша из «Тангейзера», который в такт строевому шагу будет исполнен более четко, чем обычно в оперных театрах. В этот день Германия сыграет наконец роль «живительного фермента», пророчески отведенную ей Фихте в историческом манифесте — манифесте, который Глава Нации, конечно, тоже не читал, подумал Перальта, хотя ему никак нельзя отказать в восхитительном умении употреблять к месту чужие мысли и слова.

Встревоженные опасностью, которая грозила Парижу (хотя люди на улицах все еще кричали: «На Берлин! На Берлин! На Берлин!..»), спрашивая себя, не лучше ли перевести свои представительства в Лион, Марсель или Бордо, консулы и ответственные сотрудники латиноамериканских посольств собирались за рюмкой аперитива утром, за рюмкой аперитива днем и за многими вечерними рюмками в кафе на Елисейских полях, чтобы обсудить события дня. Внимательно прислушиваясь к высказываниям на этих сборищах и запоминая мнение каждого, Чоло Мендоса приносил новости, которые соответствовали интуитивному решению Главы Нации. (Он получил от своего земляка Хуана Висенте Гомеса¹⁶⁹, генерала из генералов, приверженных кайзеровским усам и вросшему в глаз моноклю, конфиденциальный совет быть подальше от европейских дел: «Когда грызутся взрослые собаки, не лезь, щенок, в их драки»!) Почти все дипломаты симпатизировали Франции — у одних там были чисто эстетические, у других душевные привязанности, одни любили ее литературу, другие Любили ее женщин в свободное или несвободное от немудреной дипломатической службы время, которое в целом уподоблялось долгим веселым каникулам на весь срок существования данного правительства и именно в этом месте, где было особенно приятно их проводить, — однако многие не сомневались в том, что Францией война проиграна. Оставалось лишь наблюдать неразбериху, безалаберщину, *ragaille*,¹⁷⁰ творившуюся в стране, хотя и не находившую своего отражения в газетах, которые обычно всей правды не печатали, а то и вовсе искажали события, как утверждал сам доктор Фурнье во время ежедневных процедур (массаж и прогревание), которым подвергалась рука Главы Нации, с каждым разом обретавшая все большую подвижность. На улицах распространялись новости совсем иные, чем те, которыми были напичканы статьи Барреса, Деруледи¹⁷¹ и других Тиртеев¹⁷², поднимавших боевой Дух нации. Говорили, к примеру, о «неприкаянных» полках, не имеющих ни командира, ни офицеров и направляемые туда, где вовсе не было военных действий: солдаты, естественно, не знали — оставаться ли на месте, наступать или отступать.

На фронт шли роты, обмундированные отнюдь не по всем правилам: у одних были кепи, у других *bonnet de police*¹⁷³, а обмотки часто заменялись бинтами или

¹⁶⁹ Гомес, Хуан Висенте (1854–1935) — президент, фактический диктатор Венесуэлы (с 1903 до 1935 г.).

¹⁷⁰ Суматоха (*фр.*).

¹⁷¹ Дерулед, Поль (1846–1914) — французский поэт, правый политический деятель.

¹⁷² Тертей (7–6 в. до н. э.) — древнегреческий поэт из Спарты. Автор элегий, воспевавших силу и храбрость спартанских воинов, а также автор военных песен.

¹⁷³ Полицейские береты (*фр.*).

вощенной бумагой. К тому же происходили обычные драмы: винтовки есть, но нет патронов; снаряды есть, но пушек нет; заблудившиеся санитарные повозки и не снабженные хирургическим инструментарием полевые лазареты. И, конечно, всюду слухи, такие фантастические и страшные, что сразу же принимались на веру в кафе, в подъездах и в толпах уличных стратегов: под самым Парижем уже видели двух немецких уланов, существует строжайше засекреченный немецкий проект проникновения в город по тоннелям метро; везде и всюду шныряют шпионы — высматривают, подслушивают и передают врагу сигналы по ночам из мансард с помощью раздвижных штор, пользуясь световым шифром, изобретенным одним прусским криптографом...

Из наших стран уже пришли первые газеты, освещавшие «Европейскую войну» — тему новую, тему благодатную, тему великолепную о нашей однообразной жизни — и подававшие материал страстно и сенсационно. Снова появились крупные заголовки и телеграфные сообщения «В последний час», набранные двенадцатипунктовым шрифтом, как бывало, в волнующие времена, с пометкой «Важное известие», которое помещалось в рамку. Многие наши пылкие сограждане, привыкшие не реагировать на местные конфликты из страха перед репрессиями, волновались, ликовали, облегчали душу катарсисом, сопереживая прекрасную далекую трагедию, которая разыгралась на мировой авансцене. Наконец-то можно было дискутировать, спорить, открыто высказывать свое мнение, не соглашаться (ругать фон Тирпица, критиковать нейтралитет итальянцев, насмехаться над турками...) — в соответствии с тенденциями, общими для всех стран нашего континента.

Там, на родине, германофилами были священнослужители, ибо нечестивая Франция, первой ввела светское образование и отделила церковь от государства, а также чистокровные испанцы, многочисленные потомки, родственники немецких иммигрантов, которые вместе с приверженцами узкого офицерского плана — их в шутку, называли — «Вторыми Фрициками» — заранее аплодировали второй победе Кайзера. «Союзниками» же (слово Антанта никак не прививалось) были представители, интеллигенции, писательских и университетских кругов, читатели Рубена Дарио, или Гомеса Каррильо; люди, уже побывавшие в Париже или мечтавшие сюда приехать: школьные учителя, вольнодумцы-самоучки, медики с парижским дипломом, а также немалая часть буржуазии — прежде всего та, что на своих балах и вечерах иной раз объяснялась по-французски так же аффективно и литературно, как персонажи из «Войны и мира», — и вообще весь наш народ, ибо француз в латиноамериканских странах занимался, как правило коммерцией, не составляя при этом конкуренции местному жителю, был со всеми любезен и мил и, не стесняясь, ложился в постель с самбами и чолами, чем весьма отличался от тех, кто сидел, запершись, при мюнхенских свечах в своих «Немецких клубах», в своих «Немецких кафе»; кто имел официально подтвержденный белый цвет кожи и встретил бы здесь любого негра или индейца, ощерив клыки Фафнера¹⁷⁴...

Так, в сомнениях и колебаниях, прошел конец августа, хотя Глава Нации наблюдал течение дней и ход событий с почти веселым любопытством. Судя по

¹⁷⁴ Фафнер — в дреннегерманской мифологии великан, убивший из-за золота своего брата и обернувшийся драконом, чтобы охранять в пещере свое богатство.

быстроте проводимых операций, армии Мольтке без особых затруднений вскоре подойдут к Триумфальной арке, ибо теперешним французам-генералам далеко до тех, чьи имена высечены на громаде наполеоновского монумента. И этот чванливый и развратный город подвергнется такому очищению огнем, какого не предвидел ни один здешний католический писатель, сравнивая Париж с Содомом и Гоморрой и даже с распутным Вавилоном, после эрекции (это слово, как сказал Флобер, следует употреблять лишь в разговоре о статуях и архитектурных сооружениях) его Эйфелевой башни, Вавилонской башни, этого современного Зигурата, Маяка космополитизма, Символа смешения языков, башни, которая удачно сочетается по высоте с белыми хотя архитектор мечтал увидеть их золотыми — башенками собора Сакрэ-кёр. Однако Глава Наций, любитель раздавать индульгенции, если чьи-либо действия не вынуждали его быть карающей десницей, помышлял не об огне пожарищ или разверстых небесах, а лишь о моральном очищении и наказании высокомерных и самодовольных, которым придется усмирить свою гордыню мольбой о мире, А потому желанный очистительный огонь не должен причинить ущерб ни фрескам Пантеона, ни розовым камням Вогезской площади, ни витражам Нотр-Дам или поясам целомудрия Аббатства Ключи, фигурам и призракам музея Гревена¹⁷⁵ или раскидистым каштанам на авеню, где живет графиня де Ноай (хотя и она от него отвернулась); ни, конечно же, музею Трокадеро, где вскоре под стеклом будет красоваться наша Мумия, которую Чоло Мендоса отправится искать в Гётеборг, как только кончится война.

И в самом деле, до окончания войны оставались считанные дни: доктор Фурнье, завершив курс лечения и отпуская своего пациента, чья рука уже с завидной легкостью ныряла к пистолету, хотя указательный палец еще не мог настолько сгибаться, чтобы спускать курок, без устали бранил беспечность Верховного командования, его безалаберность и беззаботность, *gabegie*, — *c'est encore la debacle*,¹⁷⁶ которые неизбежно приведут нас к поражению: *Vous faites bien de repartir chez vous, cher Monsieur. Au moins, la-bas, c'est le soleil, c'est les mulatresses...*¹⁷⁷

Однако днем 5 сентября началась битва на Марне («Войну не выиграешь одними шоферами такси», — иронически заметил Глава Нации). Скоро обнаружилось, что вопреки тактической и стратегической установке Жомини французская линия фронта не имела центра (!), ибо здесь у нее была лишь слабая кавалерийская застава. Восьмого стало, казаться, что эта сторона потерпит поражение. Но девятое число принесло победу.

В тот же вечер латиноамериканские дипломаты, собравшиеся в своем кафе на Елисейских полях, отпраздновали триумф, приглашая выпить вместе с ними всех проходивших мимо проституток, в то время как Глава Нации, который впервые посетил сие собрание, — величавый патриарх в сюртуке, общепризнанный кладезь житейской премудрости, — проворчал: «Да... Да... Но это еще ничего не решает». На следующий день он встал рано утром в дурном настроении И вперил взор в Триумфальную арку, которая то росла на глазах, то тут же уменьшалась в зависимости

¹⁷⁵ Музей Гревена — галерея восковых фигур, созданная (1882 г.) в Париже графиком-карикатуристом Альфредом Гревеном.

¹⁷⁶ Авантюризм — вообще полный развал (*фр.*).

¹⁷⁷ Вы правильно делаете, что возвращаетесь к себе, дорогой мосье. По крайней мере, у вас там солнце, ром, мулатки... (*фр.*).

от того, кому желал он поражения. Закончив курс лечения, он уже подумывал о возвращении туда. Свое дальнейшее пребывание здесь оправдывать становилось трудно, и к тому же оставалось все менее надежд увидеть победный марш германцев с их военными оркестрами, одновременно оглушающими и вызывающими смех ненатурально чеканным шагом и видом едва ли не лопающихся щек трубачей, ведомых толстым тамбурмажором. И только было собрался Глава Нации позвать Перальту, чтобы вместе прогуляться в «Буа Шарбон» к мосье Мюзару, как вдруг его секретарь сам вошел к нему с искаженным лицом и вручил ему длинное послание на голубой бумаге: «Прочтите... Прочтите...» Это была телеграмма от Роке Гарсиа, Председателя Сената:

«ИМЕЮ ЧЕСТЬ ИЗВЕСТИТЬ ВАС ГЕНЕРАЛ ВАЛЬТЕР ХОФМАН ПОДНЯЛ ВОССТАНИЕ В СЬЮДАД МОРЕНО С ПЕХОТНЫМИ БАТАЛЬОНАМИ 3.8.9.11. ТАКЖЕ ЧЕТЫРЬМЯ КАВАЛЕРИЙСКИМИ ПОЛКАМИ ВКЛЮЧАЯ ГУСАРОВ «РЕСПУБЛИКА» ТАКЖЕ ЧЕТЫРЬМЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПОД ЛОЗУНГОМ ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСТИТУЦИЯ ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА...»

«Поденок, так его растак, сукин сын!» — взвыл Глава Нации. Но это было еще не все: трое из «Вторых Фрициков» — Брекер, хороший рыжий малый, всегда получавший сверху доверительные указания и тайные инструкции; Гонсалес, бывший военный атташе в Германии; Марторель, артиллерист-каталонец, ставший креолом из-за своей ненависти к испанской монархии, — трое этих офицеришек, захваленных и осыпанных орденами, досрочно повышенных в чинах, тоже затесались в бунтовщики. «Сволочи! Сволочи!» И Глава Нации кричал, вопил, буйствовал, орал в неистовой ярости, пока его вдруг не одолевала безутешная тоска, и тогда он которому всадили нож в самое сердце наплевали в душу, начинал жалобно стонать, тихо изрыгая бранные эпитеты, призванные навеки заклеить измену, коварство, черную неблагодарность, притворство и обман. Его вдохновенные монологи, достигнув вершин остервенения, переходили в сетования, чуть ли не в рыдания, ибо уже не находилось слов, чтобы выразить разочарование в людях, но вскоре он снова приходил в себя, свирепел, распаялся, снова взрываясь проклятиями и страшными угрозами. («Я допускаю, что Мунэ-Сюлли — великий трагик, — думал Перальта, — но второго такого, как мой Президент, не сыскать...») А Глава Нации продолжал вопить и бушевать в диком гневе, ломая мебель, швыряя на пол книги, целясь в гладиаторов Жерома из своего бельгийского пистолета, и вошел в такой раж, что Сильвестр в тревоге выбежал из лакейской: «Monsieur est malade?... Un medicin, peut-etre?...»¹⁷⁸ Внезапно утихнув, или овладев собой, — взбешенный властелин обернулся к своему слуге: «Ce n'est rien, Sylvestre... Rien... Un mouvement d'humeur... Merci...»¹⁷⁹ И, поправив галстук, но еще судорожно дергаясь, явственно слыша свист бичей, гуляющих по спинам изменников, вспотевший Глава зашагал по кабинету и стал диктовать приказы и распоряжения Доктору Перальте. Сейчас же пойти в ближайшее агентство путешествий — какое-нибудь еще должно функционировать возле Гранд-Опера — и сделать все возможное, чтобы попасть туда как можно скорее. Запросить у Роке Гарсии точные данные о боевом духе гарнизонов, преданных

¹⁷⁸ Мосье плохо? Может быть, доктора?... (фр.).

¹⁷⁹ Не надо, Сильвестр... Ничего... Дурное настроение... Благодарю... (фр.).

Правительству. Послать телеграмму Ариэлю, дать телеграммы нашим газетам с воззванием к народу для первой полосы («Еще раз — слепое честолюбие человека, недостойного носить свое звание... и т. д. и т. п. Ладно, ты сам знаешь...»); телеграмму сюда, телеграмму туда, телеграммы и снова телеграммы. В это время слышались голоса газетчиков, предлагавших дневные выпуски с последними известиями о войне. «Очень мне она нужна, будь все они прокляты!» И в бешенстве пнул ногой картину, стоявшую на полу, только что принесенную одним из учеников Жан-Поля Лорена, протеже Офелии. Эту картину еще не успели повесить, и называлась она «Казнь Ганелона»¹⁸⁰.

«Подонки! Сволочи! — повторял Глава, Нации, злобно топчя полотно каблуками словно в теле известного предателя из средневекового эпоса таилась ренегатская, подлая, смрадная душонка генерала Вальтера Хофмана.

VIII

Лучше менять свои желания, чем порядок
Декарт

Итак, они добрались поездом до Сен-Назера, откуда на Нью-Йорк отходил пароход, битком набитый американцами, которые видели немцев чуть ли не на подступах к Сене, а теперь поняли, что предстоит, затяжная война, чреватая неудобствами и нормированием продовольствия, и пожелали вернуться на противоположный берег океана. После морского путешествия, как и в прошлый раз, — несколько дней вынужденного отдыха в «Уолдорф-Астории», А может быть, просто подвернулся случай побывать на премьере «Мадам Сан-Жен» Умберто Джордано¹⁸¹, состоявшейся в Метрополитен-Опера с участием Джеральдины Фаррар (и хотя дочь считала его полным невеждой в музыке из-за того, что иной раз он клевал носом на опере «Золото Рейна» и, осовев от теллурических интриг всех этих карликов, ундинов и великанов, засыпал в своей ложе, Президент по достоинству оценил колоратуру Марии Баррьентос, чарующую мощь лирического баритона Титта Руффо, чистоту тембра невероятно длинных и высоких фермат Карузо — голос настоящего кудесника в теле неаполитанского трактирщика). Офелия — после того как отделалась где-то в Швейцарии от «подарка», уехала в Лондон, спасаясь от скуки, которую несла с собой война и неприятные симптомы которой, по ее мнению, уже успели проявиться в том, что исчезли русские балетные труппы, оркестры, игравшие танго, и балы с шикарными туалетами. Напротив, в Англии, где рекрутский набор проходил на добровольных началах, жизнь текла в целом по-старому. Так она очутилась в Стрэтфорд-он-Эвоне с целью укрепить свои познания в шекспировской драматургии. «Посмотрим, что ей там сотворит теперь какой-нибудь Фортинбрас или Розенкранц», — подумал отец, зная, что его дочери ровным счетом начихать на то, что происходит там, на родине, ибо она уже давно решила навсегда поселиться в Европе, подальше, — говорила она, — от «этой грязной разбойничьей страны» с такими примитивными развлечениями, как концертики в городских парках, семейные сборища, где еще танцуют польку, мазурку и полонез; и приемы во Дворце, где жены министров и генералов сбиваются в кучу;

¹⁸⁰ «Казнь Ганелона» — имеется в виду сюжет, взятый из «Песни о Роланде»: Ганелон способствовал гибели рыцаря Роланда в Ронсевальском ущелье.

¹⁸¹ Премьера комической оперы У. Джордано «Мадам Сан-Жен» состоялась в 1915 году.

отдельно от мужчин, рассказывающих сальные анекдоты, и начинают судачить о благополучных и неблагополучных родах, о детях, болезнях, воровстве служанок и смертях бабушек, обмениваясь кулинарными рецептами — как делать фланы, двухслойные бисквиты, печенье, марципаны и просвиры...

Накануне вечером Глава Нации и Доктор Перальта распрощались с «Буа-Шарбон» мосье Мюзара, напившись до зеленого змия. Затем с двумя девицами, прихваченными по пути, отправились отдохнуть в роскошный дом свиданий на Рю Сент-Бёв, где в конце вестибюля, украшенного керамикой из мастерских отца поэта Леона Поля Фарга, находился поршневой лифт, неуклюжий и украшенный резьбой в народном духе — будто столовая в нормандском доме, поставленная на попу. Когда к ночи они вернулись на Рю де Тильзит, упакованные Сильвестром чемоданы и баулы уже загромождали салоны и коридоры. Доктор Перальта стал показывать порнографические открытки с помощью стереоскопа новой модели — «Вераскоп Ришар», — купленного вчера и поражавшего эффектом объемного изображения: «Взгляните... Взгляните на эту... Мужчина как живой... А вот эти две тоже недурны... А как вам нравится композиция — пять в ряд?..» Но, несмотря на весь выпитый ликер, опьянение Главы Нации почти испарилось, уступив место грусти. Огромная усталость разлилась по телу при мысли о том, сколько моральных и физических сил он растратил на усмирение четырех бунтов за время своего правления. И вот скоро опять встреча в Пуэрто Арагуато. Поезд, гремя старыми вагонами, поползет вверх к столице сквозь сельву, где листья деревьев сплетаются с листьями ветвей на кровлях хижин и где трудно понять, что принадлежит живым стволам, а что отсечено от них мачете; где деревушки так унылы и мрачны под этим беспросветным зеленым шатром, что любой смех прозвучал бы в них непристойным ревом животного.

Потом непременно речь с балкона Дворца. Походный мундир, наверное, успевший пропахнуть нафталином и снова отутюженный Мажордомшей Эльмирой, этой незаменимой служанкой, здравомыслящей женщиной и, когда на ее господина находит блажь, покорной и податливой утешительницей. Путешествие к месту военных действий, на сей раз к югу (несколько месяцев тому назад было к северу, еще раньше — к западу и востоку). Теперь предстояло навестить территорию Больших Болот с их сизыми лагунами, бурливыми и бурчащими, словно чрева зверей и крокодилов, затаившихся под обманчивым спокойствием Викторий Регий. Марши по колению в воде, лица, натертые тошнотворными мазями, которые на один лишь час — или того менее — могут защитить от укусов мошкары сотен различных видов. Здесь свой мир — мир потливых ирисов, коварных гвоздик — ловушек для насекомых, пенных мхов, от зари до зари свивающих и распускающих свои завитки; грибов, пахнущих уксусом; сочных гирлянд на гниющих стволах, зеленых напильников и зеленых опилок, полуразрушенных термитников, кинжальной осоки, режущей кожу ботинок. И по таким-то местам надо преследовать Генерала Хофмана, загнать его, окружить и схватить, чтобы в конце концов поставить спиной к стене монастыря, церкви или кладбища и расстрелять: «Пли!» Ничего не поделаешь. Таковы правила игры. Превратности метода.

Однако на этот раз что-то тревожило Главу Нации. Да, проблема слов. Теперь, после возвращения туда, но до того, как надеть на себя блестящий мундир Генерала, этот парадно-маскарадный костюм — что правда, то правда, ибо он сам напялил его на себя со всеми галунами, нашивками и прочим ещё в молодости, в день мятежа, закрепив этот чин за собой навсегда (какая разница, что в его стране будет одним

генералом больше, одним меньше?), — теперь, до того, как воссесть на коня, до того, как прицепить звенящие острые шпоры, надо что-то сказать, произнести слова. А слова не приходили в голову, ибо классические, гладкие, которые он ранее обычно употреблял в подобных случаях, так часто повторялись, хотя и в разных регистрах, с соответствующими жестами и мимикой, что стали казаться затасканными, устарелыми и непригодными.

Расходившиеся с делом сотни раз, эти слова с трибуны вернулись в словарь, вместо едких катилинарий превратились в обычный риторический набор, из красочной речи перебрались в чулан со старым хламом — лишённые смысла, обветшалые, пустые и никчемные. Оплотом его впечатляющих политических выступлений много лет были такие термины, как Свобода, Преданность, Независимость, Суверенитет, Честь Нации, Святые Принципы, Законные Права, Гражданское Самосознание, Верность нашим Традициям, Историческая Миссия, Долг перед Родиной и т. д. и т. п. Однако ныне эти термины (он имел обыкновение относиться к себе строго критически) приобретали звучание фальшивой монеты, позолоченного свинца, обесцененного пиастра. И, раздраженный своими приевшимися себе же языковыми выкрутасами, он спрашивал себя: чем же заполнить речи и письменные воззвания, призывы и устрашающие заявления, неизбежные при таких военных действиях — карательных, — какие ему вскоре предстоит развернуть? Поддержанный в свое время большинством сограждан как человек с твердой рукой, могущий в периоды трудностей и беспорядков решать судьбы страны, он видел постепенное падение своего престижа, растущую угрозу своему господству после каждого хитроумного маневра, который надо было изобретать, чтобы удержаться у власти. Он видел, что вызывает ненависть и озлобление многих, и сознание этого заставляло его находить в качестве морального противоядия все большее наслаждение и удовольствие в любых проявлениях угодничества и заискивания, в лести тех, кто зависел от него и потому стоял за него, заботясь о его благоденствии и, соответственно, о продлении на неопределенный срок его полномочий, стараясь не вспоминать, основаны ли эти полномочия на законности и Конституции или нет. Но он не мог игнорировать тот факт, что его враги располагают мощными аргументами против него, тыча, например, ему в нос непрерывно растущими уступками, которые он делал гринго, а этих гринго — только дурак может сие отрицать — все проклинали на нашем Континенте.

Всем нам было известно, что они называют нас «латиносами» и что для них сказать «латиносы» все равно что сказать «сброд», «хамье», «мулатня» и «черная орава» (они даже изобрели корректный эвфемизм — «latina colour»¹⁸², чтобы как-нибудь оправдать пребывание в отелях Нью-Йорка или Вашингтона высокопоставленных особ, чей цвет кожи имеет несколько экзотический оттенок)...

И Глава Нации продолжал обдумывать предстоявшее ему выступление с речью, но никак не мог придумать ничего нового. Слова, слова, слова. Все те же самые слова. Нет, «Свобода» не звучит — тюрьмы забиты политзаключенными. Не годится ни «Честь Нации», ни «Долг перед Родиной» — этими принципами всегда жонглируют мятежники-военные. Не подходит ни «Историческая миссия», ни «Прах павших Героев» — по той же самой причине. Нельзя толковать в «Независимости», ибо в пору его правления это могло привести на мысль о «зависимости». Ни к чему толковать и о «Честности» и «Добродетели», если известно, что он хозяин крупнейших предприятий

¹⁸² Латинский цвет (англ.).

страны. Не следует вспоминать о «Законных правах» — он с ними никогда не считался, если они не входили в его личный свод законов. Словарный состав решительно сократился. А перед ним стоял грозный противник, восставшая треть Армии, и надо было держать речь, но раздосадованный оратор чувствовал, что потерял голос, стал забывать родной язык, ибо уже не находились нужные, зажигающие, хлесткие слова» потому что он сам их затаскал, обвалял в грязи» обесценил повтором во времена более мелких заварух, не стоивших такого расточительства. Как говорят наши крестьяне, «стрелял из пушки по мушкам».

«Становлюсь стар», — подумалось ему. И тем не менее надо было что-нибудь сочинить. Что-нибудь. Он приложился к фляжке в щетинистом футляре и сделал несколько частых, нервных глотков: затем, — желая облегчить себе ожидание никак не приходившей счастливой мысли, взял одну из утренних газет, «Фигаро», из пачки на письменном столе. И там, на первой же странице, в первой колонке увидел статью Именитого Академика, набранную жирным шрифтом к помещенную в рамку.

Резюмируя последствия битвы на Марне, наш друг утверждал, что это чудо военной стратегии было не столько победой французского воинства, сколько торжеством интеллекта и означало прежде всего триумф латинского духа — «Латинидад» — над духом германским. Преемники великой средиземноморской культуры, внуки Платона и Вергилия, Монтеня, Расина и «бесподобных голодранцев из Вальми»¹⁸³, — на сей раз пригодились, хотя одно воспоминание о них приводило в неистовство все Сен-Жерменское предместье, — противопоставили гений своей расы, которая отличается уравновешенностью, благоразумием и чувством меры, патологической агрессивности Тевтонцев. Галльский петух против Драконов и пещерных гномов-Нибелунгов. Горячий, легкий и благородный конь почти уже святой Орлеанской Девы — она непременно будет причислена к лику святых — против дикого буцефала Брунгильды, Олимп против Валгаллы¹⁸⁴. Аполлон против Хагена¹⁸⁵. Версаль против Потсдама. Глубокая мудрость Паскаля против философского гигантизма Гегеля, изложенного тем заумным гейдельбергским слогом от которого инстинктивно открещиваются наши лучшие умы, предпочитающие ясность и простоту выражения. Битва у болот Сен-Гона выиграна не столько семидесятипятидюймовыми орудиями, сколько философией Декарта. Статья заканчивалась тем, что ее автор выносил разящий, суровый, не подлежащий обжалованию приговор всей немецкой культуре — этой «Кюльтюр», как он ее называл: музыке Вагнера, дурному, вкусу берлинцев, педантичному наукообразию Геккеля, идеям тщеславных карликов, которые, считая себя «сверхчеловеками» и Заратуштрами¹⁸⁶ со шпагой за поясом и черепом на кивере, вызвали — эти новейшие колдовские отродья! — нынешнюю катастрофу. Современная. Война — более чем просто война, — это Святой крестовый поход против прусского Неоварварства.

¹⁸³ Вальми — селение во Франции, в окрестностях которого 20 сентября 1792 года войска революционной Франции одержали первую победу над войсками австро-прусских интервентов и французских дворян-эмигрантов.

¹⁸⁴ Валгалла — в древнескандинавской мифологии «чертог мертвых», куда девы-богини Валькирии уносили души храбрейших воинов.

¹⁸⁵ Хаген — в «Песни о Нибелунгах» сын гнома Альбриха, воплощающий зло и коварство.

¹⁸⁶ Намек на теории Ф. Ницше.

Прочитав статью, Глава Нации зашагал, по салону. До него вдруг дошло, что до сих пор он впадал в явную ошибку; от этой его германофилии разобиженного метека — он тут же припомнил, что греки не придавали слову «метек» оскорбительного звучания, — нет ему ни пользы, ни выгоды. Какую, скажем, помощь; ему могут оказать, сейчас, в этот критический момент его собственной политической карьеры, уланы фон Клюка или подводные лодки фон Тирпица. Какое ему, в сущности, дело до каких-то Валькирий, от которых нет и не будет проку. Гораздо лучше признать, что в Латинской Америке народ стоит за Францию — точнее, скажем, за Париж. И там, если перенести этот вопрос на землю нашей родины, германофилами были иезуиты, якшавшиеся со знатными прихожанами, исповедовавшие богатых дам и презиравшие скромных французских маристов, которые дали ему, Президенту, образование; германофилами были толстосумы испанцы, кавалеры «Импорт-экспорта», чтобы не сказать спекулянты и ростовщики — с солидными счетами в банках Каталонии и Бильбао, отнюдь не питавшие симпатии к креолам по привычке и традиции; обитатели Колонии Ольмедо, внуки баварских или померанских землепашцев, которые не имели, впрочем, никакого значения в общественной жизни страны. Кроме того — черт побери, только сейчас меня осенило! — ведь все Святые Девы наших стран — латинянки. Ибо Матерь, Божья была латинянкой, вдвойне латинянкой, так как подонки лютеране — вроде Хофмана и «Вторых Фрициков», которые с ним снюхались, — вышвырнули ее из свои храмов. Святая Дева-Заступница из Нуэва Кордобы, все Девы — из Чикинкира, из Коромотос, из Туадалупе, из Карндад дель Кобре и другие, составляющие божественный легион Заступниц наших, — суть вездесущие образы той, Единой и Вечной, что была возведена на престол в нефе собора Нотр-Дам Людовиком XIII в знак посвящения своего королевства культу Девы — Марии. Надо объединить, следовательно, всех Святых Дев на нашей стороне, а их общий образ на моем боевом знамени станет сопровождать меня в сражениях, ибо Первый Человек Государства, которому угрожает опасность, обязан применять все средства, чтобы добиться победы. Гибким, а не твердолобым должен быть Предводитель народов, Вожак людей, хо тя бы даже ему пришлось ради сохранения власти отказаться на какое-то время от своих сугубо личных пристрастий.

И вот таким-то образом перед Президентом ясно предстала идеологическая — или тактическая — база предстоящей борьбы с изменником Хофманом. Стоит только заострить внимание на фамилии врага, напомнить о его германском воспитании, о его стремлении слыть чистым арийцем, хотя у него и была достаточно темнокожая бабушка, прозябавшая где-то на задворках его просторного колониального домища. Внезапно Aunt Jemima — как ее называли там, на родине, наши недоумки, — превратилась в символ «Латинидад». (Глава Нации, совсем было сникший и упавший духом, приободрился, вскинул голову, трахнул кулаком по столу, вновь обретя уверенность трибуна.) В конце концов «Латинидад» отнюдь не означает ни «чистоту крови», ни «очищение крови», как это толковала святая инквизиция в своих ныне отживших канонах. Все расы античного мира смешивались в магической средиземноморской обители, породившей нашу культуру. На непостижимо огромном круглом ложе нашлось место и для римлянина с египтянкой, и для троянца с карфагенкой, и для прекрасных гречанок с бледнокожими мужчинами. У Волчицы, вскормившей Ромула и Рема, хватало сосков не для одного чоло, не для одной самбы — к тому же все знают, что Италия не сегодня завтра выступит против Центральных Держав. Поэтому сказать «Латинидад» — это значит сказать «расосмешение», и все

мы в Латинской Америке — помесь, у всех есть что-то от негра или индейца, финикийца или мавра, уроженца Кадикса или кельтибера; имеется и лосьон «Уокер в дальнем ящике домашнего комода, чтобы прилизывать курчавые волосы. Да, мы — Метисы и гордимся этим!..

И забурили тут мысли у Главы Нации, нашлись вдруг свежие слова. Слова яркие, звучные, душещипательные, которые должны были задеть за живое там, на родине, многих равнодушных, колеблющихся, потенциальных врагов — людей, так или иначе связанных с проантантской интеллигенцией и превратившихся в тех доморощенных стратегов, что передвигают в кафе на карте Европы трехцветные флажки, втыкая их — в соответствии со своими тайными желаниями — гораздо дальше того места, где наступление приостановлено самим Верховным Командованием союзных войск. В народе кипели страсти, и надо было мудро использовать их в собственных целях. *Alea jacta est*. Решено: он, современный Тамплиер, тоже присоединится к Священному Крестовому походу за «Латинидад». Победа Вальтера Хофмана и его камарильи означала бы германизацию нашей культуры. Кроме того, было весьма легко скомпрометировать этого человека в глазах общественности, пригвоздить к позорному столбу вместе с его учебниками, портретами Фридриха II, Бисмарка и Мольтке, украшавшими его кабинет; напомнить о том, как унижает он бедную старушку мать — истинное воплощение нашего народа, плоть от плоти нашей, плоти наилучшей, — мать, которую он, полагая, что неказистая родительница лишь компрометирует его, спровадил куда-то за тамаринды, поближе к скотному двору, где она выкармливала поросенка к сочельнику. В общем, этот мятежник оказался самым олицетворением прусского варварства, которое не только расплодилось по Европе, но и могло стать угрозой нашим Землям Будущего в самом скором времени, ибо немцы видели свое предназначение в господстве над миром, считая истиной миф о «высшей расе», что было недавно черным по белому написано в кичливом и ксенофобском «Манифесте интеллектуалов», который уже опубликовала наша пресса. Посему надо поднять Корону Святой Росы из Лимы против Щита Валькирии. Куаутемок¹⁸⁷ против Алариха. Крест Спасителя против копья Вотана¹⁸⁸. Шпага всех Освободителей всего нашего Континента — против технифицированных вандалов двадцатого века...

«Перальта, ко мне...» И в течение двух часов, легко находя бьющие не в бровь, а в глаз эпитеты и сверкающие новыми красками образы — хотя на сей раз он не слишком расцвечивал свой стиль, — Президент диктовал статьи для газет своей страны, определяя главное направление идеологической кампании, которая должна была быть развернута до его приезда. «Бери все это и беги в «Вестерн Юнион»...» Затем с трудом поднял голову, видимо устав от диктовки, и оглядел с тихой грустью салон, милую сердцу мебель, окружающие его картины, скульптуру. Через несколько часов придется отказаться от этого покоя материнского лона, от приятного отдыха среди шелков, атласа и бархата, чтобы взгромоздиться на коня и зашлепать по болотам жарких южных областей — лианы, манговые заросли в стоячей воде, коварный мрак, невидимые нити, секущие лицо, — далеко отсюда, где он был по-настоящему

¹⁸⁷ Куаутемок (ок. 1500–1522) — последний император ацтеков, сражался против испанских конкистадоров. Был взят в плен Э. Кортесом и казнен.

¹⁸⁸ Вотан — в древнескандинавской мифологии Верховный повелитель богов.

счастлив. Президент думал о том, что делается там, и уже заранее начинал томиться тоской при мысли о возвращении, которое словно означало возврат к исходной точке для человека, ушедшего с течением лет далеко вперед. Скоро начнется ноябрь — наш ноябрь — День поминовения усопших, и кладбища превратятся в места увеселений и ночных гуляний, пышно разукрашивания могил, визга шарманок, брэнчания гитар над старыми захоронениями, звяканья марак в сопровождении кларнетов и чаранго у изголовий давно усопших. А рядом — увядшие венки и женщины в глубоком трауре у свежих земляных холмов. Фигурки покойников из жженого сахара, покойников из розового мармелада; черепа — леденцовые, марципановые и сдобные из теста на кунжутном масле — среди лопат и лямок могильщиков, среди гробов, урн, великолепной бронзы и портретов бабушек и дедушек, офицеров и разряженных детей под овальными стеклами, тусклыми от росы и дождя. Приходят сюда и те, кто продает забавные скелетики — танцоров в митрах, в коронах, в цилиндрах, в кепи, — дергающихся в Танце Смерти на всем пути вдоль памятников и крестов — под крики торговцев: «Покойничка для вашего ребеночка»; торговцев, которых приглашают в такие дни на празднество и угощают водкой и яичными лепешками. А послушать только реплики, шутки или колкости, несущиеся от креста к — кресту, от ангела к ангелу, от эпитафии к эпитафии: «Эй, кум! Ну и хорош был твой упокойничек!» — «Не говори, кума, и твой-то не лучше — бродяга да потаскун!» — «Так-то оно так, куманек, по и твоему, скажу я тебе, далеко до святого!» — «Потому, кум, он и пристрелил свою бабушку!» — «Поди, куманек, разберись, кто там у вас кого пристрелил!»...

Вспомнив эти картины, Глава Нации почувствовал себя так, словно попал в заколдованный круг, начертанный шпагой Демона. История, которая была и его историей, ибо он играл в ней определенную роль, повторялась, ловила себя за хвост, пожирала самое себя, застывала на месте — какая разница, что на листках календаря красовался 185(?), 190(?) или 190(6?) год?.. Мимо все так же дефилировали те же сюртуки и мундиры, высокие цилиндры на английский манер и каски с перьями на манер боливийский — как это делается в театрах с маленькой труппой, когда устраивается триумфальное шествие из тридцати человек, которые, пройдя вдоль рампы на фоне одной и той же декорации, бегом огибают ее, чтобы вовремя выскочить снова на сцену и закричать в пятый раз: «Победа! Победа.! Да здравствует Порядок! Да здравствует Свобода!»... Классический пример с ножом, у которого меняют то потертую рукоятку, то сточившееся лезвие, — и получается, что по прошествии многих лет нож остается тем же самым, презрев бег времени, хотя и рукоятку и лезвие ему меняли несчетное количество раз. Время словно замерло в военных мятежах, в чрезвычайных положениях, отменах конституций, восстановлении нормальных прав и в словах, словах, словах, в этих перипетиях — быть или не быть, вознестись или не вознестись, удержаться или не удержаться, упасть или не упасть, — и все это каждый раз выглядит, как круговой ход часовых стрелок, которые сегодня возвращаются к своему вчерашнему положению, а вчера отмечали сегодняшнее время.

Он глядел на шелка, атлас, бархат, на поверженного гладиатора, на спящую нимфу, на волка Губбио, на святую Радегунду. Ему хотелось остаться в Париже, вырваться из заколдованного круга, но, словно заточенный в этот круг, он не мог одолеть себя. И подсознательные устремления, и привычное восприятие и осмысление жизни — все это, вместе взятое, направляло его волю. Он знал, что многие там, на родине, его ненавидят; знал, что многие, очень многие, даже слишком много людей

мечтают о том, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь набрался смелости прикончить его (и если бы для того, чтобы призвать его смерть, достаточно было бы нажать волшебную кнопку из сказки о Мандарине, тысячи мужчин и женщин нажали бы эту кнопку). Именно поэтому он вернется. Вернется и покажет, что, хотя он и стоит на пороге старости, хотя и не выглядит, как прежде, бравым молодцом, стойкости, энергии и крепости духа ему не занимать — и он еще мужчина в соку, в силе, даже в расцвете сил. И будет давить своих врагов, покуда жив. Он не хотел разделять печальную участь тирана Росаса¹⁸⁹, который умер где-то в Суэйтлинге, забытый всеми, даже своей дочерью Мануэлитой. Он не желал походить на Порфирио Диаса, того, из Мексики, который живым трупом — в сюртуке, перчатках и шикарном цилиндре — разъезжал по Булонскому лесу в глубоком фаэтоне-катафалке с черными колесами, катившимися вслед за лошадьёю так уныло и медленно, словно это уже был последний, погребальный выезд...

Тут Главе Нации вспомнилась та Страстная Неделя, когда все жители его городка разыграли грандиозную многолюдную мистерию «Страсти Христовы» в полном соответствии с текстом манускрипта, датированного XVII веком и хранившегося в архивах Епархиального Ведомства. В течение многих месяцев женщины и дети копили серебряные бумажки от конфет и карамелек, чтобы оклеить ими шлемы и щиты центурионов; собирали ослиный и конский волос, чтобы украсить гребни шлемов. Портьеру из выцветшего бархата превратили в одежды Спасителя, пояс Христу сделали из хенекеновой веревки, вымоченной в настое из ароматических трав; для тернового венца взяли ветку кустарника «змеиное жало», росшего на соседней горе. Судилице происходило в патио Ратуши, где на Главу Нации — в ту пору еще Губернатора — возложили роль Пилата. Он отдал Сына Божия фарисеям и умыл руки в японской чаше, одолженной для сего случая в гончарной мастерской братьев Суарес. И началось восхождение на Голгофу в сопровождении воплей и криков народных... Одна маленькая глупая нищенка подумала, что перед ней разворачиваются подлинно исторические картины, из тех, что она видела в десятках алтарей деревенских церквушек, и она приблизилась к сапожнику Мигелю, исполнявшему роль Сына Божия, с намерением переложить на свои плечи тяжелое бревно с перекладиной, которое тот еще тащил, обливаясь потом, спотыкаясь, пошатываясь, падая, снова поднимаясь, издавая душераздирающие стоны великолепного театрального мученика и упорно продвигаясь к холму, где должен был участвовать в сцене распятия. Оттолкнув дерзкую девчонку, которая хотела помешать его достойному восхищения деянию, Христос простер к ней свою левую руку и сказал: «Если ты у меня отнимешь это, кем я буду и что мне останется?» И продолжал тащиться вверх по своему Тернистому пути, а толпа хором пела старинную песню, неизвестно откуда пришедшую и звучавшую торжественно и просто, как хорал:

Если казнь моя завтра, судьбу не кляня,
Молю сразу, без пыток прикончить меня...

Когда Перальта вернулся из «Вестерн Юниона», видя, что хотя я на ногах, но все еще о чем-то размышляю, спросил меня: «Почему вы не пошлете их ко всем чертям и не останетесь здесь наслаждаться тем, что имеете? Денег у вас хватит. А сколько бутылок нас жаждет! Сколько женщин нас ищет!» — «Если ты у меня отнимаешь мой

¹⁸⁹ Хуан Мануэль Росас (1793–1877), диктатор Аргентины с 1835 года, был свергнут в 1852 году, эмигрировал в Великобританию и умер в Суэйтлинге, близ Саутхемптона.

крест, кем я буду и что мне останется?» — сказал я тогда, думая о людях, которые из-за наведения порядка в Нуэве Кордобе вышвырнули меня из своих домов, дав мне ко всему прочему понять, что моя персона слишком незначительна и не имеет веских оснований для внесения в тот Апокалипсис, который здесь, в Париже, чтит. Чтобы оставить свой след в истории, я провозгласил Крестовый поход во имя «Латинидад». И если Богоматерь соблаговолила бы ниспослать мне победу в течение ближайших недель, я дал бы обет, да, обет склонить перед ней голову после возвращения с триумфом и совершить паломничество к Святылищу Девы-Заступницы, смешавшись с народными массами (конечно, в тесном окружении «народных масс», одетых как народные массы) в знак благодарности и душевной радости за оказанные милость и снисхождение ко многим свершенным мною грехам. Со всеми теми, кто еле волочит изъязвленные ноги, льет слезы по ночам из затянутых бельмами глаз, обращает к небу ввалившиеся носы и адским усилием воли соединяет в мольбе свои культы; вместе с иссохшими, бесплодными женщинами; вместе с теми, кто вышел из детского возраста, но никогда не перестанет по-детски скулить и едва ковылять на хилых ножках, никогда не разогнет сухую руку; вместе с теми, у кого слово навеки застряло в окаменевших глотках; вместе с паралитиками и прокаженными я на коленях пересек бы широкую, мощенную плитками площадь и, отбросив прочь красный ковер, постеленный для меня прихожанами, полз бы по голому полу, чтобы пасть ниц перед Богоматерью и выразить ей мою превеликую благодарность в литургической прозе — не знаю, заимствованной ли у Ренана или из проповедей братьев-маристов: Волшебная Роза, Башня из Слоновой Кости, Златая Обитель, Утренняя Звезда, Ave Maris Stella.¹⁹⁰ Смотрю на часы. Теперь надо немного отдохнуть. Завтра рано вставать. Шутки ради, уже в ночном белье, я нахлобучиваю на голову английскую шапку с наушниками и набрасываю на плечи клетчатое пальто с пелериной, купленное в дорогу. «Вылитый Шерлок Холмс», — говорю я, обозревая себя в Императорском зеркале, стоящем на двух позолоченных сфинксах. «Не хватает лупы», — говорит Перальта и опускает мне в карман фляжку, что в футляре из свиной кожи со щетиной.

...И уже звонок. Четверть одиннадцатого. Не может быть. Четверть десятого. Пожалуй. Нет. Четверть девятого? Этот будильник, бесспорно, великое творение швейцарских мастеров, хотя его стрелки так тонки, что их почти не видно. Четверть восьмого? Где очки? Четверть седьмого. Да, совершенно верно. Дневной свет уже пробивается сквозь золотистые шторы. Ногой никак не нащупаю вторую ночную туфлю, которая всегда теряется в пестроте персидского ковра. Вот и Сильвестр в своем полосатом жилете, с подносом из чистого серебра в руках — серебра из моих рудников: «Le cafe, de Monsieur. Bien fort comme il l'aime. Monsieur a bien dormi?» — «Mail, tres mal», — говорю я, — «J'ai bien de soucis, mon bon Silvestre». — «Les revers attristent les grands de ce monde»¹⁹¹ — вздыхая, отвечает Сильвестр александрийским стихом, классическая ритмика которого наполняет духом «Комеди Франсез» этот дом, где в атмосфере уже начавшейся суматохи, но еще далеко от авансцены моей судьбы, открывается в этот ранний утренний час новая глава моей Истории.

¹⁹⁰ Радуйся, Благодатная Звезда Морей (*лат.*).

¹⁹¹ Кофе для мосье. Крепкий по вашему вкусу. Мосье хорошо спали? Плохо очень плохо. У меня так много забот, мой дорогой Сильвестр. Обратная сторона жизни Великих мира сего. (*фр.*).

Часть четвёртая

IX

...не вижу ли я из этого окна только плащи и шляпы, в которые облачены фантомы или искусно сделанные куклы, приводимые в движение пружинами?

Декарт

Не было надобности расстреливать Вальтера Хофмана. Известно, что каждый конфликт обычно улаживается самым непредвиденным образом, и потому генералу-изменнику был уготовлен конец, который, если вдуматься, не лишен впечатляющей вагнеровской силы: агония Фафнера в лесах, гораздо более страшных, чем лес Зигфрида, казавшийся просто парком, Тиргартеном или Унтер-ден-Линден в сравнении с территорией Больших Болот. Мы загнали мятежника в район гиблых трясин, куда он вынужден был отступить, теряя по дороге солдат и офицеров, столь подавленных своим разгромом, что они не внимали ни речам, ни возваниям, ни угрозам; даже щедро раздаваемое спиртное не могло притупить мысль о том, что их карта бита и все козыри у нас на руках, — напротив, они с отчаянием убеждались в этом все более и более. Пустым номером оказалось для Генерала Хофмана и открытие в лесной чаще развалин древнего индейского храма и громогласное обращение к своим людям: «Солдаты... С высот этой пирамиды на нас взирают пятьдесят веков» (в пылу патриотизма он прибавил к сорока векам из наполеоновской речи лишний десяток)¹⁹². «По мне, будь хоть все пятьдесят пять», — думали солдаты, чьи «старухи» — женщины, пошедшие вслед за бунтовщиками, — утверждали, будто горы этих никчемных булыжников с норами и дырами могут служить лишь питомниками самых ядовитых в мире змей, сороконожек, тарантулов и скорпионов, которые «здоровы, как...» (у каждой была своя мера длины). А после внезапного исчезновения «Вторых Фрициков», давших тягу к южной границе, началось массовое дезертирство и братание с громкими криками: «Нас обманули, мы поверили, нам приказали...» — пока наконец Генерал в сопровождении немногих оставшихся приверженцев не решился пересечь гиблые места — единственный путь к морю, — которые из-за обилия болот дали название всей области. Чем труднее и опаснее становилось продвижение вперед, тем больше людей покидало его — два артиллериста с лейтенантом, пятнадцать рядовых с капралом, около семидесяти человек во главе с капитаном и т. д. Мятежник остался почти в одиночестве, не считая — нескольких соратников, — а кто знал, что у них на уме? — перед тем как ступить на топкую желтоватую равнину, покрытую невысоким кустарником, среди которого зияли маленькие окна — или, точнее, большие пятна — вязкой жидкой глины, похожей на безобидную грязь мелкой лужицы. В один из этих колодцев и угодил Генерал Хофман, пришпорив лошадь после того, как резко рванул ее за узду, чтобы не напороться на колючую ветвь, преградившую путь. И лошадь, почувствовав, что все глубже и глубже увязает в коварной топи, словно всасываемая мощным вдохом, идущим из глубин земли, вдруг отчаянно заржала, прося помощи у людей, и стала биться, напрасно стараясь вырвать из топи то задние, то передние ноги. Однако отчаянные усилия не спасали ее от медленного, но верного погружения. Генерал, уже по колена в этой бездонной грязи, пытаясь вытащить из нее сапоги, словно наливавшиеся свинцом,

¹⁹² Перед взятием Каира Наполеон Бонапарт произнес, обращаясь к войску и указывая на пирамиды: «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с вершин этих пирамид!...».

дергая изо всех сил, но, увы, тщетно узду и видя, что дикие броски лошади лишь ускоряют неминуемую гибель, отчаянно возопил: «Петлю... Веревку... Ремень... Тащите меня... Скорее!.. Петлю... Веревку... Канат!» Но люди, окружавшие адскую лужу, хмуро и молчаливо в выжидательном спокойствии смотрели на замедленную, жутко замедленную кончину своего начальника. «Умри, гад!» — сказал почти шепотом капрал, которому Хофман несколько лет назад дал пощечину за непочтительный ответ. «Умри, гад!» — сказал, повышая голос, сержант, которого Хофман недавно не повысил в чине. «Умри, гад!» — сказал громогласно лейтенант, который долго и безуспешно выпрашивал высокую награду — орден «Серебряная Звезда», «Нет, ой, нет! Спасите, не дайте погибнуть!» — взвыл начальник, хватая за уши лошадь, которая еще лязгала зубами поверх трясины.

«Умри, гад!» — отвечал ему греческий хор. А вязкая жижа заливала шею, подбородок, лезла в рот Генералу, который, захлебываясь, пытался еще что-то произнести, но рот был уже полон грязи. Пузырьки от предсмертного хрипа, неслышные стоны, финальный всплеск вместо агонии... Когда одна лишь фуражка закачалась на зыбкой поверхности, кто-то из зрителей бросил на нее маленькое распятие, но вскоре и оно было проглочено трясиной, вернувшейся в конце концов к своему желто-зеленому спокойствию.

Отделавшись от противника, Глава Нации вернулся в столицу, чтобы получить под сводами наскоро построенных арок и среди бумажных флажков и гирлянд титулы «Миротворец» и «Благодетель Отечества», которыми наградили его обе палаты Конгресса, движущие силы торговли и промышленности, архиепископ со своего высокого амвона, коадьюторы с других, менее высоких амвонов и пресса на страницах газет, где со всеми подробностями была представлена мастерски проведенная Президентом военная кампания с опубликованием карт, усеянных черными флажками, которые указывали направления наступательных и отступательных операций, прорывов, отходов и место разгрома оборонительных линий врага — решающей битвы у четырех дорог, битвы долгой, кровавой, тяжелой, поскольку на той стороне были военно-стратегические знания, на этой — определенная доля тактической смекалки. Однако в конечном итоге победы добились правительственные войска, использовав карты и схемы, которые напечатала парижская «Иллюстрасьон» для наглядной демонстрации хода битвы на Марне...

В речи, насыщенной возвышенными идеями, Глава Нации скромно утверждал, что не заслуживает тех похвал, которые расточают ему сограждане, ибо не кто иной, как сам Господь Бог, великий в своем милосердии, но страшный во гневе, захотел покарать отступника. Не вызывает никаких сомнений, что Хофман нашел свою смерть в результате ордалии¹⁹³, и победитель — по воле Господа Бога, пути коего неисповедимы, — был избавлен от лишних страданий: ведь так больно пролить кровь старого товарища по оружию, ослепленного безумным «властолюбием. Здесь не прозвучал шекспировский клич — «Коня! Коня! Корону за коня!» ибо преступник, гонимый богинями мщениа нашего Воинства и придавленный тяжестью угрызений собственной совести, погрузился вместе со своим тоже буйным конем в царство теней... Но главное было не в том, что враг порядка утонул в Больших Болотах. Суть

¹⁹³ Ордалия или «божий суд», в рабовладельческом и феодальном обществе род испытания, с помощью которого устанавливалась судебная истина. Применялся при отсутствии несомненных доказательств виновности. Самые распространенные формы ордалии — испытание водой, огнем, раскаленным железом.

заклучалась в том, что укрепилось — как раз во время катаклизма, потрясавшего весь мир, — наше латинское самосознание, чувство «Латинидад», потому что мы латиняне, исконные латиняне, настоящие латиняне, носители великой традиции, которая восходит к Юстинианову своду законов — этой основе основ нашей юриспруденции — и воплощается в Вергилии, Данте, Дон-Кихоте, Микеланджело, Копернике и т. д. и т. п. (нескончаемый синтаксический период, увенчанный нескончаемыми аплодисментами).

Старая Aunt Jemima, сменившая по сему случаю затрапезный клетчатый платок на траурную шаль, с трудом взобралась на трибуну, чтобы вручить Главе Нации пожелание от семьи Хофмана с заверениями а своей преданности, шепнув ему заодно о том, что супруга Генерала, искренне сожалея о заблуждениях мужа, верноподданнейше просит назначить пенсию, которая ей, возможно, полагается по закону от 18 июня 1901 года, как вдове офицера, состоявшего более двадцати лет на действительной военной службе...

Весьма утомленный войной, которая завела его в самые лесистые и нездоровые области страны, Глава Нации отправился на отдых в свой дом в Марбелье. Там был большой, прекрасный пляж, хотя его серый песок часто сплошь заливало пузырястым киселем медуз, погибавших в пятнах дегтя или нефти, расплзавшихся из порта, который был неподалеку. Акулы и манты не преступали границ дозволенного, если можно так выразиться, благодаря четырехугольной ограде из колючей проволоки, увитой лохматыми водорослями. И хотя еще попадались мурены в гротах небольшого скалистого мыса, люди уже не помнили, чтобы в купальне кто-нибудь был растерзан барракудой. Когда дули северные ветры — «зимники», как их называли, — море делалось аспидно-синим, и огромные волны мерно и величественно накатывали на берег, бросая пену к подножию кокосовых пальм и гуанабано. Бывали там и погожие дни, особенно летом, когда вода делалась поразительно спокойна и прозрачна, утихомилив даже свою обычную легкую зыбь. И купальщик, бросившийся в воду, испытывал странное чувство: будто плавает он в желатиновом озере. Потом с изумлением убеждался, что вовсе и не плавает, а скользит по студенистой массе прозрачных, почти незаметных моллюсков, величиной и формой схожих с монетой, которых ночью прибывало к этим берегам после долгих непостижимых миграций. Чтобы придать курорту большой блеск, Муниципалитет соорудил у конца цементного волнореза казино на сваях — точную копию подобного заведения в Ницце: металлический каркас, оранжевая керамика, железный купол, позелененный селитрой. Там можно было поиграть в рулетку, в баккара, в «шмэн-де-фер», где крупье в смокингах, ведя счет на луидоры и су, о каковых тут и не слышали игроки, заменили реплики местных содержателей игорных домов «Играйте дальше» и «Хватит кидать» заученными фразами, все еще резавшими слух! «Faintes vos jeux», «Rien ne va plus»... 194

Резиденция Главы Нации «Эрменехильда», расположенная на соседнем холме, возвышалась над пляжем. Дом был построен в стиле, среднем между балканским и Рю де ла Фэзандери, с кариатидами 1900-х годов в одеянии а-ля Сара Бернар, которые благодаря необычайной прочности своих шляп с плюмажами подпирали белыми головами — надежнее, чем любой атлант берлинских дворцов, — широкую террасу, окруженную балюстрадой со столбиками в виде морских коньков. Над сверкающей

кровлей из майолики, глазурированной под мрамор, высилось нечто вроде фонаря — балкона — маяка. Комнаты, обширные, прохладные, с высоченными потолками, были меблированы креслами-качалками нуэва-кордобского изготовления, спальными гамаками на неизменных кольцах и красными лакированными креслами, полученными в дар от старой китайской императрицы, которую всегда приводили в восторг игрушки — заводные паровозики, калейдоскопы, поющие волчки, музыкальные шкатулки с бернскими медведями и броненосец величиной с водяную лилию для ее пруда в Зимнем Дворце — игрушки, преподносившиеся ей в былые годы Главой Нации, большим знатоком ее пристрастий. В столовой висела копия — впрочем, меньших размеров, чем оригинал, — картины «Плот Медузы»¹⁹⁵, а напротив — два прелестных морских пейзажа Эльстира, которые, сказать по правде, были совсем раздавлены тяжелым драматизмом композиции Жерико. Дом был окружен большим садом, где копошились садовники-японцы и где над кустами букса царило беломраморное тело Венеры, обезображенное зеленоватыми пятнами лишайника на животе. В глубине, под соснами, виднелась часовня, посвященная набожной Доньей Эрменехильдой нашей Святой Деве-Заступнице, — часовня, созерцание которой вызывало теперь у Президента мучительные угрызения совести, ибо напоминало о неисполненном обете, который он дал в Париже в весьма трудный момент своей жизни вползти на паперть базилики Святой Девы со свечой в каждой руке. (Но в то же время он утешал себя тем, что Святая Дева так же хорошо разбирается в политике, как и во всем остальном; Святая Дева, которая трубным гласом недавней победы Ясно дала понять, что не оставляет его своей Милостью, конечно же, видит, как нелепо в данное время выглядело бы сейчас публичное исполнение обета на глазах у всех. К тому же это вызывающее свидетельство пылкой приверженности католицизму обратило бы против него — а у него и так врагов предостаточно — ярость орды масонов, крестоносцев, спиритистов, теософов и толпы горлодеров-антиклерикалов, читателей и почитателей барселонских листков «Тракала» и «Эскела де ла Тораша»¹⁹⁶, не говоря об уйме всяких атеистов и вольнодумцев — легионе еретиков и нечестивцев, всех этих приверженцев Франции, где священнослужители не могли преподавать в школах, где семинаристы должны были отбывать воинскую повинность и где зародилась и крепла единственная, по их мнению, религия, возможная в этом великолепном двадцатом веке, веке Прогресса, — религия Науки!)

За домом через тенистую гранатовую рощу пролегла тайная тропка, по которой после захода солнца Доктор Перальта приводил очередную укутанную в шаль женщину к спальне Главы Нации. («Смотрите не умрите, как умер президент Феликс Фор», — неизменно повторял Секретарь, вручая свою находку господину. «Аттила и Феликс Фор были мужчинами, которые сумели приятно умереть»¹⁹⁷, — так же неизменно отвечал Глава Нации...)

На рассвете раздавался свист локомотива, тащившего Немецкий составчик, и Президент с чашечкой кофе в руке выходил на балкон посмотреть на него. Словно

¹⁹⁵ «Плот Медузы» — имеется в виду картина французского художника Теодора Жерико (1791–1824).

¹⁹⁶ «Ла Тракала» и «Эскела де ла Торраша» — барселонские сатирические республиканские еженедельники, выходившие в конце XIX — начале XX века.

¹⁹⁷ Вождь гуннов Аттила (I в.) скончался в брачную ночь. Французский политический деятель Феликс Фор (1841–1899), президент республики с 1895 года, умер в доме своей возлюбленной.

лакированный, сверкал на фоне рождавшегося утра маленький локомотив с блестящими шатунами и медными заклепками поднимавшийся по узкоколейке в гору, бодро пофыркивая и таща за собой красные крытые вагончики к Колонии Ольмедо, как две капли воды похожий на модель заводного паровозика, который был послан Главой Нации старой китайской императрице, дабы обогатить ее коллекцию автоматических и механических вещей. Как только этот маленький Немецкий состав выходил из Пуэрто Арагуато, казалось, сразу все становилось игрушечным на его пути: крохотные станции, карликовые мосты над водопадами, железнодорожные переезды, шлагбаумы, семафоры, — хотя грохот слышался далеко вокруг, даже когда поезд подходил к маленькой платформе конечного пункта, доставляя туда, наверх, десяток пассажиров, несколько тюков и бочек, почту, газеты и порой бычка, который высовывал морду в окошко единственного скотного вагона. Словно только что явившийся из какого-нибудь магазина игрушек в Нюрнберге, цветистый, глянцевоый, лощеный, отдыхал паровозик с вагончиками, закончив свой трудный путь, а своеобразном и экзотическом мирке, который отличался от оставшегося внизу мира и своими домами, будто прямо из Шварцвальда, стоявшими среди пальм и кофейных деревьев, и своей, пивной с Королем-Оленем на вывеске, и своими женщинами в тирольских платьях, и — своими мужчинами в кожаных штанах с подтяжками, в шляпах с перышком за лентой. Хотя все они были достойными гражданами Республики вот уже более века, испанский язык у них так и не привился. С тех пор как их привез в эту страну Граф де Ольмедо, богач с гербом креольского изготовления и землевладелец, озабоченный проблемой «обеления расы», иммигранты прилагали большие старания, чтобы не общаться с местными женщинами, усматривая в каждой из них самбу, чолу или квартеронку: у одной чересчур круто выются волосы, у другой слишком темные глаза, у третьей чуть приплюснут нос, хотя кожа довольно светла. И вот таким образом укоренился обычай, переходивший от отца к сыну, — письменно вытребовать женщин из Баварии или Померании и жить — поколение за поколением, — распевая лютеранские хоралы, играя на аккордеоне, выращивая ремень, приготавливая похлебки из пива и танцуя старинный лендлер. Потому и плескались в наших горных реках упитанные селянки с рыжеволосыми лобками, носившие, возможно, вполне креольские имена, вроде Воглинды, Вельгунды или Флосхильды. Мало было дела Главе Нации до жизни этих тихих людей, уважавших законы, никогда не лезших в политику и во время выборов всегда голосовавших за правительственных кандидатов, чтобы только никто не нарушал их традиций. Но теперь ежедневное чтение французской прессы заставляло его глядеть на этих поселян с известным раздражением. Если, допустим, их жилища были по традиции украшены хромолитографиями с изображением заснеженных пейзажей, берегов Эльбы, состязаний в Вартбурге или мифической Валькирии в шлеме с крылышками, уносящей в небо на летучем коне тело юного атлета, павшего в сражении, то наряду с этим там и сям встречались и портреты Вильгельма II. А Вильгельм II, судя по материалам газет, был воплощением Антихриста. Его полчища, его орды, его механизированные банды, ворвавшись в смирную Бельгию, во Фландрию с ее веласкесовскими пиками¹⁹⁸ — прародительницами наших кавалерийских копий, — сметали все на своем пути. Они шли напролом, как конкистадоры, попирая руины соборов, дробя августейшие камни,

¹⁹⁸ Имеется в виду историческое полотно Веласкеса, известное под названием «Копья». На нем изображен эпизод сдачи испанцам фландрской крепости.

проходя кощунственным маршем после поджога Лувенской библиотеки¹⁹⁹ по настилу из инкунабул, вышвырнутых на улицу. «Ein... Zwei... Ein... Zwei...» Они шагали, как варвары, топча уникальные свитки, бесценные манускрипты, пергаменты с великолепными заставками и витиеватыми прописными буквами, сражаясь уже не с людьми, а с прославленными действующими лицами Нового и Ветхого заветов, обретающимися испокон веков как на страницах распахнутых книг, так и в тимпанах, портиках и на папертях церквей.

Германские пушки палили по Исае и Иеремии, Иезекиилю и Ездre, по Соломону и Суламифи, по Давиду, который вместе с Вирсавией — сюжет драмы, рукопись которой мы купили у нашего друга Именитого Академика, — уготовил печальный конец старому рогатому вояке («Какой же полководец не рогат, — думал Президент, — если к тому же он стар»); пушки палили и по «Прекрасному Богу» Амьенскому, по бесподобному лику, ныне разбитому, расплывшемуся в тумане, растаявшему последним вздохом камня в необратимых сумерках, лику самого прекрасного из Улыбающихся Ангелов. Но это выглядело, может быть, еще не так ужасно, как возмутительная хроника насилий над людьми. Парижская «Иллюстрасьон» издавала специальное приложение — серые брошюрки, которые убирались подальше от детей, — где подробно рассказывалось, как немецкие солдаты, овладев деревней или городком, хватали невинных девушек, школьниц, подростков где-нибудь на задворках сапожной мастерской, аптеки или похоронного бюро и насиловали их; девять солдат, десять солдат, одиннадцать, писала «Иллюстрасьон»; пятнадцать, сказал бы Луи Дюмур²⁰⁰, любитель описывать такие зверства. Насиловали, не изменяя гнусной германской дисциплине и подчиняясь команде фельдфебелей, которые отдавали распоряжения: «Твоя очередь... Следующий, готовься...» Но все это — разрушение храмов, уничтожение святых писаний, осквернение алтарей, обезглавливание сибилл, поджоги, взрывы, насилия, иные злодеяния — не шло ни в какое сравнение с небывалой трагедией изувеченных детей. Если немецкий солдафон замечал ребенка, бредящего среди развалин в поисках убитой или уведенной врагом матери, и слышал его тихий плач, то, подойдя к нему, будто желая утешить, внезапным ударом сабли («У пехотинцев были сабли?» — задавал себе вопрос Перальта) отсекал ребенку руки: «Чтобы никогда ты не смог обратить против нас оружие». На обложке приложения к «Иллюстрасьон» был помещен фотомонтаж с изображением жертвы этой зверской ампутации: поднятые вверх культы на фоне апокалипсической картины сражения на Ипре...

Глава Нации ежедневно изучал эту прессу, отмечая красным карандашом то, что считал нужным перепечатать в своих газетах, дабы сконфузить и устыдить некоторых военных и бывших сотрапезников Хофмана, потенциальных «Вторых Фрициков», которые, по имеющимся у него сведениям, были недовольны, хотя и не выражали открыто своего недовольства, недавней отменой каски с острием, этой важной принадлежности парадной формы офицеров Национальной Армии. Подобным читателям, особо нуждающимся в дегерманизации, и предназначались в первую очередь статьи об ограблениях прекрасных замков, краже часов — о часах, кстати, уже

¹⁹⁹ Университет в бельгийском городе Лувене, в котором располагалась богатейшая библиотека, был сожжен немецкими войсками в 1914 году.

²⁰⁰ Дюмур, Луи (1863–1933) — швейцарский писатель; после первой мировой войны писал романы на военные темы: «Мясорубка в Вердене» (1921), «Пораженцы» (1923).

начали писать в 1870 году, — о переплавке шестисотлетних колоколов, о базиликах, превращенных в сортиры, о надругательствах над святынями и о состязаниях в стрельбе по холстам Мемлинга или Рембрандта, затевавшихся пьяными капитанами...

Смотрел Глава Нации по утрам на подоблачные выси Колонии Ольмеда — черные скалы в тутовых деревьях, одна-две прижившиеся ели, тонкие изгибы виноградных лоз, — и думал, что эти подонки там, наверху, несмотря на вопли «Да здравствуют р-р-роди-на!» — их девок с рыжими косами, наряженных местными крестьянками и встречавших его с букетами фиалок, когда он посещал их главное селение, были в глубине души заодно с теми, кто отсекал руки детям там, в Артуа или Шампани, чьи обезображенные войной пейзажи — выщербленные дома, обуглившиеся деревья, перепаханная снарядами земля — представляли перед нами на картинах Жоржа Скотта и Люсьена Симона, присылались в качестве бесплатных приложений и годились для рамок любого размера. Болотно-серая цветовая гамма была призвана подчеркнуть трагизм пустых площадей, разрушенных ратуш, балочных скелетов средневековых зданий, а кое-где, как обвинение, выдвинутое самой землей, изображался голый ствол некогда величавого дуба, без листвы и ветвей, героически выжившего, устоявшего, — ствол, который, казалось, кричал среди всеобщего опустошения сотней ртов своей изодранной коры...

Глава Нации отрывался по утрам от мрачного газетного чтения всякий раз, чтобы из окна взглянуть на Немецкий составчик, когда тот начинал свой Подъем на гору, иногда останавливаясь и яростными свистками испугивая коз, увлекавшихся молодой травкой на середине пути. А после своего обычного завтрака — маисовых лепешек, крестьянского творога и приправленного перцем мяса — Президент усаживался перед пианолой Вельт-Миньон, подаренной ему испанской колонией из Нуэва Кордобы. Старательно нажимая на педали и перебирая регуляторы, чтобы извлечь из перфорированного ролика мелодию «К Элизе» и начало — всегда только начало — «Лунной», думал при этом, что манипуляции с музыкальным инструментом чем-то похожи на работу машиниста, ведущего сейчас Немецкий составчик к лесам, где режутся импортированные белки, которые, по мнению одного нашего журналиста, большого мастера по части всяких происков, — м-да, опасный конкурент! — грозят вызвать эпидемию бруцеллеза и сгубить весь наш национальный рогатый скот, и без того, впрочем, довольно хилый и жалкий на вид, ибо, как показала практика, у местных худосочных коров подкашивались задние ноги при встрече с многопудовыми быками-симменталами, привезенными из Шароле, и добрые намерения последних улучшить здешнюю породу оказывались, увы, бесплодными.

«Ну и война, мой Президент!» — вздыхал каждое утро Доктор Перальта, закуривая после крепкого кофе свою первую дневную сигару. «Ужасная, ужасная, — отвечал Глава Нации, обращаясь мыслями к Немецкому составчику. — И конца ей не видно...» Но однажды он узнал, что в столице ресторанные стратеги задали пир на весь мир, не скупясь на вино и чурраско, при получении телеграммы о том, что «Матэн» недавно опубликовала сообщение на восьми колонках с поистине сенсационным заголовком: «Казаки в пяти переходах от Берлина». «Теперь, выходит, объявились новые защитники «Латинидад» — казаки вместе с сипаями и сенегальцами, которые уже ввязывались в это дело», — заметил Перальта с ехидной усмешкой. «Хоть бы застряли в пути!» — проворчал его собеседник, думая о том, что благодаря всеобщему интересу и ажиотажу, которые вызвала эта страшная война, внимание народа привлечено к событиям, происходящим где-то в большом и чуждом

мире. Покой и благодать снизошли наконец на Главу Нации под сенью пушек, готовых к бою.

Х

...хотя многие вещи и могли бы нам показаться в высшей мере необычайными и смешными, они тем не менее уже введены и приняты другими великими народами.

Декарт

Проходили недели, а Глава Нации не покидал своей резиденции в Марбелье, решая государственные дела в помпеанского вида беседке, окруженной апельсиновыми деревьями большого сада. По утрам он отправлялся на прогулку вдоль берега на Олоферне, холемом гнедом коне, который кусал и лягал всех, но был заискивающе ласков с хозяином, потому что хозяин ежедневно и собственноручно поил его английским пивом — марки «Гиннесс», кажется, — из бочки, появление которой всегда вызывало радостное ржание. У Президента имелись все основания быть довольным жизнью, ибо никогда его государство не знало такого благоденствия и процветания, как в эту пору. Европейская война, которая, по правде сказать — хотя об этом лучше и не говорить, — оказалась благословением божьим, взвинтила цены на бананы, сахар, кофе, гуттаперчу, благодаря чему невиданно разбухли банковские счета, десятикратно увеличились состояния, появилась такая роскошь и такая изысканность вкусов, о чем до недавнего времени можно было только мечтать, читая романы из великосветской жизни или любуясь такими почти сказочными гуриями, как Габриэль Робин, Пина Меничелли, Франческа Бертини или Лидия Борелли, без которых не обходился ни один фильм. Окруженная дремучими лесами столица сама превратилась в массив лесов — строительных — и стропил, нацеленных в небо; в город с тарахтящими лебедками и землечерпалками, с непрерывным визгом блоков, громоханием молотов, бьющих по железу и стали, звоном клепки и стуком колотушек, шуршанием сухого цемента. И все это сопровождалось криками рабочих где-то наверху и криками рабочих где-то внизу, свистками, сиренами, скрипом повозок с песком и громким урчанием моторов. Магазины выросли за одну ночь, вдруг являя на рассвете блестящие витрины, где восковые манекены — еще одно нововведение — праздновали первое причастие, демонстрировали свадебные наряды, шикарные туалеты и даже военные мундиры из английского габардина — модели на заказ и готовые — для высших офицерских чинов. Машины, изготовлявшие медовые лепешки у входа на старый королевский рынок, поражали прохожих мерным движением металлических рук, которые месили, раскатывали, резали белое тесто, окропляемое чем-то красным и пахшее ванилем и алтеей. Неистово множились адвокатские конторы, банки, страховые агентства, торговые фирмы, акционерные общества. Теодолит и веревка превращали заливные луга, пустоши и козьи выгоны в земельные участки, строго разделенные, отмеренные, квадратные, на тех местах, что испокон веков звались «Лужайка прокаженного», «Дикое место» или «Хлев тетки Петры», а теперь стали называться «Багатель», «Вест-Сайд» или «Арменоввиль» и делиться на parcelлы, которые существовали только на земельных планах, почти никогда не застраивались и росли в цене при продажах и перепродажах по несколько раз в день в конторах с целыми батареями «ундервудов», с позолоченными вентиляторами, рельефными картами и великолепными макетами, с коньяком и водкой в сейфах; в конторах, где торговались и спорили под звон бокалов, в дыму гаванских сигар,

принимали приглашения женщин, которые-это тоже было великое новшество — по телефону предлагали свои услуги на языке с иностранным акцентом, сулившим утонченные наслаждения, которые шокировали наших — и тем хуже для них — слишком конфузливых проституток, дававших «представление» в классическом стиле, без тени фантазии, без оригинальных находок и удивительных выдумок, чем уже славились другие страны. Пианолы наводнили столицу, накручивая и раскручивая ролики с «Madelon»²⁰¹, «Rose of Picardy» «It's long way to Tipperary»²⁰² от зари до зари. В кабаках, где играли в бридж и домино, в барах, где ром «Санта-Инес» уступил место виски «White Horse», говорили только о доходах, которые благодаря войне заставили забыть самую войну, хотя весь народ: белые, чоло, самбо, индейцы, «приэто», «тостадо», и прочие — все стали галломанами, трехцветниками, реваншистами, жанна-д'аркеанцами, кокардистами и барресистами, утверждая, что скоро мы оправимся от Седанской катастрофы и снова вернутся аисты из поэм стихотворца Анси на колокольни Эльзаса и Лотарингии. В ту же пору вырос и первый небоскреб — пять этажей с аттиком — и незамедлительно началось строительство восьмизэтажного здания под именем «Дом-Титан». А старый город со своими двухэтажными домиками обернулся городом-Невидимкой. Да, Невидимкой, потому что столица, превратившись из горизонтальной в вертикальную, скрыла его от глаз людских, от любопытных взоров. Каждый архитектор, которому поручали возводить новые здания выше прежних, заботился о художественном облике лишь своего фасада, словно бы этим фасадом можно было любоваться со стометрового расстояния, тогда как улочки, где не могли разминуться две повозки или два экипажа, а вьючные животные шли только караваном, были шириной не более шести-семи вар²⁰³. И вот, задрав голову у какой-нибудь бесконечно высокой колонны, прохожий тщетно старался разглядеть чудеса ее орнамента, оценить которые могли только ястребы да стервятники. Люди «знали», что где-то там, наверху, красуются гирлянды, рога изобилия, жезлы Меркурия или, того лучше, где-то над пятым этажом висится целый греческий храм с конями Фидия²⁰⁴ и прочим, но про то всего лишь «знали», ибо эти королевские роскошества, эти купола, эти украшения царили — город над городом — в сферах, недоступных взору. А еще выше — одинокие, незнакомые, словно изгнанники — торчали изваяния Меркурия (на Торговой Палате) и Минервы, в чье копьё ударяли все летние молнии; торчали статуи возниц, крылатых ангелов и христианских святых, которые господствовали, далекие друг другу и чуждые людям, над хаотическим нагромождением черепичных кровель, шиферных крыш, резервуаров для воды, печными трубами, громоотводами и вышками для подъемных устройств и лифтов. Люди, сами того не ведая, жили в новоявленных Ниневиях ²⁰⁵, в

²⁰¹ «La Madelon» — «Маделон Победы», популярная песня композитора Ш. Бореля-Клера, написанная в ноябре 1918 года.

²⁰² «It's a long way to Tipperary» — английская солдатская песня времен первой мировой войны.

²⁰³ Вара — (исп.) мера длины, равная 83,5 см.

²⁰⁴ ИМЕЕТСЯ в виду Парфенон, возведенный под руководством Фидия (ок. 500–431 до н. э.) и его учеников.

²⁰⁵ Ниневия — город в древней Азии, столица Ассирии. До настоящего времени там сохранились руины огромного дворца.

головокружительных Вестминстерах, в воздушных Трианонах с фигурными украшениями и бронзовыми скульптурами, которые ветшали, так и не успев войти в общение с народом, что там, — внизу, сновал меж портиков, аркад и колоннад, которые несли на себе всю тяжесть недоступных взору композиций. А поскольку все жаждали новизны, те, кто два века прожил в домах колониальной постройки, бросали свое жилье, чтобы поскорее обосноваться в новых зданиях стиля модерн, романского, или а-ля замок Шамбор шестнадцатого века, или ультрасовременный Стэнфорд Уайт²⁰⁶. Поэтому просторные дворцы старого города со своими порталами в стиле платереско²⁰⁷ и высеченными из камня гербами заполнились оборванным, вшивым, обездоленным людом — тут были и мнимый слепой с наемным поводырем, и непробудный пьяница, и хромой аккордеонист с деревянной ногой, и бедняга паралитик, просивший подавание Христа ради. Прекрасные внутренние галереи, закопченные дымом жаровен и перекрытые развешанным бельем, заполнились нечесаными женщинами, голыми детьми, проститутками и бродягами, а патио служили подмостками для спектаклей и ареной для бокса, петушиных боев и выступлений фокусника вкупе с вором-карманником. Сотни автомобилей «форд» — тех самых, что демонстрировались в фильмах Мак Сеннета, — колесили по плохо замощенным улицам, пробираясь среди рытвин, наезжая на тротуары, сваливая лотки с фруктами, разбивая витрины, стремясь развить скорость, невиданную в этих широтах. Всюду спешка, суeta, гонка, нетерпение. За какие-то несколько месяцев войны от масляной лампы шагнули к электрической лампочке, от бадьи для нечистот к унитазу, от ананасного сока к кока-коле, от лото к рулетке, от Рокамболя к кинозвезде Пирл Уайт²⁰⁸, от курьера на осле к почтальону на велосипеде, от коляски, запряженной мулами — с кисточками и колокольчиками, — к роскошному «рено», которому надо было проделать ряд сложных маневров — вперед, назад, вперед, назад, — чтобы развернуться в тесноте этого города и катить дальше по улочке, отныне именовавшейся Бульваром, вызывая панику среди коз, коими еще изобиловали некоторые кварталы, где брусчатые мостовые зеленели аппетитной травкой.

Монахини-урсулилки, освятили местный Лурдский грот, прибегнув к эффектам электрического света, открылся первый дансинг с джаз-бандом, прибывшим из Нового Орлеана; из Тихуаны привезли лошадей и жокеев — для празднично украшенного ипподрома, построенного, на месте болота.

И вот таким образом допотопный городишко, названный «правоверным и достолавным» в Акте Основания (1553), проснулся однажды утром в осознанной уверенности своего превращения в полноправную столицу двадцатого века. Бежали последние змеи — гремучие, мапанары, гадюки и прочие... — из районов городской застройки, умолкли щеглы, и заголосили во всю мочь фонографы. Появились клубы игроков в бридж, залы для демонстрации мод, турецкие бани, биржа и бордель высшего класса, куда не впускали тех, кто выглядел смуглее министра общественных

²⁰⁶ Стэнфорд Уайт (1853–1906) — американский архитектор, по проектам которого возведено несколько зданий в Нью-Йорке.

²⁰⁷ Платереско — архитектурный стиль, возникший в Испании в начале XVI века. В колониальную эпоху получил распространение в латиноамериканских странах.

²⁰⁸ Пирл Уайт (1889–1938) — американская актриса, прославившаяся после исполнения главной роли в сериале «Судьба Полины» (1914).

работ, избранного эталоном, видимо, потому, что если он и не был паршивой овцой в кабинете министров, то, несомненно, был там овцой самой темной. Полицейские сменили залатанные башмаки на уставные ботинки и мановением белоперчаточной руки останавливали или пропускали транспорт, шумовая гамма которого обогатилась таким разнообразием клаксонов, что на их резиновых грушах можно было сыграть вальс из «Веселой вдовы» или первые такты Национального гимна...

Глядя на этот город, который рос и разрастался, Глава Нации порой не мог подавить грусть, одолевавшую его при виде пейзажа, менявшегося за окнами Дворца. Он сам участвовал в крупных операциях по купле-продаже недвижимого имущества при посредничестве Доктора Перальты и строил здания, разрушавшие панораму, с незапамятных времен так тесно связанную с его судьбой, что изменение привычных взору картин, о чем порой напоминала Мажордомша Эльмира — «Взгляните сюда», «Взгляните туда», — разило в самое сердце, как дурное предзнаменование. Воздвигнутые недавно фабричные трубы кромсали, рассекали отнюдь не эстетичную сеть телеграфных проводов, теперь уже, казалось, созданную самой природой. А вулкан, Вулкан-Старец, Вулкан-Покровитель, Жилище древних богов, символ и эмблема, чей конус запечатлен на Гербе нации, становился непохожим на вулкан — тем более на жилище древних богов, — когда туманным утром высывал свою царственную голову с робостью униженного монарха, короля без свиты, из-под одеяла густого дыма, которым его прикрывали четыре высоких жерла большой электростанции, недавно расположившейся по соседству с ним. Устремляясь вниз по окружности, дробя на части склоны гор, холмы долины и леса, город брал в кольцо своего властелина. А поскольку городское население росло за счет стекавших сюда из провинций крестьян, поденщиков и ремесленников, влекомых процветающей столицей, здесь росли и полчища хворых стариков, людей, измученных малярией; золотушных детей, истощенных паразитами и служивших в очередную эпидемию первой добычей злостных гриппов, неизвестно откуда являвшихся. Частые похороны, гробы и траур обтекали Президентский Дворец со всех сторон. «Опять Совушка пожаловала!»²⁰⁹ — восклицала Мажордомша Эльмира, завидев катафалк, державший путь на кладбище. «Чур меня!» — отвечал заклинанием Глава Нации, подворачивая на обеих руках указательный палец под средний, чтобы отвести напасть. «Да вас самому Напольону не одолеть», — утешала его Мажордомша, наградившая бессмертием персону, чье имя было для нее воплощением наивысшей власти, дарованной Богом существу человеческому, потому как вышел «Напольон» из низов, родился, по слухам, как Христос, в яслях, а подчинил себе весь мир, не перестав при этом быть добрым сыном, добрым братом, другом своим друзьям (даже прачку щедротами своими не оставил, когда сделался великим человеком!), и всегда знавал толк в настоящих бабах, вроде той, с карибских берегов²¹⁰, которая подцепила его, не знаю где, но знаю только, что хороши мулатки и чолы, сам бес у них в паху сидит, и кто с ними свяжется, ох... (Бывало, мужчины всё на свете бросали, бежали из дому, голову теряли, услышав «Молитву к Одинокой Душе», молитву, которую знают Женщины Великой силы и повторяют ее при закрытых дверях и зажженной лампе столько раз, сколько зерен в четках: «Псом бешеным беги за мною. Аминь...»)

²⁰⁹ В некоторые страны Латинской Америки сова служит символом несчастья.

²¹⁰ Имеется в виду Жозефина, первая жена Наполеона Бонапарта, уроженка острова Мартиники.

После долгих размышлений Глава Нации с поистине юношеской энергией — энергией, которой на кое-что другое уже не всегда хватало в его годы, — взялся за дело, каковое должно было стать великим творением правителя-созидателя и запечатлеть в камне эпоху его правления: он счел нужным преподнести стране Национальный Капитолий... Приняв это решение, Президент было задумал провести открытый международный конкурс с приглашением всех желающих архитекторов, чтобы иметь возможность сравнивать идеи, планы и проекты. Но едва лишь распространилось известие о конкурсе, как местные архитекторы, недавно создавшие свою коллегия, заявили протест, утверждая, что с такой-то задачей они — и сами справятся. И начался затяжной процесс обсуждений, с бесконечными критическими замечаниями и предложениями, в ходе которых будущее здание — его внешний вид, стиль и пропорции — подвергалось многочисленным метаморфозам. Сначала выплыл Греческий храм, уснащенный дорическими колоннами — с тридцатиметровыми стволами без оснований — пародия на Парфенон в масштабах Ватикана. Однако Главе Нации вспомнилось, что Кайзер Вильгельм, сие воплощение прусского варварства, очень любил подобные эллинские громады и даже владел Аквилеоном парфенонского типа на острове Корфу. Кроме того, греки не додумались до купола, а Капитолий без купола не Капитолий. Лучше обратиться к вечному Риму, матери нашей культуры. Поэтому наши архитекторы резво перескочили от колонны дорической, даже не задев ионическую, прямо к колонне коринфской и предложили купол, сходный с тем, что украшает Дворец юстиции в Брюсселе. Но, увы, полукружье — с двумя секторами для Палаты и Сената — явно напоминало амфитеатры Дельфийского храма Аполлона и Эпидаврского храма Эскулапа и потому выглядело слишком суровым, мрачным и несовременным, особенно без трибун для публики, чье присутствие в подобном месте отвечало основному требованию демократии. Один национальный архитектор, сменивший двух предыдущих национальных архитекторов, которые уже были дискредитированы и впали в немилость вследствие гнусных происков многих других национальных архитекторов, вдохновился какой-то английской иллюстрацией к «Юлию Цезарю» Шекспира и сделал проект амфитеатра в романском духе, с колоннадой наверху, что сначала было одобрено Советом министров. Однако вскоре вспомнили, что наша страна — крупнейший поставщик красного дерева и что наше красное дерево — с древесиной огненной, багровой — должно быть широко использовано при постройке такого монументального здания: для его обшивки, резных — украшений; трибун, — лестниц, скамей, парадных дверей, мест для председателей и т. п. в обеих частях амфитеатра.

Но так как римляне никогда не применяли дерево в подобных целях, возник пятый проект Капитолия, в основу которого был положен неоготический стиль парламентского Дворца в Будапеште. Однако ввиду того, что Австро-Венгерская империя вела войну против «Латинидад», отвергли и этот план, тут же вспомнив о гении Эрреры и о впечатляющей громаде Эскуриала²¹¹. «Выбросить из головы, — возразил Глава Нации. — Сказать «Эскуриал» — значит сказать «Филипп Второй», а сказать «Филипп Второй» — это значит сказать: «Сожженные на кострах индейцы, закованные в цепи негры, казненные герои-касики, погибшие под пытками вожди и пресловутые суды инквизиции»...»

²¹¹ Проект дворца-монастыря Эскуриала, построенного по приказу Филиппа II в XVI веке зодчими Хуаном де Эррерой и Хуаном Батистой де Толедо.

Проект номер пятнадцать был отклонен из-за того, что архитектор переусердствовал в своем рвении, применить для облицовки национальный мрамор, недавно найденный в районе Нуэва Кордобы, и здание воскрешало в памяти Миланский собор, а подобная церковная реминисценция могла вызвать неудовольствие масонов, вольнодумцев и других людей, с чьим мнением приходилось считаться. Проект номер восемнадцать был назван непристойной копией Парижской Оперы. «Конгресс — не театр», — сказал Глава Нации, сбрасывая на пол чертежи со стола Совета. «Бывает...» — пробормотал за его спиной Доктор Перальта.

Наконец после долгих размышлений и дискуссий, многих предложений и контрпредложений был принят Проект номер тридцать один, который предлагал самое простое решение: контур — примерно как у вашингтонского Капитолия, интерьер — с использованием национальной древесины и национального мрамора, а если последний окажется не так хорош, как считается, заменить его мрамором, закупленным в Карраре, хотя для публики он останется мрамором национальным...

И подготовка дня Столетия Независимости ознаменовалась началом строительства — закладкой Первого Камня и торжественными речами, в которых на самой высокой ноте прозвучали все относящиеся к теме пустопорожние слова. Но оставалась еще одна проблема: под самый купол должна была подняться монументальная статуя Республики. Все национальные ваятели тотчас предложили свои услуги. Однако Глава Нации знал, что никто из них не способен создать подобную скульптуру.

«Как жаль, что умер Жером! — сказал он, думая о своих «Гладиаторах». — Это был мастер». — «Зато жив Роден», — заметил Доктор Перальта — «Нет, Родена не надо... Скульптор великий, ничего не скажешь. Особенно в искусстве голого реализма... Но если он сфабрикует для нас нечто вроде своего нагого Бальзака, мы сядем в лужу... Отказаться нельзя, там, в Париже, засмеют, а не откажешься — хоть беги из собственной страны...» — «Запретите всякие комментарии в прессе». — «Это противоречит моим принципам. Ты сам знаешь. Подлых изменников — стрелять и рубить. Но допускать полную свободу критики, полемики, дискуссии и ученых споров в сфере, касающейся искусства, литературы, поэтических школ, классической философии, загадок Вселенной, тайн древних пирамид, происхождения Человека в Америке, концепций Красоты и тому подобных вещей... Это и есть культура...» — «А в Гватемале наш друг Эстрада Кабрера²¹² создал культ Минервы, воздвиг ей храм...» — «Прекрасная инициатива великого властителя...» — «...и вот уже восемнадцать лет он у кормила Власти...» — «...именно поэтому. Однако его Афина Паллада не имеет ничего общего с той статуей, что в Европе...»

В полном расстройстве Глава Нации послал письмо Офелии, которая вернулась в Париж после того, как в течение нескольких месяцев колесила по андалузским пастбищам, вдруг так же помешавшись на быках, манипуляциях с плащом и канте-хондо²¹³, как прежде теряла голову от представлений в Байрейте или Стрэтфорд-он-Эвоне. Не питая ни малейшего пристрастия к эпистолярному общению, которое нескромно демонстрирует орфографическую немощь и не раз ее подводило,

²¹² Эстрада Кабрера, Мануэль — диктатор Гватемалы с 1899 по 1920 год.

²¹³ Канте хондо — стиль народного пения в Андалузии.

Инфанта ответила телеграммой, содержавшей два слова: «АНТУАН БУРДЕЛЬ»²¹⁴. «Не знаю такого», — сказал Доктор Перальта. «Я тоже, — сказал Глава Нации. — Видимо, кто-то из богемы, ее приятель». И, чтобы развеять сомнения, обратился к Именитому Академику с просьбой о более детальной информации. Обратная почта доставила фотографии рельефов, сделанных скульптором для монументальной отделки Театра Елисейских полей в 1913 году. Одна из работ, аллегорически изображавшая музыку, особенно не понравилась Перальте своей неестественностью, надуманностью, манерностью композиции: две фигуры словно насильственно втиснуты в замкнутый четырехугольник — нимфа, которая скорчилась над скрипкой, но никак не дотянется до нее смычком, зажатым в заломленной за голову руке, и паукообразный остроугольный сатир — скорее энтомологической, нежели греко-мифологической принадлежности, — который дует в огромную свирель, более похожую на ствол пулемета 30/30, чем на источник безыскусных мелодий. К фотографиям был приложен номер «Газетт-де-Боз-Арт» со статьей, где подчеркивались красным карандашом высказывания известного критика Поля Жамо о том, что сей ваятель создает свои произведения не в архаической манере, а тяготеет «к неотесанности в германском духе», sic.²¹⁵

«Германском, германском! Нашла кого рекомендовать нам сейчас! Эти игры с быками превратили ее в полнейшую дуру. Ни капли политического чутья... — Президент не упустил из виду и фонетический аспект проблемы. — А кроме того, нам абсолютно не подходит его фамилия. Бурдель. Подумай, как это будет звучать по-испански». — «Совершенно верно! — сказал Перальта. — Сначала его будут именовать Бооурдель. А потом станут называть правильно»... И начнут тогда чесать языки мои заклятые друзья... Мы сами поднесем им подарок на серебряном блюде: мол, это не Капитолий, а ...; не Республика, а ...; не правительство мое, а сплошной... Нет, и думать нечего!» — «Нам надо обратиться к Пеллино», — подал мысль Перальта. И вот этот итальянский мастер по мрамору, поставщик широкого ассортимента ангелов, крестов и склепов для кладбищ; скульптор, которому многие наши весьма довольные его работой города обязаны неподражаемыми памятниками героического и религиозного характера, горячо рекомендовал одного миланского ваятеля, произведения которого были отмечены наградами в Риме и Флоренции и который специализировался главным образом на монументальной скульптуре, городских фонтанах, патриотических мемориалах, конных статуях и вообще предпочитал искусство официальное, серьезное, торжественное, с исторически точно воспроизведенными мундирами» если того требуют обстоятельства; с достойно прикрытой наготой, если вообще нагота нужна для какого-либо аллегорического образа; в своих изобразительных средствах понятный всем и предпочитающий эстетические принципы отнюдь не устарелые, но и не слишком модернистские, ибо известно, что модернизм в пластике тех времен являлся предметом ожесточенных споров. Альдо Нардини — так звали скульптора — прислал эскиз, который немедля был одобрен Советом министров: Республика была представлена в виде гигантской пышнотелой женщины в греческих одеждах, опиравшейся на копье — символ

²¹⁴ Бурдель, Эмиль Антуан (1861–1929) — французский скульптор, экспрессивность ранних работ которого уступила в зрелом творчестве место монументальности с опорой на греческую архаику и раннюю классику Возрождения.

²¹⁵ Так-то (*лат.*).

бдительности; с лицом благородным и строгим, как две капли воды похожим на лицо ватиканской Юноны; с двумя массивными грудями, одной — прикрытой, другой — обнаженной, служившими символом плодородия и изобилия. «Гениальностью не пахнет, но всем понравится, — заключил Глава Нации. — Выполняйте...»

Долгие месяцы занял процесс лепки форм и отливки статуи, сопровождавшийся регулярными сообщениями в газетах о ходе работ, пока наконец однажды утром в гавани Пуэрто Арагуато не пришвартовался корабль из Генуи, доставивший Гигантскую Матрону. Толпы любопытных собрались у мола в ожидании ее появления. Но жаждавших увидеть статую в натуральном виде, такой, какой она будет возвышаться в Капитолии, постигло некоторое разочарование при известии о том, что ее привезли не целиком, а кусками, дабы потом собрать на месте установки. Но зрелище и без того было весьма впечатляющим. Портовые краны подняли канатные крючья, опустили их в трюмы, и скоро под общий вздох восхищения появилась из темных недр Голова, поплывшая по воздуху, а вслед за ней взвились вверх другие части тела. Левая нога с соответствующим фрагментом задрапированной Ляжки, Правая рука с обломком копья, Массивный живот с бороздой жизни, эффектно оттененной в бронзе; Прикрытая левая грудь — сразу за Правой ногой илевой рукой, а за ней ввысь полез огромный Фригийский колпак, которому надлежало увенчать Республику. Но тут как раз прозвучал гудок: двенадцать часов. Краны замерли, грузчики оставили работы и отправились обедать. Народ, однако, не расходился. И было из-за чего: в чреве корабля оставалось еще кое-что вызывавшее интерес, В два часа пополудни вернулись рабочие, и из трюма под аплодисменты и восторженные возгласы выплыла Обнаженная правая грудь Великой женщины и с торжественной, неторопливостью опустилась на землю. Затем все составные части тела были водружены на грузовики и доставлены к товарному составу, на платформах которого распласталась Исполинша в эстетически невыносимом виде — по куску туловища на вагон, и, хотя она являла собой женское тело, гармоничным сложением похвастать не могла. Вагон первый — Фригийский колпак; второй — Плечо с Прикрытой левой Грудью; третий — Голова; четвертый — Плечо с Обнаженной правой грудью; пятый — Массивный живот... А далее в хаотическом беспорядке — бедра, руки, ноги в греко-креольских сандалиях, три обломка копья; локомотив впереди и локомотив сзади, ибо состав был так тяжел, что железнодорожники выражали опасение, сумеет ли эта бронзовая машина дотащиться доверху и перевалить через Вершины, где из-за обильных ливней дорогу уже не раз перекрывали оползни и обвалы... Однако Республика прибыла наконец в столицу, и таким образом Страна, вместо того чтобы обзавестись монументом Бурделя, сделалась обладательницей статуи миланца Нардини, статуи, чей ясный и строгий лик вскоре навсегда сокрылся от людей, потому что из-за чрезмерной величины фигуры голова терялась где-то под куполом, круглая галерея которого посещалась лишь дважды в год рабочими-уборщиками — этими истинными циркачами, слишком занятыми своей эквилибристической работой на головокружительной высоте, чтобы оценить по достоинству все прелести произведения искусства.

XI

Капитолий подрастал. Белый, еще бесформенный колосс, заточенный в клетку строительных лесов, поднимался над крышами города, вознося свои колонны, простирая крылья, хотя, бывало, его сооружение внезапно прекращалось в силу финансовых и других чрезвычайных обстоятельств. Нет, дело было не в экономике

страны, переживавшей невиданный расцвет, а в том, что стоимость материалов росла с каждым месяцем, подсакивали цены на инструменты и оборудование, увеличивалась плата за морские и сухопутные перевозки, и поэтому всегда не хватало отпускаемых на строительство средств, немалая часть которых к тому же незримо оседала в карманах министров и ответственных чиновников Комиссии общественного снабжения и Государственного украшательства, не говоря уже о необходимости часто погашать два чека — один на очень значительную сумму, другой на сумму более скромную, — которые окольным путем пересылались Доктору Перальте из Министерства общественных работ. И вот ни с того ни с сего приостанавливались все работы: аркада замирала без перекрытий, портал — без фасада; замирали долота резчиков по камню, из которого рождались консоли и астрагалы, — и опять нужны были новые ассигнования, введение налогов на шведские спички, на импортные ликеры или на тотализатор, чтобы возобновилось возведение здания. А меж тем в периоды затишья центр столицы превращался в своего рода римский форум, эспланаду Баальбека²¹⁶, террасу Персеполиса²¹⁷ под луной, которая бросала свет на сей странный пейзаж, являвший собою разбросанные глыбы мрамора, фризы с едва намеченной резьбой, обрубки пилястров, груды камней вперемешку с цементом и песком — словно развалины, руины, тлен того, что еще не успело воплотиться в памятник. Но, хотя и без крыши, уже высились в этом хаосе созидания будущего оба сектора великолепного амфитеатра со скамьями для Палаты и Сената и во время строительных пауз их использовали для своих надобностей факультет гуманитарных наук Университета вместе с владельцем Скэтингринка. Поэтому вечерами доносились, бывало, стенания Аякса или вопли Эдипа, этого кровосмесителя и отцеубийцы, из Северного сектора, который занимали студенты под свой Античный театр, а напротив, в Южном секторе, под звуки самого радостного вальса Вальдтейфеля по гроыхающему деревянному настилу кружились Женщины, которые, не пожелав презреть моду ради спорта, ухитрились прикреплять роликовые коньки к туфлям с каблуками а-ля Людовик XV. В проходах и других свободных местах время от времени появлялись бродячий «Музей Дюпюйтрен»²¹⁸, «Грандиозный Паноптикум Эпохи открытия Америки и уничтожения индейцев», скопища собак, кошек или нищих, а наверху, по проволоке, натянутой меж колонн без карнизов, канатоходцы в розовых трико, балансируя шестами с электрическими лампочками, путешествовали от капители к капители над трагедиями Софокла и хороводами танцоров на роликах, не достаивая вниманием эти разыгрывавшиеся где-то далеко внизу спектакли, — канатных плясунов больше тревожило очередное возвращение армии рабочих, которые периодически снова приступали к этому, почти литургическому, возведению Общественного храма, стремясь к его самой верхней башенке.

Так и шло строительство, то прекращаясь, то возобновляясь, когда однажды

²¹⁶ Баальбек — древний город на территории Ливана; в период римской колонизации (с I в. н. э.) на территории города было построено множество храмов. От крепости, в которую был превращен грандиозный храмовый ансамбль в XIII в., сохранились остатки стен и башен.

²¹⁷ Персеполис — город в древнем Иране (основан в VI в. до н. э.). На месте города, разрушенного Александром Македонским, сохранились остатки дворца.

²¹⁸ Дюпюйтрен, Гийом (1777–1835) — французский хирург, именем которого назван патологоанатомический музей в Париже

утром Доктор Перальта с сияющим видом ворвался в личные покои Главы Нации, где Мажордомша Эльмира еще разгуливала в дезабилье. «Чудо, мой повелитель! Чудо! Немецкие подлодки только что пустили на дно «Виджиленс», американское судно! Вся корабельная команда гринго досталась рыбам на обед! Ни один не уцелел! (С хохотом.) Ни один не уцелел, мой президент! Ни один! Всех смели подчистую!.. И хотя еще нет официального подтверждения, известно, что Соединенные Штаты вступили в войну. Да, сеньор, вступили в войну...» И столь велико было ликование обоих, что руки сами собой потянулись к саквояжику Гермеса, и полился рекою ром «Санта Инес». («А я что, хуже?» — сказала Мажордомша и быстро опорожнила стаканчик.) Давно так не радовался Глава Нации, ибо Европейская Война, превратившаяся в войну позиционную, окопную, с упорными и малоэффективными боями за какую-то высоту, за рощицу, за руины уже травой поросшего разрушенного форта; в войну с ничтожными успехами и пустячными отступлениями, с таким количеством убитых, что перестали считать, стала развлечением малозанимательным, чтобы не сказать — скучнейшим. Для тех, кто наблюдал ее отсюда, она, как спектакль, утратила всякий интерес. Прошли времена, когда люди передвигали флажки на картах дальних стран, отмечая победы и поражения, потому что уже не было вестей о каких-либо ошеломляющих победах или поражениях, а если разыгрывалась какая-нибудь примечательная баталия, все происходило в тех же самых пределах Аргонн или Вердена, возле местечек с неизвестными именами — один сантиметр влево или один вправо на картах масштаба 1: 1000, еще валявшихся, запыленных и никому не нужных в редакциях газет. Страна богатела и процветала, вне всякого сомнения. Но жизнь дорожала, и богатство страны отнюдь не вызволяло всегдашних бедняков из их всегдашней нужды: на завтрак жареные бананы, в полдник бататы, к обеду в конце рабочего дня — ломоть хлеба с маниокой или куском копченой козлятины или вяленой говядины (от больной прирезанной коровы) по воскресеньям и дням рождения, — и так далее, несмотря на с виду вполне приличные заработки. Поэтому студенты, интеллектуалы, профессиональные агитаторы — все эти гнилые интеллигенты, которые кого угодно выведут из терпения, мало-помалу стали спланиваться, создавая широкую тайную оппозицию. И когда, казалось, воцарились тишь да благодать, Глава Нации был неприятно удивлен ростом сил своих противников, которые пробрались в столицу и стали напоминать о себе там, где меньше всего их ждали, отравляя настроение и прогоняя сон. О Докторе Луисе Леонсио Мартинесе и думать-то уже перестали. Но вдруг снова стали видеть его руку в листовках, рассылавшихся в конвертах из различных мест с разными марками и сообщавших народу факты, о которых — это было самым неприятным — знали только близкие друзья, посвященные в интимнейшие тайны Президентского Дворца. Слишком поздно стало известно (и этот кретин, Шеф Государственной Полиции, не смог с самого начала пресечь вредительство!), что в Университете на кафедре Новой Истории читались лекции о Мексиканской Революции, шли разговоры о силах пролетариата, о крестьянских лигах, о Профсоюзе арендаторов Веракруса, об аграрной реформе, о социалистическом правительстве Каррильо Пуэрто²¹⁹ на Юкатане и о статьях «авантюриста гринго» Джона Рида — обо всех этих вещах, которые погубили, разорили, осквернили Мексику, эту великолепную страну Дона Порфирио, гуманиста

²¹⁹ Каррильо Пуэрто, Фелипе — губернатор мексиканского штата Юкатан, социалист, расстрелянный в 1924 году местной реакцией.

и цивилизатора, который, вместо того чтобы покоиться в шикарном Национальном Пантеоне, недавно умер, сраженный черной неблагодарностью сограждан, и похоронен в унылом закоулке кладбища Монпарнас. А сверх всего неизвестные анархисты, прибывшие, конечно, из Барселоны, — их наши Секретные службы никак не могли схватить — неуловимыми призраками шныряли по ночам и мелом писали на стенах буквы АСР, видимо, означавшие «Анархо-Синдикалистская Революция» и порой сопровождавшиеся такими приписками, как «Собственность — это грабеж» и другими затасканными лозунгами, которые принимались всерьез уже только в нашей отсталой, обезьяньей Америке...

Теперь же, после блистательного потопления «Виджиленса», в войну должны были вступить Соединенные Штаты, должны были вступить в войну и мы: вновь подогрелось бы патриотическое чувство, и, поскольку война действительно требует введения постоянного чрезвычайного положения, можно было бы устроить под музыку нашего Национального гимна, «Марсельезы», «Боже, храни короля», «Боже, царя храни» и «Звездно-полосатого флага» грандиозную облаву на оппозиционеров — на всех германофилов, во всяком случае, облаву, еще невиданную в нашем государстве...

Затем, всласть подкрепившись ромом, как в добрые старые времена, Глава Нации пригласил Посла Соединенных Штатов и сообщил ему, что наша Республика в эти дни суровых испытаний пойдет рука об руку со своим Великим Северным Соседом и Братом, а затем, после молниеносно проведенного совещания Совета министров, Глава выступил на срочно созванном совместном заседании обеих Палат, где единогласно был одобрен текст Объявления войны Германии и ее союзникам, всякий раз сопровождавшийся аплодисментами после слов «учитывая» и «ввиду чего», которые подтверждали справедливость этой акции...

И в тот же самый день начались военные действия, открывшиеся операцией столь же удачной, сколь быстрой, если судить по трофеям и ее молниеносному проведению: (ровно в пять часов пополудни представители военной администрации Пуэрто Арагуато поднялись на борт, четырех германских кораблей — «Любек», «Гранне», «Шверт» и «Куксхафен», которые стояли здесь на приколе в ожидании распоряжений своего правительства, — наложили на них эмбарго и интернировали команды. Моряки, вне себя от радости, что для них кончилась война, встретили портовые власти криками «ура!» и направились бодрым строевым шагом к месту своего заключения, шумно приветствуя прохожих. Одного офицера-нищеенца, крикнувшего: «Лучше умереть, чем сдать судно!» — они вышвырнули за борт, предварительно отпустив по его адресу ругательство, которое на тевтонском языке, вероятно, означало нечто вроде «Пошел ты...». Пленников разместили на большом огороженном участке земли, где они, развесив свои гамаки между деревьями, тотчас стали выдергивать чертополох и выпалывать сорную траву. На следующее утро из досок, предоставленных им по велению свыше, одни стали мастерить очаровательные шале в ренановском стиле, а другие сажать гладиолусы и утаптывать землю для двух теннисных кортов. Три недели спустя участок целины превратился в образцовую усадьбу. Была там и библиотека с поэмами Генриха Гейне и даже с произведениями не чуждого социалистическим идеям Демеля ²²⁰. Правда, не хватало женщин, но многие

²²⁰ Демель, Рихард — (1863–1920) — немецкий поэт; увлечение идеями социализма сказалось в его ранних стихах (конец XIX в.).

обходились и без них, собственными силами, а что касается непогрешимых упрямцев, то они выхлопотали себе разрешение посещать каждую пятницу заведение Рамоны под конвоем солдат. И поскольку все пленные были очень музыкальны, то, собрав имевшиеся на кораблях инструменты, принялись наигрывать легкие вещички Гайдна, Мендельсона и Раффа — обычно его «Каватину». Иногда какая-нибудь змея — гремучая, кораль или мапанар — посещали концерт, но, всегда вовремя замеченная виолончелистом, который больше всех музыкантов смотрит в землю, погибала от ловкого удара деревянной дужкой смычка по хребту — *col legno*,²²¹ выражаясь профессионально...

Часто в сопровождении всего стройного ансамбля суперкарго с «Любека» выводил приятным тенорком:

Wintersturme wichen
Dem Wonnemond
In milden Lichte
Leuchtet der Lenz...²²²

Вторая операция этой войны имела целью захват Немецкого составчика — операция, которой лично руководил Глава Нации, возглавляя Второй Оперативный саперный полк. На рассвете дня «М» были заняты обе конечные станции — верхняя и нижняя, а также полустанки, семафорные установки, блокировочные посты и т. п. И поскольку железнодорожное сообщение было прекращено до особого распоряжения, Президент обрел наконец возможность выполнить свою заветную мечту: вдоволь позабавиться с паровозиком, отправив в тендер с углем Перальту, сразу лицом почерневшего. Немного разбираясь в механизме управления, он заставлял локомотив то мчаться вперед, то давать задний ход, врываться в депо и выноситься обратно, без усталости маневрировать в поворотных кругах, свистеть, пускать пар из всех клапанов и вентилях и дымить почем зря, застилая гарью все вокруг во время нескончаемых рейсов и остановок, когда хотелось что-нибудь погрузить в вагоны: охапки ли сахарного тростника, бочки или корзинки с кальмарами, бадьи с орехами, пустые клетки или с курицами, контрабас или негров-музыкантов, барабанивших на сухих тыквах. А когда Глава Нации наконец полностью овладел премудростью топки котла, искусством вождения паровоза, регулировки скорости и использования тормозов для точной остановки поезда у заданной точки перрона, Кабинет министров в полном составе был приглашен осуществить первое путешествие в Колонию Ольмедо, где состоялось празднество с доставленными туда пирожками и маисовыми запеканками и, конечно, шампанским, которого вполне хватило, чтобы выпить за здоровье Главного Механика Государства. И так радовался Президент своему умению управлять паровой машиной, что даже забыл на несколько дней о Европейской Войне, потеряв всякий интерес к иностранной прессе, которую регулярно приносил Доктор Перальта и украшением которой был французский журнал «Режиман», где нагая натура чередовалась с наглухо застегнутыми кителями... А тем временем, затмевая успех «Madelon» и «Rose of Picardy», песня «Over There» распространялась по стране с непостижимой быстротой. Вырвавшись из пианол Пуэрто Арагуато, она неслась все

²²¹ Деревянной частью инструмента (*итал.*).

²²² Шторм холодный уступил место радостной поре.
Лучик солнца возвестил о сверкающей весне... (*нем.*).

выше и выше, от граммофона к граммофону, вдоль линии Великой Восточной железной дороги, завладевая консерваторскими фортепьяно, буржуазно-салонными фортепьяно, пианино в кинематографе, пианино в кафе, пианино монахинь, фортепьяно проституток, пока не достигла своего музыкального апогея в воскресных выступлениях военного оркестра в Центральном Парке. «Over There, Over There, Over There»...

Огромные плакаты, на которых североамериканский солдат втыкал штык в невидимого врага с энергичным криком «Come on!»²²³, убедительно призывали покупать облигации военного займа, имевшего в стране такой успех, что некоторое время спустя Посол Ариэль смог торжественно преподнести Президенту США Вудро Вильсону целый миллион долларов, собранный менее чем за месяц. В кино шли документальные фильмы о героических подвигах Генерала Першинга²²⁴, того самого, что не так давно провел нашу шумевшую «карательную операцию» в Мексике. «Over There, Over There»... А затем, кроме «Over There», зажигательные марши Союзы с басистым ревом труб и трелями флейт-пикколо. Один молодой офицер, энтузиазм которого горячо поддержало Правительство («Лишь на войне мужает молодежь, — сказал Глава Нации. — Война для мужчин то же, что роды для женщин»), задался целью сформировать Легион национальных добровольцев, чтобы ехать воевать во Францию — под его командой, разумеется. Вооруженные столкновения, конечно, таят в себе опасность, но несут с собой и много развлечений. В доказательство всего было достаточно прочесть статью Мориса Барреса, перепечатанную всеми местными газетами: «В окопах царит приподнятое настроение. Понятно, что по ночам, когда льет дождь, это вам не залы роскошного ресторана... Однако я знаю такие места, где в восьмикилометровом лабиринте прекрасных окопов переходы получают такие названия, как Елисейские поля или Рю Мосье ле Пренс. Я видел такое подземное убежище, где офицер сидит в кресле с обивкой из красного бархата за столом с букетами роз и ест из тарелок старинного страсбургского фарфора. Землянки обставлены мебелью, перенесенной из руин разбомбленных поселков. В окопах царит веселье» [sic!]. Такие сочинения рядом с изображениями бенгальских уланов, молодежавших берсальеров, казаков, недавно ставших республиканцами, — всех, кто снова с удвоенной энергией ринулся на Германию, где голодающий народ питался одним хлебом из соломы и опилок, — подобные сочинения, уместно снабженные фотографией Офелии, которая в одежде сестры милосердия из Красного Креста (ничего не скажешь: лучезарная креолка, подлинная чула!) перевязывает лоб раненому англичанину, — подобные сочинения вдохнули жизнь в новоиспеченное военное подразделение из двухсот пятидесяти юнцов, жаждавших побывать на Эйфелевой башне, в «Мулен Руж» и в ресторане «У Максима».

«Теперь они там увидят, чего стоят наши парни», — сказал Перальта. Однако публика была обескуражена, когда узнала через несколько недель, что рать ее страны, прибыв туда, была включена во французские воинские части и что молодой офицер, оставшийся без подчиненных, вернулся в ужасе и ярости домой, утверждая — а ведь он видел все своими глазами, — что союзники проиграют эту войну, несмотря на

²²³ Рази! (англ.).

²²⁴ Першинг, Джон Джордж (1860–1948) — американский генерал; в 1916–1917 годах возглавлял карательную экспедицию войск США в Мексику против отрядов Панчо Вильи; в первой мировой войне командовал американскими частями во Франции.

американскую помощь и тому подобное, ибо там — сплошная неразбериха и хаос. Но нашу публику меньше всего интересовал вопрос, проиграют или выиграют войну союзники; гораздо важнее было то, чтобы эта война длилась как можно дольше. Еще бы годика три, четыре, пять лет войны — и мы стали бы великой нацией. Впрочем, с заутрени до вечерни, от первого удара колокола на заре до колокольного звона в сумерки сограждане молились за Мир, хотя и следуя при этом новому распространенному обычаю, который трудно объяснить иностранцу, то есть осеняя себя таким крестом, когда средний палец ложится поверх указательного. Ведь в конечном итоге то, что происходило в Европе, случилось не по нашей вине. Мы не были в ответе за чужие дела. Старый Свет хотел показать пример благоразумия и сел в лужу. И если наша страна в ту пору нежданно-негаданно вступила в эпоху расцвета и обогащения, это было лишь доказательством того, что Всемогущий Господь бог, как сказал Архиепископ в своей страстной проповеди, пожелал вознаградить тех, — кто отверг пустые философские учения, лишь пеплом осыпавшие сердца человеческие; кто отринул нечестивые и подрывные социальные доктрины, чуждые нашему национальному своеобразию; кто сумел сохранить религиозные и патриархальные традиции Нации, — так сказал Прелат и взмахнул рукой, откачнув в сторону деревянного голубя Святого Духа, висевшего над ним, и указав перстом на Главу Нации, который тем утром присутствовал в Соборе.

Строительство Капитолия близилось к концу. Сдавленная стенами дворца, слишком узкого, несмотря на свою монументальность, чтобы служить ей удобным жилищем, эта Исполинша, Титанша, Колоссальная женщина — одновременно Юнона, Помона, Минерва и Республика — росла не по дням, а по часам внутри своей все более сжимающейся обители. Каждое утро она становилась заметно выше, как растения дремучей сельвы, которые невероятно быстро растут по ночам, стараясь успеть дотянуться к рассвету до неба, куда их не впускают кроны деревьев. Сжатая, стиснутая камнем, в который ее заточали, она казалась вдвое более тучной, более дородной, более высокой — гораздо выше, чем была бы, если бы ее собирали из кусков под открытым небом. Купол уже прикрыл ей голову величественным фонарем, скопированным с Дома Инвалидов в Париже, уже освещенным изнутри — маяк и эмблема, — царившим в городской ночи, жестоко уничтожая башни Собора, которые стали теперь такими низкими и жалкими, что не могли вести «беседу, завязанную ими с далекою вершиной Вулкана-Покровителя», — как выразился один наш великий поэт прошлого столетия...

Строительство шло к концу, но не так быстро, чтобы могло быть закончено, как это намечалось, к знаменательной дате — празднованию Столетия Независимости, которое было не за горами. В тот день, когда проблема сроков бурно обсуждалась на заседании Кабинета министров, Глава Нации, внезапно вскипев гневом, тут же снял Министра общественных работ с его поста, пригрозив остальным ссылкой и тюрьмой, если здание не будет завершено, расписано, отшлифовано, отделано, окружено садами и прочим точно В срок... И тогда обратились к трудовому опыту египтян. С помощью сотен пригнанных сюда и размещенных в бараках крестьян, впрягавшихся в волокуши и повозки, выходивших посменно при звуке рожка на работу, стали подниматься колонны, которые еще не были подняты; воздвигаться обелиски, возноситься на высочайшие фризы боги и солдаты, музы и касики, танцоры и капитан-генералы в шлемах и латах, всадники и греческие воины. Полировалось то, что надо было полировать; золотилось то, что надо было золотить; красилось то, что надо было

красить. Работали днем и ночью, при свете фонарей и прожекторов. Кругом был такой стук и звон, что неделями город жил будто в кузнице, между молотом и наковальней, особенно когда высекали из мрамора ступени парадной лестницы. А как-то однажды в город въехали Королевские пальмы — лежа, растянувшись на грузовиках с прицепными повозками, подметая кронами тротуары, вздымая пыль на перекрестках, пока наконец их не воткнули в глубокие ямы, которые забили черноземом, песком и удобрениями. За пальмами, как лес в «Макбете», вырастали низкорослые сосенки, кусты букса, пальмочки-ареки, которые съезжались со всех сторон в город, сюда, где их встречали сотни людей с лейками в руках и подпорками наготове, но, по правде говоря, без особой уверенности в том, что листья сохранят цвет и свежесть к Великому Дню. «Желтые листья подмалуйте зеленым заранее. Они прекрасно выдержат слой краски «лефранк» часов десять», — сказал Глава Нации. Тем временем строители и надсмотрщики, кося глазами на часы и календари, дрожа от нетерпения и шатаясь от усталости, крича на людей, как каудильо, и пиная людей, как работорговцы, торопились вовсю, пока наконец возведение здания не подошло к финалу, который был достойно увенчан еще одной государственной затратой: у подножия статуи Альдо Нардини в самый центр зелено-розовой мраморной звезды был вставлен крупный бриллиант от Тиффани, дабы он служил Исходной Точкой, Пунктом Ноль автострад Республики в этом идеальном месте слияния всех шоссежных дорог, запланированных Правительством для связи Столицы с самыми отдаленными областями страны...

И вот в тот долгожданный вторник Столица проснулась с полным ощущением своей Столетней Независимости — блестящая, отмытая, принаряженная флагами, штандартами, знаменами, гербами, эмблемами и символами, дешевыми аллегориями и картонными конями в память о великих сражениях. Были и сто орудийных залпов на рассвете, ракеты и фейерверки над домами, ликование во всех кварталах города, большой военный парад и оркестры, множество оркестров — местных полковых и провинциальных, которые по окончании официальной церемонии продолжали греметь целый день в городских парках и на уличных эстрадах, передавая по кругу, с посыльным, партитуры — их было немного, считанные экземпляры, — которые в основном являли собой народные песни, патриотические марши и порой отдельные классические вещи — как говорится, «вне программы», — тщательно отобранные Главой Нации с помощью Директора Национальной консерватории. Естественно, никакой немецкой музыки, а тем более Вагнера, казалось, навеки изгнанного из симфонических концертов Парижа после того, как композитор был назван в безапелляционных статьях Сен-Санса²²⁵ злосчастливым и мерзким воплощением германского духа. Бетховена в ту пору лучше было тоже не трогать, хотя кто-то осмелился заметить, что Германия в его эпоху была все же немного иной, чем при Гинденбурге. И потому на площадях и эстрадах, в парках и на уличных перекрестках чередовались увертюры к «Цампе»²²⁶ и «Вильгельму Теллю», «Эльзасские сцены» Масснэ и «Родина» Паладила²²⁷, «Тореадор и андалузка» Рубенштейна — в

²²⁵ Во время первой мировой войны французский композитор Шарль Камиль Сен-Санс выступал с критикой произведений немецкого композитора Рихарда Вагнера.

²²⁶ «Цампа, или Мраморная невеста» — комическая опера французского композитора Луи Жозефа Фердинанда Эрольда (1791–1833).

²²⁷ Паладиль, Эмиль (1844–1926) — французский композитор, автор опер, месс, симфоний и романсов. Оперу «Родина» создал в 1886 году.

репертуаре должен был присутствовать и русский автор — и «Серенада» Викторина Жонсье, серенада, которая перестала быть «венгерской»²²⁸, ибо мы находились в состоянии войны с Центральными Державами, и по тому же самому «Венгерский марш» Берлиоза с его ошеломительным барабанным боем преподносился просто под названием «Марш»...

Суматошный и веселый день: спиртное кувшинами, телячьи туши над огнем, жареный маис бесплатно, пиво большими бочками, игрушки для бедных детей, ленточки и бантики, хоры в Национальном Пантеоне, богослужения во всех церквях, танцы у семейного очага и в питейных заведениях, на улицах и в публичных домах — под аккомпанемент всех пианол, фортепьяно, граммофонов и маракас, бродячих музыкантов. Сплошь музыка и радость в ожидании торжественного открытия Капитолия, где, в Великом Полукружии, соберутся Члены Правительства, Командующие всеми родами войск, Дипломатический корпус и элегантная Публика, тщательно процеженная, обрамляемая и обозреваемая легионом агентов, хранителей нашей Безопасности, облаченных по сему случаю в смокинги, слишком одинаковые, чтобы отличаться от форменной одежды.

Настал час пышного праздника, где были выставлены напоказ все парадные мундиры, эполеты, золотое шитье и ордена: Орден Изабеллы Католической, Карла III, немало орденов Почетного легиона, «Honni-soit-qui-mal-y-pense»²²⁹ и других подвязок и крестов, изобретений Густава Адольфа²³⁰, и даже таких экзотических знаков отличия, как «Дракон Аннама», «Орден Водяной лилии» и «Арки победы», недавно пожалованные нашим высшим должностным лицам. Прозвучал Национальный Гимн, и на трибуне появился Глава Нации, да, действительно, тем вечером он имел поразительно самодовольный и внушительный вид — при всех регалиях, соответствующих его Высокому чину. Речь свою он, как всегда, начал в замедленном темпе, сопровождая ее жестами заправского актера и не менее заправского оратора и законченного адвоката, рисуя точную и грандиозную схему нашей истории с времени Конкисты до Независимости. И те, кто ожидал с затаенным злорадством услышать его обычно цветистую словесность, его замысловатые эпитеты, его страстные призывы, были ошеломлены, услышав, как изящно он перешел от вполне сдержанного обращения к памяти об эпическом прошлом к сухому миру цифр, которые он стал выкладывать с педантичностью экономиста, чтобы показать ясную и убедительную картину национального процветания, хотя оно и совпало — здесь наконец его голос дрогнул от волнения, — совпало с решительной попыткой разрушить великую Греко-Латинскую культуру, которая зародилась где-то на заре человечества. Но эта великая культура будет спасена. Уже недалеко победа наших духовных прародителей, и она сохранит непреходящие культурные ценности, которым там грозит опасность и которые воссоздаются в невиданном блеске по эту сторону Океана.

²²⁸ Одно из сочинений французского композитора Феликса Викторина Жонсье (1839–1903) называлось «Венгерская серенада».

²²⁹ Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает (*фр.*).

²³⁰ Густав II Адольф — король Швеции с 1611 по 1632 год, полководец и военный реформатор, введший новые знаки отличия.

И любуюсь, и приглашая полюбоваться сим грандиозным строением, где находились гости, сим воплощением в камне мраморе и бронзе классических заповедей греко-латинской — Витрувий²³¹, Виньола²³², Браманте²³³ — архитектуры, Глава Нации ускорил ритм своей речи, наращивая ее бравурность, размашисто жестикулируя и внезапно возвратясь к тому пышно орнаментированному, помпезно-барабанному стилю, над которым так потешались его противники. И, завершая свое обращение к Той, что, будучи Вершиной всего Разума и всей Мудрости, должна была быть превыше всех и вся — даже самой Республики — в этом только что возведенном Общественном храме, он разразился следующей вдохновенной тирадой: «О, Богиня Афина, идеал, воплощаемый гением человеческим в великих произведениях искусства, я предпочитаю быть последним в твоём обиталище, чем первым в прочих местах! Да, я восстану из стилобата твоего храма, я отрину всякое наставление, кроме твоего; я стану жить стилитом на твоих колоннах и устрою себе келью на твоём архитраве. Но — как это ни трудно! — во имя тебя я сделаюсь, если смогу, нетерпимым и пристрастным! (Публика затаила дыхание.) Я буду, может быть, несправедлив, но именно ради справедливости и ради тебя; и я никогда не перестану быть слугой ничтожнейшего из твоих сынов. Я буду прославлять, восхвалять нынешних обитателей земель, которых ты дала Эрехтею²³⁴. Я приложу все свои силы, чтобы любить их, даже с их грехами, и заставляю себя видеть в них — о Гиппий! — потомков тех всадников, что торжествуют там, наверху (палец вверх), свою бессмертную победу в мраморе твоих рельефов...»

На этом речь Главы Нации, кажется, закончилась. Публика, стоя, разразилась бурными аплодисментами. Однако Перальта, сидевший на месте секретаря лицом к залу, чтобы иметь в поле зрения Дипломатический корпус, заметил, как Посол Франции толкнул локтем Посла Англии, когда зазвучал призыв к «Богине». При слове «стилобат» толчок Посла Англии уже отозвался в боку Посла Италии, а после «стилита» и «архитрава», Эрехтея и Гиппия локти ритмично заработали во всех направлениях — от посла к поверенному в делах, от посланника к атташе по культуре и т. д., пока наконец худосочный Торговый Советник-японец, который вздремнул, убаюканный звуками незнакомого языка, чуть было не слетел со скамьи от тычка в ребро, подобно тому как последний в ряду шарик отскакивает в воздух от щелчка такого же соседнего шарика, в свою очередь, получающего по цепи заряд механической энергии от какого-то изначального импульса при проведении физических опытов. На свет выпорхнуло множество платочков, чтобы прикрыть гримасы смеха и только для вида промокнуть пот на лицах, ибо тем вечером вовсе не было жарко: дул северный ветер, охлажденный снегами Вулкана-Покровителя. И как раз в этот момент Глава Нации, восстановив тишину смиренным наклоном головы, сказал, что он «сейчас особенно благодарен за аплодисменты, так как они служат

²³¹ Витрувий (I в. н. э.) — римский архитектор, автор трактата «Об архитектуре».

²³² Виньола (наст. имя Джакомо Бароцци, XVI в.) — итальянский архитектор, автор трактата «Правила пяти орденов архитектуры»

²³³ Браманте, Донато (середина XV-начало XVI в.) — итальянский архитектор и художник, автор проекта собора св. Петра в Риме.

²³⁴ Эрехтей — в древнегреческой мифологии сын богини Геи, олицетворявшей Землю, и воспитанник Афины., В его честь на Акрополе воздвигнут храм.

выражением признательности знаменитому Эрнесту Ренану, чье «Моление на Акрополе» включает прекрасный фрагмент, который только что был текстуально процитирован, ибо полностью отвечает его (Президента) внутреннему, душевному состоянию в этот торжественный вечер...» Снова раздались аплодисменты, на сей раз более продолжительные и полнозвучные, — будто публика желала испросить себе прощение, — а Перальта, встав со своего места, подошел к Послу Франции и обронил с ехидной усмешкой: «Il vous a bien eu, hein? Pas si con que ça, le vieux»²³⁵ — «Pas si con que ça, en effet»²³⁶, — ответил тот, захваченный врасплох, и вдруг ужаснулся при мысли, что его неосмотрительный ответ может быть передан на Кэ д'Орсэ, где в те дни было не до шуток и откуда блистательный поэт Алексис Леже²³⁷ был направлен в Китай, а Поль Клодель²³⁸ назначен на пост посла в Рио-де-Жанейро для повышения низкого интеллектуального уровня французских представительств в Азии и Латинской Америке... Но долго думать было некогда — все без дальнейшего промедления сорвались со своих мест и, толкаясь, невзирая на лица и чины, лавиной покатались вниз по лестницам, штурмом беря двери необъятного банкетного зала, прорываясь к столам, где на огромных серебряных блюдах изысканные заморские блюда — Нью-Йорк и Париж — соседствовали с национальными яствами: фазаны во всем своем оперенье, перепела с трюфелями, фаршированные поросята с фисташками, пироги-тамали с острой мясной начинкой и индейки в брусничном соусе, сент-оноре с кремом и сладкая рисовая размазня-махарете в чашах, а также прочие родимые пятна нашего поварского искусства под горами черной и красной икры на высеченных из льда слонах. Повсюду в центре и на флангах, над всем этим изобилием возвышались кулинарно-архитектурные сооружения из безе и песочного теста, являвшие собой Капитолий со всеми его обелисками и статуями из марципана, со всеми без исключения колоннами. Публика восхищалась и уплетала кушанья за обе щеки, смаковала вина и ликеры, многочисленные сорта писко²³⁹ и текилы²⁴⁰, проявляя немалый интерес и к шампанскому в ведерках со льдом розового цвета, на фоне которого особенно ярко сверкали золотистые горлышки бутылок...

Звенели бокалы вокруг колоссальной Республики, а оркестр, вознесенный под самый купол, исторгал оттуда дансоны и креольские бамбы, чередуя их с вальсом из «Beautiful Ohio»²⁴¹ или синкопами, — впрочем, не доходившими до слуха стольких жующих и одновременно говорящих людей, — из «Pretty Baby»²⁴². Потом был

²³⁵ «Здорово он вас надул? Старик не такой уж простофиля» (*фр.*).

²³⁶ «В самом деле, не простофиля» (*фр.*).

²³⁷ Алексис Леже — Алексис Сен-Леже (1887–1975) — французский поэт (лит. псевдоним Сен-Жон Перс) и дипломат, в 1916–1921 гг. служил во французском посольстве в Китае.

²³⁸ Клодель, Поль (1868–1955) — французский писатель и дипломат.

²³⁹ Писко — виноградный спиртной напиток в Перу.

²⁴⁰ Текила — спиртной напиток из сока агавы, популярный в Мексике.

²⁴¹ «Прекрасный Огайо» (*англ.*).

²⁴² Прелестное бэби

фейерверк, который, озарив небеса, низвергался огненными водопадами, рассыпал искры и звезды над террасами и крышами городских домов...

Ровно в два часа пополудни — официальный прием не может продолжаться дольше, как сообщил Шеф Церемониала, — Перальта и Глава Нации вернулись во Дворец, усталые, но счастливые, с одним лишь желанием — поскорее сбросить фрак и выпить чего-нибудь покрепче и попроще того, что было на празднестве. В президентских покоях их встретила Мажордомша Эльмира в исподнем, но с теплым платком на плечах, потому что дувший с гор холодный ветер легко проникал сквозь жалюзи. И так как Секретарь исполнил обещание принести ей для пробы тех яств, что подавались на банкете, любопытная самба, хотя и не ждала от них ничего особенного, первым долгом стала выуживать из корзины свертки, но с опаской и осторожностью пиротехника, который знакомится с подозрительным содержимым чемодана какого-нибудь анархиста. Для каждого кушанья у нее находилось уничижительное определение: не бургундские устрицы, а «слюнявки»; это икра? — «дробь в масле»; трюфели — «черные головешки»; халва — «простая нуга, и в сравнение не идущая с хихонской»... Уже сильно подвыпивший, но велевший наливать себе еще и еще Президент и думать не желал о сне, а Перальта не мог нахвалиться его гениальным использованием цитаты из Эрнеста Ренана. «Итак, значит, не говорят, что моя речь надуманна или смешна? — заметил Президент. — Жаль только, что не было там нашего друга Академика. Он, пожалуй, тоже попался бы на удочку». — «Да, этот текст будто специально создан для торжественного открытия нашего Капитолия, — поддакнул Перальта. — И с такими уместными угрозами в адрес этих сволочей из оппозиции...»

Глава Нации глядел из окна на беспорядочную панораму строек, помостов, которые скоро заполнятся рабочими. Вулкан-Покровитель, маячивший вдали, только что сбросил шлейф предрассветной дымки. Мажордомша, опустошив прямо из горлышка седьмую бутылку пива, разлеглась на своей походной кровати возле дверей и тут же уснула — с карабином под рукой по старой привычке. Охмелевший Перальта растянулся на кожаной софе с широкой спинкой и удобными подушками, придвинувшись к камину в ренессансном стиле, со скульптурным портретом этого дикобраза Людовика Двенадцатого наверху, хотя в камине вместо огня, который никогда не разжигался, мигали красные лампочки среди бутафорских угольков.

«Да, это был успех, настоящий успех, настоящий успех», — твердил Глава Нации, прислушиваясь к тихому утреннему звону колоколов Собора — звону приглушенному, ибо новые соседи, которые вставали гораздо позже прежних, требовали, чтобы отныне колокола не трезвонили так громко, как трезвонили прежде. И Президент продолжал свой круговой обход от кресла к креслу, прикладываясь по пути к последней рюмке, которая все время оказывалась предпоследней. Любивший поспать после обеда и не терпевший долгого сна по утрам, он, чьи вызовы на заре были истинной пыткой для его Советников, решил этой ночью вовсе не ложиться в свой гамак — длинную плетеную люльку, как в Париже, — подождать, пока Мажордомша Эльмира не приготовит ему, как всегда, ванну, надушив воду английскими ароматическими средствами и подогрев до температуры тела. После торжества в Капитолии он был поистине счастлив, Теперь фотографии этого здания будут разосланы нашим посольствам, чтобы их опубликовали газеты Европы и всей Америки, разумеется, с соответствующей мздой за каждый сантиметр колонки, как и полагалось, когда надо было навязать редакциям работы с сильной ретушью. И мир

узнает, каким гигантом стал этот город, который в начале века был всего лишь большой деревней в окружении змеиных пустошей, лысых холмов, зарослей колючего кустарника и стоячих прудов с тучами малярийных комаров и где по главным городским улицам с криком и свистом гнали скотину... Такими сладкими грезами он тешил себя, а день между тем разгорался; вдали заиграли зорьку, зазвякали первые трамваи, развозя народ с сумками, корзинками, котомками по рынкам, где уже бились в клетках птицы, а в ящиках похрустывали салатом черепахи. Глава Нации заглянул в свою записную книжку. Сегодня день, свободный от совещаний, аудиенций и всякой ерунды. Можно изменить своей привычке и после ванны поспать до обеда. Но так не хотелось вылезать из этого кресла, где так приятно было сидеть и лениво посасывать шоколадные конфеты с ликером. «Когда пожелаете, Ваше Превосходительство», — пробурчала в полусне Мажордомша. «Я тебе дам знать, милочка, не торопись». И, чувствуя себя самым Вулканом-Покровителем, который, разметав черные тучи, высился теперь, величественный и могучий в сиянии своих хрустальных граней на фоне сине-голубых красок неба, он продолжал твердить вполголоса: «Успех... Успех... Ничего не скажешь...»

Невероятной силы взрыв потряс Дворец. Оконные стекла фасада вылетели вмиг, некоторые люстры сорвались с потолка, бутылки и бокалы, керамика и декоративные тарелки превратились в груды осколков на полу; слетели со стен и кое-какие картины. Бомба немалой мощности взорвалась в ванной Главы Нации, распространив тяжелые клубы дыма, пахнувшего горьким миндалем. Пепельно-серая бледность разлилась по лицу Президента, который, стараясь казаться спокойным, взглянул на свои часы: «Ровно половина седьмого... Сидел бы я в ванне... Поздравляю, сеньоры, Но мой час еще не пробил...» К месту происшествия толпой валили телохранители, слуги и горничные; Мажордомша взывала к народу о помощи. Он прибавил, указуя пальцем на город: «А все потому, что я был слишком добр к ним».

ХП

*...Ведь есть какой-то обманщик, весьма могущественный
и хитрый, который употребляет все свое искусство для
того, чтобы меня всегда обманывать...*

Декарт

Телефонными звонками Доктор Перальта поднял министров с постели-после официального банкета те, невыспавшиеся, у себя дома еще было добавили, пищеварения ради, и золотистого ликера «исарры», и зеленого «бенедиктина», и темно-лилового «шерриренди». Всем надлежало явиться на экстренное заседание Совета, назначенное на полдевятого утра, а там, конечно, кофе хватит, чтоб заспанным стряхнуть дремоту и заодно похмелье.

По мере того как министры прибывали, на ходу пережевывая мятную резинку, потев от аспирина, проясняя глаза эликсиром, Мажордомша Эльмира препровождала их напрямиком в ванную комнату Президента, где на месте каждый мог выразить свое возмущение зрелищем раздробленного фарфора, разбитых вдребезги зеркал, осколков, флаконов и мыльниц в лужах одеколона; из биде, с вентилей которого были сорваны ключи, безудержные струи фонтанировали к треснувшему при взрыве потолку... «Ужасно... потрясающе, непостижимо... и подумать только, что чуть-чуть...» — «Я не хотел и заходить туда... — заявил Глава Нации с оттенком драматизма в голосе, когда все расселись по креслам. — Я не хотел и заходить туда — страшусь

собственного гнева». Воцарилась длительная пауза, чреватая грозными последствиями. Затем уже более спокойным тоном он присовокупил: «Будем работать, господа».

Заседание открылось докладом секретаря, сообщившего о происшедшем, уточнившего час, обстоятельства и т. д. Капитан Вальверде, Шеф сыскной полиции, уже приступил к расследованию. Вчера в связи с торжественным открытием Капитолия президентская стража была переведена в Великое Полукружие и охрана Дворца действительно оказалась недостаточной — на ответственных постах расставили совсем неопытных солдат. Однако, как бы там ни было, никто из посторонних, не имевших отношения к дворцовой службе, к доверенному персоналу, после смены караула в здание не проникал. «Кроме того, — заметил Президент, — взорвавшаяся тут бомба не принадлежит к категории тех, что можно пронести с собой в кармане. Уже многие часы это находилось за ванной, и механизм был запущен. Речь идет не о любительской хлопушке, состряпанной на нитроглицерине, бездымном порохе или пикриновой кислоте, — в данном случае взрывное устройство сделано теми, кто в этом толк знает. По суждению эксперта, запах горького миндаля, до сих пор ощутимый, свидетельствует о познаниях преступников в технике...»

Следуют одна за другой гипотезы: быть может, те из «Анархо-Синдикалистской Революции», еще месяцы назад рукой неизвестных выводились на городских стенах буквы «АСР»; либо, быть может, это приверженцы Доктора Луиса Леонсио Мартинеса, оказавшегося более проворным, чем мы предполагали, а в последнее время они значительно активизировались и, надо признать, весьма ловко привлекают к себе людей в столице и провинции... Не то, быть может, это студенты, всегда они затевают заваруху, идут на всякого рода непотребство (а кстати, почему бы не закрыть сегодня же Университет «Сан-Лукас»)...

Не то русские нигилисты («Чепуха», — буркнул Президент)... не то агенты American Federation of Labor²⁴³ Сэмюэла Гомперса²⁴⁴ (нет, не смейтесь...), которые недавно развернули революционную деятельность в северных районах Мексики. «А кроме того, Красная литература», — вставил Министр просвещения. «Вот именно, Красная литература!» — хором откликнулись остальные. Однако Шеф сыскной полиции не усматривал какой-либо связи между происшествием на рассвете и распространением книг, как, например, той — из серии «Библиотека Барбадильо», что называется «Наслаждения Цезарей», которую ему только что показывали и в которой, на репродукции римских камей, можно было разглядеть фигуру императора Октавиана, ласкающего — да еще как! — свою дочку Юлию, а Нерон — на другой камее — был изображен выделяющим такое, что и словами нельзя описать из уважения к присутствующим. «Не об этом идет речь и не о размалеванных картинках — в конце концов, вреда они никому не приносят, — заметил Министр просвещения, — а имеются в виду книги об анархизмах, социализмах, коммунизмах, о рабочих интернационалах, о революциях... «Красные книги» — так их называют повсюду». — «Не будем пустословить, господа, не будем пустословить, — заявил Шеф сыскной полиции, явно уязвленный. — Проблема значительно проще.

²⁴³ Американская федерация труда (англ.).

²⁴⁴ Сэмюэл Гомперс (1850–1924) — один из основателей и лидеров Американской федерации труда, существовавшей с 1881 года, правой профсоюзной организации США (в 1955 году объединилась с правым Конгрессом производственных профсоюзов).

Распространяются — и все об этом знают — отпечатанные типографским способом листовки, полные оскорбительных выпадов в адрес правительства, и написаны они в нашем, креольском стиле, а его ни с чем не спутаешь, — клевета все, конечно, но клевета такого рода, что обычно распускают силы оппозиции. И нет ничего общего с нигилистами, с анархо-синдикалистами, ни с людьми из... как это называется?..; — Да, оттуда, вот как сказал сеньор, по-английски я не знаю...» Врагами попросту были затаившиеся политиканы, которые пытаются «бить в барабан», рассчитывая свергнуть правительство. «Они следили за нами, окружали нас в кольцо, а теперь — и это подтверждает происшедшее — начали военные действия в открытую. А поскольку война разразилась, то на войну надо отвечать войной», — заявил он, выложив пистолет на стол. «Однако, прежде чем объявлять войну, следует уточнить, где находятся враги», — сказал Президент. «Поручите это мне. Я знаю с кого начать. В моем списке уже есть кое-какие имена. Если хотите, зачитаю...» — «Лучше нет, капитан. А то по отношению к некоторым из названных я вдруг окажусь слишком мягок. Вам оказываю все мое доверие. Действуйте. Быстро и энергично. Мы друга друга понимаем». — «И даже одна ошибка, несомненно, была бы достойна сожаления», — произнес Перальта. «Errare humanum est», (Человеку свойственно ошибаться) — назидательно заключил Глава Нации на латыни, заимствованной из «Малого словаря» Лярусса. И чтобы оживить лица своих министров, вымученные пережитыми треволнениями и бессонной ночью, он распорядился принести несколько бутылок коньяку. «Залпом», — сказал он, наливая себе рюмку. «Бесспорно», — откликнулись хором остальные... Уже прибыли каменщики и водопроводчики, которым надлежало отремонтировать ванную комнату; с собой они принесли инструменты, паяльники, кафельные плитки. «Так или иначе, посмотрите насчет Красной литературы», — обратился Глава Нации к Шефу сыскной полиции, однако тон президентского голоса не подчеркивал особого значения сказанного. «Не беспокойтесь, сеньор, у меня есть люди, разбирающиеся и в этом», — ответил Капитан Вальверде и тут же простился с похвальной торопливостью того, кто спешит перейти от слов к делу. «Отличную облаву устроим сегодня на германофилов», — заметил Перальта.

Редким и неожиданным спектаклем поразил жителей Столицы тот день. Было что-то около двух пополудни. А поскольку подошел час возвращения чиновников в свои конторы, и час подачи десерта в ресторанах, и час чашечки кофе на открытом воздухе под тентами «Тортони», «Хуторка», «Маркизы де Севинье» — как с недавних пор ввели тут в моду, взяв за образец Париж, — то улицы города уже кишели народом. На улицах, переполненных людьми, под пронзительной вой сирен внезапно появились — предшественные небольшими автомашинами, очевидно, марки «форд» — черные клетки на колесах, похожие на огромные зарешеченные короба, на задних подножках которых с мрачным видом стояли охранники, сжимая в руках винтовки. Вскоре стало известно, что эти зловещие фургоны, недавно приобретенные Правительством, должны заменить примитивные, запряженные мулами тюремные рыдваны — «птичьими клетушками» их прозывали, — предназначенные подбирать пьяниц, воров и педерастов. Одновременно бросался в глаза небывалый в городе наплыв полицейских. Бесперывно шныряли мотоциклы. Там и тут неожиданно высывали нос детективы, правда, быстро распознаваемые по непомерным их усилиям «не привлекать к себе внимания», да и одеты они были не то под коммивояжера, не то под

Ника Картера²⁴⁵, что уже само по себе не оставляло места для сомнений. А тут еще сирены — оглушающие, тревожащие — перекликались из квартала в квартал, раздавались над крышами домов, над дворами, вызывая панику голубиных стай, метавшихся меж высоких современных зданий. «Что-то произошло, — толковали в замешательстве люди, — что-то произошло». И многое происходило, действительно, многое произошло в тот день, час от часу все более хмурившийся, сеявший теплую изморось. В полтретьего Вице-ректор университета вещал с кафедры о номинализме и волюнтаризме Уильяма Оккама²⁴⁶, когда полиция вторглась в аудиторию, арестовав его, захватив с собой всех слушателей за то, что они пытались протестовать против произвола. Затем, заняв факультет гуманитарных наук, полицейские к новым тюремным машинам увели, грубо толкая, награждая пинками, еще восьмерых профессоров. Капитан Вальверде, которому надоело выслушивать напоминания о многовековых привилегиях и о праве на университетскую автономию, ударом кулака свалил Ректора в фонтан центрального патио, и тот рухнул вместе со своей традиционной шапочкой, традиционной мантией и прочими академическими атрибутами, чем тщетно пытался было внушить захватчикам уважение к собственной персоне... В три часа полицейские под командованием Лейтенанта Кальво, назначенного экспертом, ворвались в книжные магазины, где публике предлагались в массовых изданиях такие книги, как «Красная неделя в Барселоне» (брошюра о гибели анархиста Феррера), «Шевалье из Красного замка», «Красная лилия», «Красная заря» (Пио Барохи), «Красная дева» (биография Луизы Мишель), «Красное и черное», «Красная буква» Натаниэла Готорна²⁴⁷ — все, что представляло, по заключению эксперта, «Красную литературу», революционную пропаганду, во многом повинную в событиях, подобных происшедшим накануне во Дворце. Книги, сброшенные в фургоны, были отправлены в печь для сжигания мусора, построенную не так давно за городской чертой. «Захватите попутно и «Красную шапочку!» — кричал вне себя от возмущения один из книготорговцев. «Ты арестован, тоже мне остряк нашелся», — заявил Лейтенант Кальво, препоручая его полицейскому... А позже — было уже около пяти пополудни — начались обыски в домах: полицейские, будто обрушившиеся с неба, бегали по крышам, влетали в патио, вносились в кухни, взламывали двери, заползали под кровати, шарили в шкафах, перевертывали ящики, вскрывали чемоданы — под плач женщин, вопли детей, проклятья бабок, под взрывы бешенства патриарха семьи, выкрикивавшего с кресла-коляски: этого туберкулезника позднее забили насмерть за то, что он утверждал, будто Глава Нации — сын шлюхи и покойная его матушка, донья Эрменехильда, причисляемая ныне к лику святых, до полного изнеможения ласкала некоего молодого гусарского офицера...

²⁴⁵ Ник Картер — общий псевдоним авторов и имя героя американских детективных произведений, созданных в 80-х годах XIX века.

²⁴⁶ Уильям Оккам (1285-1343) — английский богослов и философ-схоласт, проповедовавший номинализм в философии, выступавший против католической ортодоксии. Отдавая приоритет воле перед разумом, склонялся к волюнтаризму.

²⁴⁷ «Шевалье из Красного замка» — роман французского писателя А. Дюма-отца (1803–1870). «Красная лилия» — роман французского писателя А. Франса (1844–1924). «Красная заря» роман испанского писателя П. Барохи-и-Неси (1872–1956). «Красной девой» была прозвана участница Парижской коммуны, писательница Л. Мишель (1830–1905). «Красное и черное» — роман французского писателя Стендаля (1783–1842). Н. Готорн (1804–1864) — американский писатель, в русском переводе его роман носит название «Алая буква».

Наступил, вечер, однако не прекратился поток сумбурных слухов об арестах, задержаниях, исчезновениях «подрывных элементов», германских агентов, социалистов-германофилов, хотя в городе, казалось, жизнь, продолжалась в привычном ритме. Загорались светящиеся рекламы вина «мариани» и медицинских препаратов, зазвенели звонки в кинематографах, и в то же время в кафе и барах люди безуспешно перелистывали вечерние выпуски газет, в которых говорилось обо всем, но только не о том, чего все ждали. Похоже, и Черным клеткам была дана передышка. Оркестр пожарников в беседке Центрального Парка, как всегда по четвергам, сыграв марш «Sambre et Meuse», исполнял балетную музыку из оперы «Самсон и Далила», пасодобли боя быков. По самым значным улицам — Сан-Исидро, Ла Чайота, Эль Манге, Экономна, Сан-Хуан де Летран — фланировали завсегдатаи. Но как только часы пробили одиннадцать, началось — внезапное, дикое — наступление на бордели, ночные игорные притоны, таверны, салоны танцев, где еще звучали скрипочки и гитарки. Всех, кто не смог подтвердить, что он принадлежит к государственным служащим или кадровым военным — некоторые даже не успели одеться, — заталкивали в армейские грузовички и свозили в древнюю Центральную тюрьму; камеры, коридоры и внутренние дворы ее уже были битком набиты арестованными... А когда рассвело, террор в городе господствовал.

Аресты не прекращались. Вновь разъезжали Черные клетки. И однако, тем вечером, несмотря на террор и все ему сопутствующее, Мажордомша Эльмира, приводившая в порядок библиотеку в зале Совета Министров, обнаружила за «Всеобщей историей» Чезаре Канту ²⁴⁸ подозрительную банку от «animal crackers»²⁴⁹, которая при досмотре оказалась бомбой грубой кустарной работы — своевременно успел обезвредить ее один из охранников Дворца, учившийся на пиротехника. «Придется гайки подвернуть покрепче», — прокомментировал Перальта. С годами уплотнялись стенки артериальных сосудов Главы Нации, да и в глазах его обнаружилось какое-то странное расстройство — перестал он видеть в третьем измерении, к тому же очками никогда не пользовался и при чтении в них не нуждался. И теперь то или иное, близкое либо далекое он видел как плоскостное изображение, лишённое объема, наподобие образов готических витражей. И так же как фигуры на готических витражах, он рассматривал каждое утро людей регламентированного цвета — этот черно-синий, тот бело-золотой, третий в желто-песочном мундире, — и все они докладывали ему о своем труде, выполненном в течение предыдущего дня или за ночь, проведенную в полицейском комиссариате и тюремных камерах, в военных казармах и подземельях, чтобы вырвать слово, имя, адрес, нужные сведения у тех, кто не хотел говорить. Это был перечень тех, кого с головой погружали в воду и в нечистоты, подвешивали, подвергали другим пыткам; это был каталог клещей, палок, жаровен, включая маисовые початки — специально для женщин; это были видения из жизнеописаний святых великомучеников, картины кары божьей, павшей на богоотступников, отражение пыток на гигантском витраже отдаленного сияния над Вулканом-Покровителем. После слов «Большое спасибо, господа» осколками рассыпался первый витраж, исчезали синие, белые и желтые цвета первоначальных сцен, и через другую дверь появлялись, размещаясь во втором витраже,

²⁴⁸ Чезаре Канту (1804–1895) — итальянский политический деятель, автор 72-томной «Всеобщей истории».

²⁴⁹ Печенье для животных (англ.).

Подслушивающие и Подсматривающие, Выглядывающие, Выслушивающие, Раздувающие, Развлекающие, Притворяющиеся, мастера в опознаниях и искусники в дознаниях, которые не только доносили о том, что удалось им уловками заполучить, подхватить на лету злокозненное высказывание, порой уразумев лишь наполовину, — намотать его себе на ус во время дипломатического приема, у стойки бара, в интимности алькова, — вездесущие, незаметно проникающие всюду Стеклянные гости либо, если нужно, Каменные гости, прощелыги, пройдохи, однако порой располагающие к себе... кроме того, они были Стражами над Стражами, Дозорными за Плутиками, запоминавшими также все, что изобретали, замышляли, подстраивали сами сподвижники, сотрапезники, сородичи Главы Нации под прикрытием его Высокой тени. Вот так, выслушивая своих людей, подглядывающих и вынюхивающих, он вникал — подчас с возмущением, подчас с усмешкой — в разнообразнейшие и живописнейшие темные делишки, что творились за его спиной: сделка о строительстве моста через реку, которой не было на картах; сделка о муниципальной библиотеке, в которой не бывало и нет книг; сделка о племенных симментальских быках из Нормандии, которые никогда не пересекали океан; сделка об игрушках и букварях для детских садов и школ, которые не существовали; сделка о сельских Домах материнства, в которые никогда не могли бы попасть крестьянки, рожавшие, следуя вековым обычаям, на табурете без сиденья, ухватившись за веревку, спускавшуюся с потолка, и натянув на свою голову сомбреро мужа, чтобы родился сын; сделка о километровых столбах из камня, которые так и остались лишь нарисованными на бумаге; сделка о порнографических кинофильмах, проданных в банках из-под «Квакерской овсянки» — «Quaker-Oat», сделка о «Китайской шараде» («Jeux des trente-six betes»,²⁵⁰ как назвал ее барон де Дрюмон, привезший в Америку кантонское лото с нумерованными изображениями животных), ею занималась Бригада национальной полиции по борьбе с азартными играми; сделка об «эрекtilе» — корейском ликере с корнем женьшеня в бутылке (на самом деле настоящем на лиане-гараньоне из Санто-Доминго, черепашьем порошке и экстракте шпанской мушки); сделка об автомате «Jack-pot» — монетоглоте, присвоенном начальником Тайной полиции сделка о документах, подтверждающих дату и место рождения *ad perpetuam memoriam*²⁵¹ для тех, у кого *interdits de sejour*,²⁵² и для выходцев из французской Кайенны, горящих великим желанием стать нашими соотечественниками; сделки об астрологических консультациях, ясновидении, хиромантии, гадании на картах, гороскопах по переписке, индийской мистике — все это запрещено законом, и во всем этом был замешан Министр внутренних дел; сделка о принадлежащих Капитану Вальверде «Галантных живых картинках», допускаемых на ярмарках и в луна-парках; сделка о каталонских открытках — менее изысканных по сравнению с французскими, как утверждают знатоки, — чем увлекался Лейтенант Кальво; сделка об «Освященных простынях для новобрачных» — («Draps benis pour jeunes maries» — именно так!), выделявавшихся в Париже, в аристократическом квартале Марэ, и предназначенных в приданое каждой христианской невесте...

²⁵⁰ «Игра в тридцать шесть скотов» (фр.).

²⁵¹ На вечную память (лат.).

²⁵² Запреты на жительство (фр.).

Развлекаясь и возмущаясь — но чаще развлекаясь, чем возмущаясь, — созерцал по утрам Глава Нации эту панораму жульнических проделок и комбинаций, поразмыслив, что самое лучшее, чем можно вознаградить верность и рвение своих людей, так это выдать им соленое креольское словечко. Тем более он не был — и никогда не бывал — сторонником мелочных сделок. Владелец предприятий, управляемых через подставных лиц, он представал Властелином рыб и хлебов, Патриархом посевов и отар, Повелителем ледников и Повелителем родников, Господином путей сообщения по воде и по суше — многообразны были сочетания коммерческих знаков и символов консорциумов, торговых фирм, неизменно анонимных обществ, не знающих ни убытков, ни краха.

И все же, созерцая свои утренние витражи, Глава Нации не мог не обратить внимания на то, что вопреки террору, проводимому после взрыва во Дворце первой бомбы, стало давать о себе знать нечто — некая сущность, которой его людям ни схватить, ни убить, что ускользало из их рук, чему не могли положить конец ни аресты, ни пытки, ни введение осадного положения. Это нечто бурлило в недрах, в земных глубинах; возникало в неведомых городских катакомбах. Нечто новое заявляло о себе по всей стране; его проявления нельзя было предусмотреть, и нельзя было раскрыть его существо-Главе государства такое казалось совершенно необъяснимым. Похоже, что и сама по себе обстановка изменялась под воздействием какой-то неосязаемой пылицы, притаившегося фермента, убегающей, ускользающей, скрытой и все-таки выказывающей себя силы, молчаливей, хотя с живым пульсом кровеносной системы — в ежедневном выпуске подпольных листовок, манифестов, прокламаций, памфлетов, печатаемых на бумаге карманного формата в типографиях-призраках («...неужели вы не способны установить местонахождение столь трудно скрываемого, столь шумного заведения, как типография?» — кричал Глава Нации по утрам в те дни, когда его распалило бешенство). В листовках его уже не оскорбляли по-креольски, на жаргоне трущоб и пустырей с игрой слов и дешевыми остроумиями, как бывало ранее, — теперь его клеймили Диктатором (и слово это ранило куда глубже, чем любой грязный эпитет, любое нецензурное прозвище, ведь такое слово было разменной монетой за границей, прежде всего во Франции!). Без прикрас, в резких выражениях листовки разоблачали перед народом многое: намерения, сделки, решения, физическое устранение неудобных... все, что ранее никогда не стало бы достоянием посторонних... «Но... кто, кто, кто публикует эти листки, эти пасквили, эту гнусную клевету?» — кричал каждое утро Глава Нации перед всегдашними витражами обливавшихся потом, судорожно морщившихся в полном отчаянии доверенных лиц, бессильных найти ответ. Что-то лепетали и синие, и белые, и желтые — подчиненные регламентарных цветов; что-то отмечали за ними запутавшиеся вконец, потерявшие ориентировку, изрядно слинявшие за это время собратья по опознаниям и дознаниям, хотя и сходились все на одном — нужно немедленно устранить. Кружили вокруг текстов, искали виновных меж строк. Нет, конечно, это были не анархисты — они поголовно арестованы; не приверженцы Луиса Леонсио Мартинеса — они сидят в разных тюрьмах страны; и, конечно, не трусливые оппозиционеры других мастей — каждый из них зарегистрирован в полиции, находится под наблюдением, а главное — они не располагают необходимыми техническими средствами, чтобы содержать подпольную типографию, постоянно и активно действующую... И так получилось, что путем предположений, гипотез, брошенных на ковер подсчета возможностей, сочетая отдельные буквы, как кусочки в английской

головоломке — puzzle, добрались до слова К-О-М-МУ-Н-И-З-М; последнее, что пришло на ум... «В конце концов, — об этом размышлял вслух Глава Нации, оставшись наедине с Перальтой, — мы, как, впрочем, и все латиноамериканцы, ужасно любим охотиться за новинками. Едва разнесется что-то по свету — любая мода, любой продукт, любая доктрина, любая идея, любая манера рисовать, писать стихи, высказывать бред собачий — и тотчас же всё с восторгом подхватываем. Именно так было с итальянским футуризмом, как и с Жювенсией французского аббата Сури, с теософией и с бальными марафонами, с учением немца Краузе²⁵³ и вертящимися столиками. А ныне еще этот русский коммунизм — чужеродный, невероятный, осужденный всеми честными мыслителями после скандального Брест-Литовского договора, — ныне он протягивает свои щупальца к нашей Америке. К счастью, сторонников не имеющей будущего доктрины, чуждой нашим обычаям, немного, — во всяком случае, их деяния не очень-то заметны. Однако...» Однако эту доктрину только что определили возможным двигателем происходящего, и перед присутствующими вдруг возник пренебрегаемый доселе образ одного юноши по фамилии Альварес, не то Альваро, не то Альварадо, — досконально Перальта не мог вспомнить, — более известного как Студент; тот, который в одной из своих речей, на редкость агрессивной, заявил: «Во мне вы видите лишь еще одного студента, обычного студента, Студента»; тот, который выдвинулся во время прошлых студенческих волнений. Недавно агент-осведомитель слышал, как тот в хвалебном тоне говорил о Ленине, свергнувшем Керенского в России и начавшем там раздел богатств, земель, скота, серебряных столовых приборов, женщин... «Так что надо разыскать его, — сказал Президент. — В лучшем случае тут и найдем что-то». Однако привычный витраж каждого утра вскоре превратился в картину горя. Невозможным оказалось схватить Студента.

И поскольку за ним никогда не велось особого наблюдения — опасным юношу не считали, похоже, он интересовался скорее поэзией, чем политикой, — то мнения экспертов службы безопасности насчет его внешнего вида, роста, физиономии, корпулентности не совпадали. Одни эксперты говорили, что у него зеленые глаза; другие утверждали, что карие; третьи убеждали, что он атлетического сложения; четвертые уверяли, что человек он хилый и болезненный. По записи в университетском матрикуле — ему 23 года, сирота, сын школьного учителя, погибшего во время бойни в Нуэва Кордобе. Так или иначе он должен был находиться в городе: нагрянув в его убежище, полиция обнаружила неубранную постель, свидетельствовавшую о недавнем пребывании владельца, а также наполовину опорожненную бутылку пива, сожженные бумаги, окурки сигарет; однако на полу лежала книга, а именно — первый том «Капитала» Карла Маркса, купленный, как можно заключить по наклейке, в книжном магазине «Атенеа» Валентина Хименеса, ныне находящегося под арестом за продажу Красных книг. «В точку! — воскликнул Глава Нации, узнав обо всем. — Кретины забирают «Красное и черное» и «Шевалье из Красного замка», а на витринах оставляют более опасные книги!». Вспомнив, что Именитый Академик там, в Париже, однажды говорил ему о «марксистской опасности», о «марксистской литературе», Глава Нации приказал Перальте («более интеллигентному, чем эти паскудные детективы, — не напортит...») собрать и

²⁵³ Получившее распространение в Испании, а затем и в Латинской Америке идеалистическое философское учение немецкого мыслителя К. Ф. Краузе (1781–1832).

доставить всю литературу такого типа, сколько отыщется в городе... Два часа спустя на столе президентского кабинета были разложены тома: Маркс — «Классовая борьба во Франции с 1848 г. по 1850 г.», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Гражданская война во Франции (1871 г.)». «Ба!.. всё это предыстория, — сказал Глава Нации, отодвигая книги небрежным жестом. — Маркс и Энгельс: «Критика Готской и Эрфуртской программ...» — Это, по-моему, памфлет против европейской аристократии... Гота, как ты знаешь, — некая разновидность ежегодного телефонного справочника принцев, герцогов, графов и маркизов... — Энгельс: «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»... — Не верю, что такое может сбить с толку наших трамвайных вагоновожатых... — Маркс: «Заработная плата, цена и прибыль».

И Президент стал читать вслух: «...определение стоимости, товаров относительными количествами фиксированного в них труда есть нечто совершенно отличное от тавтологического метода определения стоимости товаров стоимостью труда или заработной платой...». Что-нибудь понял? Я — ничего». Маркс: «К критике политической экономии»... Полистал взятый наудачу том и со смешком заметил: «Э, да тут стихи по-английски, стихи по-латыни, стихи по-гречески... Посмотрим, может, этим подучат Мажордомшу Эльмиру» («Меня, видимо, считают большей дурехой, чем есть на самом деле», — буркнула та, задетая за живое...). Все еще посмеиваясь, он взял другой том: «Ага! И знаменитый «Капитал»!.. Ну-ка, взглянем:

«Первый метаморфоз товара, его превращение из товарной формы в деньги, всегда является в то же время вторым противоположным метаморфозом какого-либо другого товара, обратным превращением последнего из денежной формы в товар... Д^Т, т. е. купля, есть в то же время продажа, или Д^Т; следовательно, последний метаморфоз данного товара есть в то же время первый метаморфоз какого-либо другого товара. Для нашего ткача жизненный путь его товара заканчивается библией, в которую он превратил полученные им 2 фунта стерлингов. Но продавец библии превращает полученные от ткача 2 ф. ст. в водку. Д^Т; заключительная фаза процесса Т^Д; Т (холст — деньги — библия), есть в то же время Т^Д, первая фаза Т^Д; Т (библия — деньги — водка)».

«Единственно, что для меня здесь ясно, так это водка, — сказал Глава Нации, пребывая в отличнейшем настроении. — И сколько же стоит этот немецкий томище?» — «Двадцать два песо, сеньор», — «Пусть тогда его продают, пусть продают, пусть продолжают продавать... И двадцати двух человек не найдется во всей нашей стране, чтобы заплатили двадцать два песо за этот том, который весит тяжелее, чем нога покойника... Т^Д; Т, Д^Т; Д... Меня квадратными уравнениями не свергнуть...». — «А вот взгляните-ка на это», — сказал Перальта, вытаскивая из кармана тонкую брошюрку «Разведение красных род-айлендских кур». «А какое это имеет отношение к остальному? — спросил Президент. — Нам никогда не удавалось акклиматизировать американских кур. Ни породы «нат-пинкертон» с перьями на лапах, ни «леггорны», которые там, в Штатах, кладут больше яиц чем дней в году, но у которых, не знаю почему, здесь зажимается яйцеклад, и выпускают они не более четырех в неделю, а красных род-айлендских пулярок сразу же, как поступят к нам, сжирают вши». — «Откройте книжечку, Президент, и взгляните хорошенько... Маркс и Энгельс: «Манифест Коммунистической партии»... — «Ах, дьявольщина, вот это иное дело! — И, нахмурившись, охваченный подозрениями, он принялся читать:

— «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские... — Воцарилось молчание. Затем он произнес: — Как всегда, иероглифы или предыстория. Священной... Священный альянс (не после ли падения Наполеона?), и папа, который никого не беспокоит, и Меттерних и Гизо (а кто помнит здесь, что существовали некие сеньоры по имени Меттерних и Гизо?), и русский царь (который из них? Даже я не смог бы сказать...)... Предыстория... Чистая предыстория...»

Перелистнув страницы и добравшись до последних строк брошюры, изданной в обложке пособия по птицеводству, он задержался, размышляя над фразой: «Одним словом, коммунисты повсюду поддерживают всякое революционное движение, направленное против существующего общественного и политического строя...». Воцарилась на этот раз длительная пауза. Наконец Глава Нации проговорил: «Всегдашний анархизм; бомбы в Париже, бомбы в Мадриде; покушения на королей и на королев; анархо-синдикализм, коммунизм, АСР, Т-Д-Т, Д-Т-Д, ПОСДР, ИМКА. Беспорядок в алфавите, быстрое приумножение сокращений — свидетельство упадка наших времен. И все-таки насчет разведения красных род-айлендских... Ловко придумано... Красные — Red... Надо все конфисковать, надо засадить в тюрьму каждого, кто распространяет такую птицеводческую литературу... Кроме того... кроме того... но... что это такое?..»

Было уже три часа пополудни. Торжественно, медленно, размеренно начал отбивать колокол кафедрального собора. И, как бы отзываясь на первый удар тяжелого языка-молота по величественной литургической бронзе мощного колокола-прародителя колоколов-детей, детишек-колокольчиков, — зазвенели чистыми, звонкими голосами еще не пострадавшие от трещин и царапин колокола Голубиной часовни там, наверху, у самой кромки снегов Вулкана-Покровителя, и голоса их подхватили сопрано Сан-Висенте де Рио Фрио, баритоны Тарбских Сестриц, колоратура карильона Иезуитов, контральто Сан-Дионисио, basso profundo 254 Сан-Хуан де Летрана, серебристое сольфеджио Святой Девы-путеводительницы, воспламенив празднество звона и трезвона, вызваниваний и перезваниваний, радости и наслаждения; и за колокольные веревки цепко хватались, приподнимаясь, приседая, отталкиваясь пяткой от земли, чуть не взлетая в воздух, звонари и пономари, капуцины и семинаристы, ловко опять отпружиниваясь, и снова вздымаясь, и снова опускаясь в ритме шумного прибоя, накатывавшегося и обрушивавшегося с высоких башен-звонниц. От Севера до Юга гремел концерт, от Востока до Запада выступали концертанты, погружая город в чудесную полифонию звуковых колебаний, переливов и перестуков, тогда как сирены фабрик, клаксоны автомашин, сковородки, по которым ударяли ложками и поварешками, кастрюли, консервные банки — все, что звучало, звук отражало, звуком оглушало, — всё будто вздыбилось над узкими древними улочками и над широким асфальтом новых авенид. Теперь загудели паровозы, завыли пожарные машины, зазвенели медью трамвайные звонки. «Война окончена!» — закричал, ворвавшись без предупреждения, Министр иностранных дел и тут же схватил бутылку рома «Санта Инес», стоявшую на столе меж книг, — ее только что раскупорили Глава Нации и его Секретарь в полной уверенности, что никто их здесь не заметит. «Война окончена. Цивилизация победила силы Варварства, Латинидад —

силы Германизма. Эта победа — наша победа!..». — «Ну и влипли, — проронил Президент вполголоса. — Вот именно сейчас мы влипли...». Ученики, освобожденные от уроков, выскакивали с криками и песнями из школ. Веселые девушки с улицы Ла Чайота, в улицы Экономика, с улицы Сан-Исидро заполнили тротуары, щеголяя лотарингскими чепцами или черными эльзасскими лентами, завязанными в банты. «Война окончилась!.. Война окончилась!..» Ремесленники, каменщики, настройщики роялей, ростовщики, стрелочники, уличные торговцы манго и тамариндами, женщины, растиравшие нежные початки маиса, спортсмены в пестро размалеванных теннисках, продавцы мороженого, органисты в широких блузах, рабочие муниципальной службы очистки улиц, профессора в накрахмаленных манишках, химики, сахаровары, натурщики, теософы, букмекеры с ипподрома, исследователи, спириты, сотрудники лабораторий, гомосексуалисты с гвоздикой во рту, фольклористы, люди из книжных лавок, люди из игорных домов, люди науки в академических мантиях и шапочках — все шествовали, в радостном возбуждении восклицая; «Война окончилась!.. Война окончилась!..». Замелькали газетчики, выкликавшие специальные выпуски экстренных номеров, с шапками забранными шрифтом в шестьдесят, четыре пункта: «Война окончилась... Война окончилась...» Студенты разузнали, что полицией принято благоразумное решение по случаю такого торжества не придирается к ним, и шумной толпой высыпали на улицу; от Университета «Сан-Лукас» они тащили на плечах деревянную платформу, на которой макет мула в остроконечной каске и с германским флагом на холке, приводимый в движение проволочками, взбрыкивал под ударами сабли марионетки в форме маршала Франции — червонной масти, с трехцветной лентой. Кортёж пел:

Кайзер на дыбы встает,
Жоффри его нещадно бьет...

Несколько раз по Центральному Парку пронесли веселую аллегорическую композицию с Жоффрием в красных штанах. Останавливались лишь перед Президентским Дворцом. Затем двинулись по бульвару Республики — к Верхнему городу. А священнослужители из храма Святой Девы-Заступницы вынесли паланкин со статуей Богородицы под широкой, переливающейся блестками парчовой мантией, — с победоносным видом Дева попирала ногами зеленого, извивающегося в агонии дракона, снятого с алтаря святого Георгия; на демонической морде дракона виднелась картонка с жирно выведенными тушью буквами: «ВОЙНА». Окружившие статую Пречистой с драконом женщины пели старинную деревенскую песню:

Пресвятая дева Мария,
Избавь нас от всякого зла
И упаси, Богородица.
От этого бесовского пса.

По улице Коммерции уже возвращались студенты со своим мулом и маршалом, дергавшимися на проволочках, — отстукивали такт, мараки, выстреливали хлопушки.

Кайзер на дыбы встает,
Жоффри его нещадно бьет.

Тем временем прихожанки Святой Девы-Заступницы вступали на улицу Серебряных дел мастеров, чтобы, поднявшись по Градильяс, направиться на бульвар Огюста Конта.

Дева взяла мачете,
Чтобы демона покарать,

А бес четвероногий
В чашу успел удрать.

«Мы влипли!», — сказал Глава Нации, наблюдавший за всем происходившим без особого воодушевления, даже нахмутив брови.

«Но, Президент, ведь это триумф Разума, триумф Декарта...»

«Вот увидишь, Перальта, для нас это будет означать падение цен и экспорта сахара, бананов, кофе, чикле²⁵⁵ и сока балата²⁵⁶. Кончились годы Жирных коров... И еще будут твердить, что мое правительство ничего не сделало ради процветания страны».

Кайзер на дыбы встает,
Жоффри его нещадно бьет

«Распорядись устроить официальный банкет посolidнее, отпразднуем победу святой Женевьевы над гуннами, Жанны д'Арк над Клаузевицем, Святой Девы-Заступницы над Международным Коммунизмом, Теперь вернутся аисты Анси на крыши Кольмара и зазвучит прославленный горн Деруледа... Декарт выиграл войну, а мы... утерлись...»

Пресвятая дева Мария,
Избавь нас от всякого зла...

«И все-таки еще не утрачена возможность отрезать последний кусочек от пирога во всей этой шумихе. Пока у народа еще есть деньжата, объявим массовый сбор средств на восстановление пострадавших от войны районов Франции... Отправь телеграмму Офелии. Сообщи ей, чтобы она приезжала сюда как можно скорее. Пока что мы сможем воспользоваться ее платьем сестры милосердия французского Красного Креста...»

И, уже не слишком-то интересуюсь уличными сценами, далекий от всеобщего ликования, охваченный ностальгией, преисполненный затаенной грусти, Глава Нации завел граммофон с рупором, дремавший в углу его кабинета, — предпочел послушать пластинку Фортюжэ:

Lorsque la nuit tombe sur Paris
La belle eglise de Notre-Dame
Semble monter au Paradis
Pour lui conter son etat d'ame²⁵⁷

ХІІІ

Кампания по сбору средств для Восстановления пострадавших от войны районов Франции оказалась великолепнейшим по своей выгоде мероприятием, не только принесшим дополнительные доходы — насколько огромные, настолько

²⁵⁵ Чикле — сок дерева чикосапоте, идущий на изготовление жевательной резинки.

²⁵⁶ Балата — тропическое дерево, сок которого заменяет латекс (каучук).

²⁵⁷ И лишь падет ночь на Париж
Как бы взлетает к небесам
Чтоб о душе поведать от души,
Прекраснейший собор Нотр-Дам (*фр.*).

бесконтрольные, — но и возродившим престиж страны и ее мудрого правительства в той Европе, которая была полностью поглощена собственными проблемами возвращения к мирной жизни и которой было не до того, чтобы еще помнить о ничтожных, чужих, сугубо местного значения событиях эпохи, канувшей уже в туманную даль, задолго до исторического месяца августа, что перевернул всё на свете. Офелия, одетая в платье сестры милосердия, перевозила из города в город, из музея в музей выставку гравюр, рисунков, плакатов и выразительных фотографий, запечатлевших опустошенные поля, вымершие деревни, воронки от мин, разрушенные соборы и простирившиеся за горизонт ряды крестов. «Они просят у тебя школ для своих детей», — можно было прочесть под, скорбной панорамой военного кладбища. «Верните мне обитель мою», — можно было прочесть у подножья распятого Христа, пронзенного пулями...

Между тем до умопомрачения расхваленное процветание, усердно разжигаемое необузданными устремлениями дельцов, сопровождалось всё нараставшей волной спекуляций и мотовства, тогда как благодетельствованные и пособлявшие им пренебрегали мрачными предсказаниями экономистов, пуританских ненавистников веселья, чьи одинокие голоса расчетливых сибилл дисгармонировали с хором самонадеянно воспевавших блаженство жизни. С каждым днем расцветавшей жизни-фантазии. Фантазией тут жили. Долго не раздумывая, они с головой окунались в грандиозную ярмарку химерических надежд, где царили неразбериха ценностей, инверсия понятий, смена вероятностей, уклонения с пути, притворство и превращения — вечные иллюзии, неожиданные преобразования, где все было опрокинуто с ног на голову в силу головокружительных операций денег, что с вечера до утра меняли свой лик, вес и стоимость, не покидая кармана, точнее сказать — сейфа своего владельца. Всё шиворот-навыворот. Обездоленные прозябали в древних — времен Орельяны и Писарро²⁵⁸ — дворцовых руинах, утопавших в грязи, полюбившихся крысам, тогда как господа жили в резиденциях, не имевших ничего общего с той или иной индейской традицией, с традициями барокко или иезуитских миссий, скорее походивших на театральные декорации в духе голливудского Средневековья, голливудского Возрождения либо голливудской Андалусии, совершенно чуждые истории страны, а то имитировали роскошью своей архитектоники здания эпохи Второй империи на бульваре Османн в Париже. Новый Центральный почтамт располагал собственным величественным Биг-Беном.

Новый Первый комиссариат полиции походил на Луксорский храм и был выкрашен зеленой краской, под цвет Нила. Загородная вилла Министра финансов представляла собой очаровательную миниатюрную копию Шенбруннского дворца Габсбургов. Председатель Палаты депутатов содержал любовницу в крошечном аббатстве Ключи, увитом импортированным плющом. Ночами напролет проигрывали и выигрывали сказочные богатства в залах для баскского мяча и на бегах английских борзых, Ужинали в ресторане итальянской кулинарии «Villa d'Este» или в «Тройке» (это кабаре недавно было открыто первыми русскими белогвардейцами, добравшимися сюда через Константинополь), и только в китайских харчевнях еще подавали традиционные местные блюда, ныне презируемые, как и альпартаты либо романсы в исполнении слепцов: кантонские повара поэтому титуловались

²⁵⁸ Франсиско Орельяна (ум, в 1550 г.) — испанский конкистадор и исследователь, вместе с испанским военачальником Франсиско Писарро (1475–1541) участвовал в завоевании Перу.

хранителями национального кулинарного мастерства. Самыми модными считались такие музыкальные произведения, как «Caravan», «Egyptland», «Japanese Sandman», «Chinatown, my Chinatown» и прежде всего «Hindustan»; ноты последнего, обложка которого украшена черными силуэтами слона и его погонщика на фоне багрового солнца, можно было встретить на пюпитре любого рояля. Женщины, ошарашенные бумом, уже не знали, где еще блеснуть своими диадемами, колье и серьгами, пощеголять в модных платьях, приобретенных в фешенебельных салонах «Whorth», «Doucet», «Сестер Callot». А потому, вернувшись к собственной давней мечте, ныне ставшей осуществимой, Глава Нации подумал о возможности открыть Оперный театр в Городе-Опере, Столице Фикции, преподнеся соотечественникам зрелище, подобное тем, что показывали в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро — в центрах, взор которых неизменно прикован к искусству, которые не упускают из виду все рафинированное в Старом Свете. Поставить на сцене Национального театра «самое изысканное, что есть в мире», поручалось Адольфо Бракале, импресарио гастрольных турне по Америке, питавшему такую страсть к лирической драме, что оперы «Симон Бокканегра», «Манон» и «Лючия де Ламмермур» он привозил на разработки селитры в Чили, на банановые асьенды, в порты Юга и на каучуковые плантации Манауса в Бразилии, пересекая безлюдные плоскогорья, поднимаясь по рекам, высаживаясь на Больших и Малых Антильских островах — и непременно со своими исполнителями, своим гардеробом, своими декорациями; он был человеком, способным взять дирижерскую палочку, если маэстро заболел малярией; он мог поставить «Мадам Баттерфляй» в сопровождении оркестра, состоявшего лишь из рояля, семи скрипок, флейты, саксофона, корнета, двух виолончелей и одного контрабаса, если не находилось под рукой других инструментов...

И, таким образом, в одно прекрасное утро железнодорожным составом из Пуэрто Арагуато, прибывшим в столицу, доставлены были древние храмы, реторты алхимика, шотландское кладбище, несколько японских чайных домиков, Эльсинорский замок, стеклянный кувшин из Сан-Анджело, монастыри, гроты и тюремные подземелья — все в свернутом виде, сложенном, в отдельных кусках, из которых можно составить целое, — джунгли в рулонах, галереи и своды, расписанные на ткани столько ящиков, что и двух поездов, следовавших один за другим, едва хватило для перевозки груза. И наконец, к вечеру третий поезд — с ультрамодерным вагоном-рестораном и меню по-французски — остановило у пассажирского вокзала, засверкавшего прославленными звездами, которые спускались на перрон иод вспышки магния фоторепортеров, попадая под лавину цветов, приветственных речей официальных лиц, аплодисментов — соответственно лаврам каждого, под бречание мандолин музыкантов из местной итальянской колонии. Первым появился великий Энрико Карузо в застегнутом жилете и с бриллиантом в галстук, светло-серой шляпе «борсалино» и с платиновыми запонками; приветливый, говорливый, добродушный, он, похоже, смешался перед бурными проявлениями энтузиазма, извержениями славословия: встал не там, где надо, вместо генерала приветствовал младшего капрала, «вашим превосходительством» назвал старшего грузчика, не заметил настоящего министра, зато обнял какого-то меломана с физиономией министра, раздал дюжины автографов, целовал детишек и был счастлив в этой обстановке, которая, видимо, напоминала ему неаполитанскую площадь в день народного праздника. Затем вышел Титта Руффо, драматически нахмуренный, с зычным голосом и крепкой фигурой, одетый в костюм из легкой тропической ткани «палм-бич», и казалось совершенно

невероятным столь атлетический внешний вид увязать с истерзанной хрупкостью изображенного на афишах Гамлета, в томный облик которого он должен был вдохнуть жизнь на сцене спустя несколько дней. Из других вагонов спускались Лукреция Бори, сверкающая зубками и косметикой, уже вошедшая в роль Розины, — в испанской черной юбке и с лилией в руках; и Габриэлла Безандзони — контральто с острым язычком, ее пышные формы так резко контрастировали с хилостью бледных североамериканских балерин, которые, засунув свои туфельки в прорезиненные чехлы, следовали за ней из президентского вагона; и Рикардо Страччиари — в замшевых перчатках, в черном сюртуке, будто прибывший на торжественные похороны родственника, — отвечал он на вопросы репортеров каким-то срывающимся, наигранным тоном; и худущий Мансуэто, долговязый, как учитель латыни из плутовской комедии, которому взбрело в голову появиться со шляпой дона Базилио под мышкой; и Николетти-Корман, которого уже видели в сорочке нараспашку, богохульствовавшего и подражавшего Шаляпину в «Мефистофеле» Бойто...

День и ночь трудились над фракным сукном и пикейными жилетами столичные портные, не выпуская из рук ножниц, тогда как портнихи порхали от примерки к примерке, чтобы закончить одно или подправить другое, удлинить юбку, углубить декольте, сузить платье для отошавшей от какой-нибудь душевной страсти, распороть швы для тучнеющей, расширить пояс для оказавшейся в положении, осовременивая, модернизируя — подгоняя вышедшее из моды к линии последних моделей. Из участников студенческих музыкальных кружков и орфеонов создали хоры; взялись за работу лучшие музыканты страны, наконец собранные в оркестр под управлением болонца чудовищного характера, который, не прерывая исполнение того или иного пассажа, выкрикивал указания в таком роде: «Фа-диез, козлище!» «Семиминима с точкой, ничтожество!..», «Dolce ma non pedirasta!»²⁵⁹ (это в прелюдии к «Травиате»), «Allegro con coglioni!»²⁶⁰ (это в увертюре к «Кармен») — и всечасно утверждал — строго следуя самому маэстро Тосканини, — что лучше обретаться среди шлюх и сутенеров, чем общаться с музыкантами, хотя как раз с ними — по завершении очередной репетиции — он, обернув шею махровым полотенцем, направлялся в таверну «Рим», всегда очень оживленную, чтобы перехватить там несколько стопок рома «Санта Инес», разбавив его аперитивом «Ферне бранка». В ожидании открытия сезона каждый вечер устраивались празднества в честь артистов из «Ла Скала» и Метрополитен-опера, которые, вечно уверяя, что они «не в голосе», в конце концов исполняли какой-нибудь романс из репертуара Пьедригротты или «Vorreì morire...»²⁶¹ Тости. А тем временем — под перестук молотков, под ворчание, проклятия, невзирая на несчастные случаи, сломанные декорации, испорченные крышки люков, несмотря на потерю пик, поврежденный реквизит, отсутствие забытой еще в Италии прялки, неподходящие рефлекторы, не поднимавшийся вовремя дым из преисподней, несмотря на нашествие крыс в артистические уборные, дизентерию, майские колики, цветы, вызывавшие у сопрано аллергию, несмотря на схватку между Мансуэто и Николетти из-за местных мулаточек, несмотря на порванные и

²⁵⁹ Нежнее, но не под педерастов! (*итал.*).

²⁶⁰ Веселее, не будьте евнухами! (*итал.*).

²⁶¹ «Хотел бы умереть...» (*итал.*).

возобновленные контракты, пощечину, нанесенную скрипкой-концертино второму фаготу, вопреки бесконечным жалобам, потере голоса у разных певцов, двум фурункулам, вызванным климатом, москитам, запачканным платьям, тропическим ливням, грыжам, новой потере голоса, волдырям и сыпи, — был поставлен «Фауст», да на таком впечатляющем, запомнившемся всем уровне, что многое, наиболее примечательное, тут же превратилось в любовные серенады местных трубадуров и стихотворцев — к удивлению тех, кто не знал, откуда это пошло. Затем прозвучала великолепная «Кармен» с участием Безандзони и Карузо, хотя в акте с контрабандистами из-за нехватки мушкетов, потерянных где-то во время переезда, хористы были вооружены винчестерами, — но это могли распознать лишь знатоки. Позднее был показан «Севильский цирюльник», в котором Мансуэто представил дона Базилио таким смехотворным и кровожадным, что исполнение его превзошло игру Титта Руффо в роли Фигаро — в трактовке и в оравадах. «Травиата» Марии Баррьентос вознесла публику до высот эстетического наслаждения: «Застольную» пришлось исполнять трижды — овация мешала продолжать по партитуре; волнующая сцена между старым Жермоном и Виолеттой вызвала с трудом сдерживаемые рыдания, и под конец столько цветов было брошено на подмостки, что исполнители, выходя отблагодарить зрителей, были вынуждены топтать розы, нарды и гвоздики...

Триумфально сезон продолжался «Фавориткой» Доницетти, «Мартой» Флотова (одно из выдающихся достижений Карузо), «Гамлетом» Амбруаза Тома, «Риголетто» Верди и «Сомнамбулой» Беллини...

Глава Нации чувствовал себя на седьмом небе. Опера изменила облик Столицы. После спектаклей фешенебельные кафе заполнялись публикой, блиставшей самыми дорогими и самыми искрящимися из драгоценностей, самыми роскошными платьями, — эту публику с улицы, через окна, рассматривал народ, пораженный тем, что лишь на расстоянии протянутой руки находился, как говорят, великосветский мир: до сих пор его можно было лишь воображать, читая бульварные романы, смотря кинофильмы из жизни миллионеров либо разглядывая обложки «Ярмарки тщеславия» Теккерея в газетных киосках, — да еще с нашими женщинами, столь модно, одетыми, со столь утонченными манерами, вдруг перенесенными в неведомые сферы знаменитых портретистов Джона Сингера Сарджента или Жана-Габриэля Домерга. «Мы людей формируем, Перальта, формируем людей», — повторял Президент, окидывая взглядом элегантно обобщество в партере, где в антрактах слышались лишь музыкальные итальянские термины: *racconto*, *portamenti*, *fiato*, *tessitura*, *arioso*...

И все шло гладко до премьеры «Тоски», когда случилось нечто совсем непредвиденное: к финалу второго акта Флория вонзала кинжал в грудь Скарпия — и галерка вдруг разразилась бурной овацией, оглушительной, настойчивой, непрерывной, заставившей даже замолкнуть оркестр. До этого мгновения никто и ничего не пел, что могло бы вызвать подобный взрыв восторга, и обескураженное сопрано Мария Иерица — тем вечером был ее дебют — не знала, что предпринять, и машинально помахивала канделябром над трупом, над Титта Руффо, донельзя пораженным, как она. Наконец раздавшийся сверху выкрик: «Смерть шпикам! Долой Вальверде!» — прояснил значение прогремевшей овации, вынудив Тоску покинуть сцену. Перед оркестром, смолкшим в полном замешательстве, быстро опустился занавес; полиция, ворвавшись на галерку, хватала тех, кто не успел удрать по лестницам. На следующий день «Андре Шенье» Джордано ставили в театре, окруженном войсками; зрительный зал оказался в условиях военной оккупации —

офицеры и генералы в парадной форме были стратегически дислоцированы по креслам и рядам, в ложах. Но даже при всем этом — лишь перед зрителями открылся акт заседания революционного трибунала — неизвестно откуда донеслось восклицание: «Да здравствует Робеспьер!» Весь оперный театр бушевал — овации, перешептывания, шиканье, возгласы: это не имело никакого отношения ни к уровню музыкального исполнения, ни к степени артистического перевоплощения. Всякий раз аплодисментами встречались изгнанники, заговорщики, цареубийцы, мятежные певцы, все Эрнани; всякий раз освистывали предателей, стражников, клеветников, доносчиков, всех Сполетта. Глава Нации посчитал целесообразным отменить уже объявленную премьеру «Сибера» Джордано и теперь, раздраженный, охваченный беспокойством, ожидал закрытия сезона «Аидой».

Для этого спектакля привлекались невиданные здесь сценические средства. В нью-йоркской фирме «Leady» заказали длинные трубы для триумфального шествия. Верблюды и слоны из недавно прибывшего цирка должны были участвовать в кортеже в сопровождении пятидесяти всадников из Третьего гусарского батальона, одетых на древнеегипетский лад и соответственно загримированных, если кто-то из них в достаточной степени не был схож с нубийцем или эфиопом по цвету собственной кожи. Еще ни одно представление не предпринималось с подобным размахом в постановке; высокой оценки заслуживали и хор, и оркестр, который, повинувшись уверенной дирижерской палочке, в последние недели достиг особенной сыгранности. Похвал достойны были костюмы и декорации, на «бис», как и следовало ожидать, пришлось исполнить арию «*Ritorna vincitor...*»²⁶², и второй акт начался в атмосфере напряженного нетерпения, предвосхищения, всеобщего удовольствия; воодушевление ощущалось певцами на сцене, всеми участниками оперного спектакля по мере того, как драма приближалась к кульминации — возвращению Радамеса. Популярнейшую тему марша уже напевали всем залом. Действие подходило к захватывающей финальной сцене — двести исполнителей среди колонн и пальм. Гор и Анубис. На фоне Нила — расцветенного электрическими лампочками Нила. И внезапный ужасный взрыв прогремел в яме оркестра, там, где сосредоточены ударные инструменты: в клубах белого дыма взлетали тарелки, барабаны, бубны, литавры. Вторая бомба взорвалась за контрабасами, обратив в бегство музыкантов, — они карабкались на сцену, пытались спастись через партер, залезали в ложи, еще более усиливая панику, охватившую публику; зрители сгрудились в дверях, прыгали по креслам, толкались, кричали, били друг друга, топтали упавших, а на сцене — между обрушивавшимися декорациями — бежала, боролась, дрались, стараясь скорее достичь выхода на улицу, стражники фараона, жрецы, лучники, закованные в цепи пленные; среди падающих обелисков, сфинксов, обломков реквизита, бутафории металась солдаты Третьего гусарского батальона.

«Гимн! Гимн!» — зывал Глава Нации, обращаясь к болонскому маэстро, а тот, бледный, изрыгающий ругань, стоял на своем пьедестале, пытаясь задержать музыкантов, разбежавшихся во все стороны. В оркестровой яме еще задержалось семь или восемь исполнителей, и ответ на зывания и выкрики: «Гимн! Presto!»²⁶³ Гимн!» — прозвучало едва слышимое, жалкое мычание четырех скрипок, кларнета, гобоя и

²⁶² «Вернись с победой к нам...» (*итал.*).

²⁶³ Быстро (*итал.*).

виолончели...

Пока публика, скопившаяся на площади, приходила в себя, тогда как полиция выносила и выводила контуженных и потоптанных — тяжелораненых, правда, не оказалось, — Глава Нации смог убедиться в том, что взорвались не бомбы, а большие шумовые и дымовые петарды. «Надо возобновить спектакль», — приказал он Адольфе Бракале, который храбро сопровождал его во время обследования вместе с электриками. Но возобновить было невозможно: пороховой гарью пропитан весь зал, порваны декорации, лопнула кожа на литаврах, расщеплены контрабасы, не опускался занавес, некоторые хористы в суматохе пострадали, кони, подготовленные для триумфального марша, лягались и кусались, и у Амонасро пропал голос. Жертва нервного приступа, Амнерис, закрывшись в уборной, кричала, что всё стряслось из-за ее безумного согласия петь в этой стране кафров.

А Карузо-Радамес как сквозь землю провалился Кто-то вспомнил, что видел его выходящим через заднюю дверь, и артиста стали искать возле театра, в ближайших кафе и барах, но тщетно. Он даже не вернулся в свой отель. Он мог быть ранен, избит — быть может, потерял сознание в каком-нибудь темном уголке, С особым рвением его повсюду искал импресарио, и в самый разгар поисков короткое замыкание погрузило театр во мрак... Глава Нации в сопровождении министров и военачальников возвратился во Дворец. Молчание его в тот момент было выражением особого гнева, перехлестнувшего все границы гнева. Гнев глубинный, замкнутый в самом себе, сжатый в кулак, — это читалось в пристальном, ужасающем, не замечающем окружающих взгляде Президента, взгляде апокалипсическом, устремленном на нечто далекое, насыщенное бурями, воплями, карами. В подобном состоянии — нетерпимой напряженности — он пребывал, когда прозвучал телефон в зале заседаний Совета. Звонил его превосходительство господин посол Италии. Он сообщил, что Энрико Карузо, задержанный на улице охранником, находится под арестом в Пятом комиссариате полиции. В полицейском акте уточнялось, что при задержании певец был заgrimирован, хотя карнавалы в Столице еще не начались, и заgrimирован, переодет женщиной, губы подкрашены, глаза подведены, лицо покрыто охрой, — и всё это подпадало под действие Закона о борьбе с нарушениями порядка и в защиту морали обывателей, статья сто тридцать вторая которого предусматривала заключение на тридцать суток за покушение на добрые нравы и за неприличное поведение в общественных местах; наказание усиливалось, если поведение обвиняемого сопровождалось явным проявлением склонности к гомосексуализму как во внешности, так и в одежде указанного лица; в данном случае это подтверждалось его надвинутым на лоб головным украшением с горизонтальными полосками, узорчатыми подвесками в ушах, причудливыми браслетами, несколькими ожерельями на шее, усеянными какими-то жуками, амулетами, брелоками и разноцветными камнями, что согласно полицейскому протоколу было бесспорным свидетельством пристрастия к гомосексуализму... «И это в цивилизованной стране!» — вскричал Глава Нации, гнев которого из драматического молчания перешел в словесный взрыв, тогда как руки Президента сбрасывали книги, пресс-папье, чернильницы прямо на ковер. Все необходимое было сделано. Доктор Перальта направился отпустить на свободу Энрико Карузо, и последний — в весьма веселом настроении духа, еще одетый Радамесом, — появился и сказал, что все происшедшее не имеет никакого значения; посол и он привели полицейского, арестовавшего певца, — «славный мальчик, великолепный парень, выполнил свой долг...»-и попросили Президента

простить его («Ведь он ничего дурного не сделал, лишь выполнял букву закона, — никогда не видывал древнего египтянина на столичных улицах...») — и на рассвете все завершилось бокалами шампанского и гаванскими сигарами — настоящими гаванскими сигарами с фирменной эмблемой на коробке — белокурым и голубоглазым Фонсекой; лишь эти сигары, толстые и длинные, были по вкусу певцу...

Вулкан-Покровитель высвобождался из-под холодных туманных покровов, укутавших его. Мажордомша Эльмира принесла соки и сэндвичи, и, перед тем как проститься, Адольфо Бракале объявил, что оперный сезон окончательно закроется этим вечером «Балом-маскарадом» Верди, поскольку об «Аиде» уже и подумать нельзя ввиду происшедшего несчастья. «Бал-маскарад» — это я дам тем, кто подкладывает петарды», — сказал Глава Нации Доктору Перальте до того, как пойти спать.

И как-то незаметно над городом стало вырастать круглое здание — круглое, будто арена для боя быков, круглое, будто римский Колизей, круглое, будто цирк с клоунами и укротителями зверей, — здание Образцовой тюрьмы, отвечающее самым современным концепциям тюремной архитектуры, выдающимися мастерами которой считались американские зодчие.

Привыкший к медленному процессу камнекладки — распилке камней, искусству обработки камня, к теоремам, доказываемым молотком и долотом, — что требовало очень много времени, прежде чем здание приобретет свой корпус, и свое лицо, Глава Нации открыл волшебство бетономешалок, вращения каменных гранул и песка в огромных серых железных коктейльницах, необыкновенное превращение цементной плиты, которая, приобретая мощь, затвердевает на арматуре металлических прутьев, чудо сооружения, что зарождается в жидком состоянии — в болтанке с гравием и булыжником, прежде чем подняться в поразительной отвесности, воздвигая стены на стены, этажи на этажи, карнизы на карнизы, пока не застынет в небе — дело дней! — с флашотком для знамени или увенчанной позолоченной статуей с крылышками на щиколотках. А поскольку Глава Нации влюбился в быстроту засыхания бетона, в податливость бетона, в прочность бетона, то бетону было вверено сомкнуть гигантский круг Образцовой тюрьмы — там, на Серро де ла Крус, выше купола Капитолия, еще выше шпиля Святого Сердца, — перед тем как с полным размахом начать полицейскую акцию. Днем и ночью, при свете прожекторов, если к этому вынуждали тьма или туман, шла работа на беспримерной стройке, концентрические стены которой приобретали эвклидову красоту системы орбит, все суживающихся кругов, один в другом, к оси центрального патио, откуда можно было вести наблюдение за всеми тюремными камерами и внутренними галереями. Когда работа завершалась и пока еще не хватало алюминиевых душей и кресел с пряжками и ремнями, предназначенных для разных подземных помещений (в планах фигурировали они как «технические службы»), фотографии восхитительного здания были разосланы в различные международные журналы по архитектуре, которые в самых восторженных выражениях отозвались об его функциональном предназначении, равно как о достижении сложной гармонии между тем, что в силу своего предназначения должно иметь суровый вид, и красотами окружающего пейзажа. В этом нашли бесспорную и, быть может, благородную цель гуманизировать — миссия архитектуры ведь заключается в том, чтобы помогать человеку жить, — концептуальный и органичный внешний облик тюремного учреждения; такое учреждение должно быть благотворным для преступника, который в конце концов —

как это подтвердили современные психологи является больным, антисоциальным существом, чаще всего продуктом среды, жертвой наследственности, жертвой того, что ныне стали называть «комплексами», «торможением» и т. д. и т. д. Отошли в прошлое времена венецианских застенков, инквизиторских подземных камер, тюрем Сеуты и Кадикса в Испании, столь похожих на тюрьмы Ла Гуайры, Гаваны, Сан-Хуана де Улуа в Латинской Америке, и других мест заключения, часто упоминавшихся шансонье Брюаном в песенках, уже признанных классическими. В том, что касается тюрем, то мы уже опередили Европу, и это вполне логично, поскольку, находясь на континенте Будущего, мы должны в чем-то ее опережать...

Однако по мере того, как строительство Образцовой тюрьмы подходило к своему завершению, страну охватывал недуг — кризис, бросавший, к разочарованию многих, вызов плодородию щедрой, как никакая иная, почвы, почвы сказочных — обещаний: — еще целинных земель, урожайности обработанных полей, тысячелетнему гумусу, бесконечным лесам (сельва по территории больше всей Бельгии...), глубоко залегшим минералам в обильнейших, неопенимого богатства жилах. Всем располагали мы тут: пространство, земля и ее плоды, никель, железо. Мы были привилегированной страной в Мире Будущего. Вон там — доклады Министерства сельского хозяйства и развития. Чтобы оценить все великолепие нашей земной действительности, достаточно пробежать взглядом убеждающую трассу статистических данных, диаграмм и расположенных в колонки цифр квартальных балансов, а также пояснения экспертов, футурологические уравнения, подчеркнутые красноречивым присутствием той или иной буквы древнегреческого алфавита, поставленной на подходящем месте.

Несмотря на все эти меморандумы и переплетенные фолианты, представлявшие ему ежедневно, Глава Нации, как только окончился проклятый оперный сезон и уже можно было думать о нем ретроспективно, в свете финансового календаря, пришел к выводу, что под оркестровые прелюдии и ферматы теноров сахар Республики потерпел потрясающий урон, и это отмечено на сводных таблицах бирж всего мира. По 23 сентаво за фунт платили за наш сахар, когда Николетти-Корман, потрясающий Демон восхвалял Золотого Тельца. При исполнении североамериканского гимна, который звучит в первом акте «Мадам Баттерфляй», цена на сахар упала до 17.20. До 11.35 сбавилась при постановке «Таис»: «Александрия, ужасный город», — пел Титта Руффо. Роковым был день премьеры «Риголетто», а еще говорят, что горбуны приносят счастье, — цена на сахар снизилась до 8.40. Перемешанные колоды карт четвертого акта «Манон» ускорили падение цен, а с катастрофой «Аиды» цену сбили до 5.22. Наступила пора карнавалов, и сахар — прославленный герой всей и всяческой латиноамериканской буколки — потерпел полное поражение, склады заполнились непроданными мешками, и цена равнялась всего 2.15 сентаво за фунт...

Однажды утром — внезапно, как всегда у скупых на слова, — недавно учрежденный Международный банк объявил, что приостанавливает выплаты до нового извещения. Испанский банд, Банк Мирамон, Коммерческий и сельскохозяйственный банк, Строительный банк молча, лишь с сухим треском захлопнули свои окошечки, тогда как Национальный банк и Clearing House²⁶⁴ наводнили страницы газет сообщениями и извещениями, обещаниями; советовали сохранять благоразумие и доверие, чтобы предупредить панику, которая, опустошив скромные сберегательные книжки, мизерные семейные текущие счета, уже добиралась

²⁶⁴ Расчетная палата (англ.).

до мира большого финансового бизнеса. Советом министров положение расценивалось, по утверждению прессы, как «случайное и временное».

Правительство призывало к спокойствию, к выдержке, напоминало о патриотизме. Никаких очередей, никакого беспорядка. Мораторий — слово, доселе неизвестное публике и воспринимавшееся некоторыми как нечто, по звучанию близкое к мертвым, к завещаниям, — представлялся верным средством поправить всё искореженное в какие-то недели и несколько успокаивал взволновавшиеся души.

Подшло время карнавалов, и в гаме и шуме уличных шествий — «компарс» и «гайюмбас», под звуки китайских труб и негритянских барабанов начался Праздник масок с конкурсами на маскарадные костюмы и колесницами поразительной выдумки, как, скажем, «Венецианский Буцентавр», получивший особую премию, хотя и было чрезвычайно трудно протащить эту колесницу до трибун жюри, поскольку еле-еле прошла она под телеграфными проводами, чуть не задевавшими ее носовую часть, где стояли догарессы²⁶⁵, сверкавшие мишурой. Своевременно наступило шумное веселье: как это бывало издавна, в столь важном в жизни страны событии люди, словно очистившись душевно среди себе подобных, забывали вражду или риск. В такие дни и бдения у гроба с покойным проводились без плакальщиц, и телефонные коммутаторы оставались без телефонисток, и булочные — без муки, и грудные дети — без материнской груди. Плясали, пели, шатались туда-сюда, и каждый, не вспоминая о порядке и о часах работы, о каких-либо обязательствах или обещаниях, спешил утолить свой аппетит, разгоревшийся за месяцы поста. Многие женщины прикрывали голое тело лишь домино — маскарадной накидкой с капюшоном. Под защитой капюшона, маски или дешевой личины позволяли себе всё. Пели, плясали в парках, под навесами беседок, во взятых штурмом кафе; миловались на площадках Национальной обсерватории, под арками мостов, в подъездах, украшенных изображениями святых, среди сорняка в предместьях — и даже на папертях церковей устанавливались палатки, с продажей крепких напитков — гуарапо, чаранды, кокуя и агуардьенте. С вечерней зари до утренней, и с утренней до вечерней традиционные карнавальные братства возрождались — с пальмовыми ветвями, в перьях цапли, с ожерельями колдунов, в одеяниях дьяволов, с картонными акулами, пружинными змеями, в масках людей-соколов, людей-коней, людей-драконов, уродливых одеждах, в древних играх, привезенных из Африки, либо в столь давних ритуалах, что изначальное предназначение терялось в тысячах и тысячах ночей, прошедших с того дня, когда их создали далекие предки. В плясках, в играх с серпантинном, в конкурсах, к избранию королев красоты с коронами из позолоченного картона, в процессиях гигантов и голов с пивной котел, в чередовании тюрбанов и ходуль пролетела целая неделя удовольствий, отдыха, танцевальных ритмов, обжорства и попоек.

И совершенно неожиданно в водовороте бесшабашного разгула некие арлекины — лица их были обтянуты черными чулками — начали стрелять по полицейским; некие цыгане, нанятые играть в «Кармен» и не вернувшие винчестеры, предоставленные им для выступления в акте с контрабандистами, вдобавок увезли винтовки и револьверы из казармы Санта Барбара, погрузив оружие в кареты «Скорой помощи» Красного Креста; некие участники карнавальной группы «Помпадур», одетые в костюмы лососевого цвета, в надвинутых на глаза париках, бросили бомбу в

²⁶⁵ Имеются в виду жены дождей, глав Венецианской республики, сопровождавшие их на парадной галере «Буцентавр» в символической церемонии «обручения» с морем.

полицейский комиссариат Пятого района Столицы, освободив более сорока политических заключенных. Во Втором районе некие наши индейцы — похоже, батраки с плантаций хенекена ²⁶⁶, — но переодетые под североамериканских краснокожих, совсем как в кинофильмах о «Диком Западе», опустошили засекреченный арсенал ручных гранат и тотчас исчезли в толпе; трое анархистских вожakov были высвобождены из тюремных камер некими молодчиками, выдававшими себя за агентов службы безопасности; снежной метелью разлетались сброшенные со шпиля Святого Сердца и с купола Капитолия прокламации и манифесты, призывавшие к революционному восстанию.

Уже ставшее привычным потрескивание и шипение ракет-шутих и петард, сопровождавшее шествие «свиты» карнавального короля и бога Момо, вдруг заглушили резкие, отозвавшиеся громовым эхом взрывы. Вслед за безобидными ампулочками хлористого этила, что проказники наловчились запускать вместо сосульки льда за декольте женщин, полетели бомбы со слезоточивым газом — метко поражающее изобретение, запущенное в ход полицейскими силами; кавалерия, ни на что и ни на кого не обращая внимания, разметала аллегорические представления и хороводы; верещание картонных пугал, пронзительный писк свистулек сменились криками пострадавших от сабельных ударов и конских копыт; и в панике, смешавшей всё на свете — и формы, и цвета, — военными мундирами были вытеснены карнавальные костюмы. Веселую пестроту красок смыла, вытравила сдвоенная гамма: песочно-синяя. Грозным приказом Президента карнавалы запрещались, а Образцовую тюрьму набили ряжеными. И слышались стоны, предсмертные хрипы, и стискивались на горле гарроты, и бормашины дантистов сверлили здоровые зубы, и свистели плети, обрушивались дубинки, и глухо отдавались пинки в пах, и мужчин подвешивали за щиколотки и запястья, и людей заставляли днями напролет стоять босиком на остром ободе колеса, и голых женщин, подхлестывая бичом, гоняли по коридорам, бросали на пол расхристанных, изнасилованных, с обожженными грудями, с раскаленными докрасна гвоздями, вонзенными в плоть; и были расстрелы ложные и расстрелы настоящие; и в недавно воздвигнутые стены, еще отдававшие запахом свежей штукатурки, вкрапились капли крови и капли свинца pistolетных пуль; и выкидывали людей из окон верхнего этажа, и вздергивали их на дыбу, и распинали, и переводили на Большой Олимпийский стадион, где было просторнее и потому удобнее расстреливать сразу массу, не теряя времени на построение взвода или роты для казни; и были также те, кого втискивали в четырехугольные ящики и обливали цементным раствором, а затем блоки выстраивали в одну линию на тюремной стене под открытым небом, и столь многочисленными оказались они, что окрестным жителям пришла в голову мысль: власти-де собираются продолжать строительство здания... (Много лет минуло, пока не стало известно, что в каждом из блоков находились останки человека в маске и карнавальном наряде; фигуру его бережно сохранило твердое покрытие — человеческий облик превосходно отлит был в камне.)

Часть пятая

XIV

...я есть, существую, это достоверно. На сколько времени?

Декарт

²⁶⁶ Хенекен — вид агавы, из листьев которой вырабатывается жесткое текстильное волокно.

Эй... Би... Си... Ди... Эй... Странно, очень странно звучит алфавит теперь в аудиториях методистских колледжей, в североамериканских августинских лицеях, которые открылись в наших крупнейших городах, вызывая серьезные сомнения насчет эффективности и современности — прежде всего современности — обучения детей салезианскими падре, французскими падре-маристами, а также матушками-доминиканками, урсулинками либо монашками из Тарба. «This is a pencil, this is a dog, this is a girl»²⁶⁷, — слышалось там, где в прежние времена процветали «Rosa — Rosae — Rosa — Rosam»²⁶⁸ классических склонений, тогда как забывались неизбежные остроты, которые насчет Aunt Jemima мы отпускали, и не так уж давно, повторяя прилагательные первой категории с Nigra — Nigrae — Nigra — Nigram²⁶⁹. Сид-Воитель, Роланд, Людовиг Святой, Изабелла Кастильская, Генрих IV эмигрировали со страниц учебников истории вместе с мечом, рогом из слоновой кости — олифантом, Столетним дубом из Герники²⁷⁰, заложенными драгоценностями, курицей в похлебке и всем остальным, относящимся к историческим временам Испании и Франции, — их успешно заменили именами и событиями прошлого Соединенных Штатов — Бенджамином Франклином с его громоотводом и «Альманахом Горемыки Ричарда» Вашингтоном в своем имении Маунт-Вернон, окруженным добрыми неграми, к которым он относился так, как если бы они были членами его семьи; Джефферсоном и Холлом Независимости в Филадельфии; Линкольном и его посланием памяти павшим в Геттисберге; походом на Запад и эпической смертью генерала Кастера, сраженного в битве при Литтл Бэй Хорн варварскими ордами вождя племени краснокожих сиу по имени Сидящий Бык.

Выпустив изо рта грудь своих кормилиц-индейнок в белых с вышивкой сорочках — упилях, напевавших «Мальбрука» и, как Пифагор, поучавших, что не годится ворошить огонь ножом, малыши направлялись туда, в Пантеон Гениальных детей, где маленький Моцарт восседал рядом с Даниэлем Вебстером²⁷¹, причисленным к гениальным за то, что в раннюю пору детства защищал злого грызуна, который, будучи божьим творением, имел право на жизнь, как в равной степени право на существование имели рабы из «Хижины дяди Тома». Отложив побыстрее в сторону «Иллюстрасьон» и «Лектюр пур туе», «Коллиэрз» и «Сатердей ивиинг пост» — последний журнал с очаровательными обложками художника Нормана Корвина, — малыши начинали познавать правду (горькую правду, очевидно, уже можно было высказывать без околичностей, История все-таки была Историей) о недавней войне. Если бы не «Over There» и не генерал Першинг²⁷², то Франция была бы потеряна.

²⁶⁷ Это карандаш, это собака, это девушка (*англ.*).

²⁶⁸ Роза, розы, роза, розу (*лат.*).

²⁶⁹ Черная, черной, черная, черную (*лат.*).

²⁷⁰ Символическое «священное» дерево в городе Гернике (Испания), под которым провозглашалась независимость басков.

²⁷¹ Даниэль Вебстер (1782–1852) — американский политический деятель, сенатор, государственный секретарь, вначале выступал против рабства, затем защищал рабовладение в США.

²⁷² Генерал Дж. Дж. Першинг командовал экспедиционными силами США во Франции в первую мировую войну, начавшими действовать лишь в июне–июле 1918 года.

Англия воевала немощно, без какой-либо веры в успех: британские «томми» были лишь фольклорными кумирами, их воспевали наряду с Мраморной Аркой из Гайд-парка, чаепитием в траншеях, с тюрбанами сипаев и шотландскими волынками. Италия с петушиными перьями на головах никудышных солдат была страной одной битвы: Капоретто²⁷³. А что касается России, то прежде всего приходили на ум старец Распутин, царевич, гемофилия, мадам Вырубова, мистические оргии, вдохновенные безумцы, «Воскресение», Ясная Поляна; славянская душа, измученная и неустойчивая, вечно мятущаяся между кущами райских садов и преисподней. И конечно, из бездны явился мечтательный преобразователь — также человек из Кремля, как в свою эпоху был Иван Грозный, — но у этого эфемерного марксистского Утолителя остается уже считанное время, все сочтено и взвешено перед наступлением Деникина, Врангеля, Колчака и франко-британских войск с Балтики, а они скоро превратят в ничто ту систему, собственно, обреченную на гибель, поскольку (как сказано в «Евангелии», в стихе, до того набившем оскомину, что даже трудно отыскать его на стольких страницах Библии, к тому же отпечатанных в две колонки на бумаге «библ») всегда на свете будут богатые и бедные. А насчет верблюда и ушка в иголке, так мы знали, что в Иерусалиме имелись врата Игольного ушка, понятно, весьма низкие и узкие, однако через них всякий раз проходили умные верблюды: им надо было только чуть-чуть согнуть колени...

Европейцы — теперь это ясно — не способны жить в мире, и потому президенту Вильсону²⁷⁴ пришлось пересечь Атлантический океан, чтобы навести порядок в их делах. Это уже в последний раз. Никогда больше не будем мы беспокоиться, предоставляя им наши молодые силы во имя защиты культуры, тем более что ось притяжения ее — пора об этом сказать открыто — переместилась к Америке, разумеется, к Северной Америке, ожидающей, что мы, находящиеся на карте пониже, полностью и окончательно освободимся от проклятой традиции, заставлявшей нас жить в прошедшем времени.

Мир вступил в Эру Техники, но от Испании мы унаследовали только язык — и неподходящий, чтобы следовать эволюции технической лексики. Будущее принадлежит не Гуманистам, а Изобретателям. Однако испанцы на протяжении веков ничего не изобрели. Ни двигателя внутреннего сгорания, ни телефона, ни электрического света, ни фонографа, и, наоборот... Да, если бы по капризу Всемогущего каравеллы Колумба перерезали путь «Мейфлауэру»²⁷⁵ и бросили якоря у острова Манхэттен, то английские пуритане направились бы в Парагвай, и сегодня Нью-Йорк был бы нечто вроде Ильескаса или Кастильехой де ла Куэста, тогда как Асунсьон поразил бы вселенную своими небоскребами, Таймс-сквером, Бруклинским мостом и всем прочим. Европа стала миром прошлого. Миром, пригодным для того, чтобы прогуляться на гондоле, помечтать среди римских развалин, посозерцать витражи, обойти музеи, провести приятный и полезный отпуск. Миром, упадок

²⁷³ Имеется в виду разгром итальянской армии в районе Капоретто в октябре 1917 года.

²⁷⁴ В. Вильсон возглавлял делегацию США на Парижской мирной конференции 1919–1920 годов, где главным образом старался закрепить передел мира между империалистическими державами, разработать планы сокрушения Советского государства.

²⁷⁵ «Мейфлауэр» — корабль, на котором в 1620 году на территорию нынешних Соединенных Штатов прибыли первые 102 колониста из Англии.

которого усугубляла всевозрастающая аморальность, особо проявившаяся в области секса, — там женщины ложились с любым мужчиной, отсюда молодые североамериканские солдаты вывезли horrid French customs²⁷⁶, на что порой намекали, понизив голос и с таинственным выражением лица (как бы то ни было, мать семейства должна знать всё), непорочные Daughters of the Revolution.²⁷⁷ Триумф «Латинидада» продолжали провозглашать латиноамериканские газеты, однако Европейская Война вызвала тяжелейшие последствия для «Латинидада» на наших землях Латинской Америки: разожгла новые распри из-за владений, за господство. Книжные магазины, ранее предлагавшие произведения Анатоля Франса и Ромена Роллана — не забывая «Огонь» Барбюса, книгу чуть не легендарного успеха, — ныне выставляли для продажи «Пленника Зенды», «Скарамуша», «Бен-Гура», «Мосье Бокэра» и романы англичанки Элинон Глинн в зазывных — ярких, многоцветных — обложках, привлекали читателей, старавшихся «не отстать» от модной литературы, И перед жалким европейским кинематографом, без звезд первой величины — все они, похоже, закатились после какой-то бомбежки, — утверждалось ослепительное искусство голливудского чудотворца Дэвида Гриффита²⁷⁸, потрясшего людские массы, исследователя Времени, способного показать нам в невиданных ранее образах, более впечатляющих, чем любое воспоминание эрудита, — Рождение нации, трагедии Голгофы, Варфоломеевской ночи, и даже мир Вавилонии, — хотя Доктор Перальта, упорно придерживавшийся своих справочников, ссылавшийся на «Аполлона» французского археолога Рейнаша, утверждал, что возникавших на экране колоссальных Богов-Слонов никогда не замечали в королевстве Халдеи, и непочтительно считал их «плодом воображения этих гринго с hang-over».²⁷⁹

Франция, отдавая себе отчет, что у нас она теряет почву, неожиданно прислала к нам на кратковременные гастроли не то с официальным визитом — это были три дня холодной схватки с конкурентами (пока Глава Нации, излечиваясь от огорчений после оперной операции, отдыхал в Бельямаре) — некую Сару Бернар, заштукатуренную и перекрашенную; покачиваясь на оси своей единственной ноги, под париком, точно клоунша с картины Тулуз-Лотрека, даже волнующая своим отчаянным стремлением подняться над развалинами собственного былого, поддерживаемая чьими-то руками, опирающаяся на что-то, вознесенная на трон, покоящаяся либо принесенная на носилках средневекового короля Титуреля, — она декламировала вещающим и неуверенным голосом патетичнейшие александрийские строфы из «Федры» или агонизирующие тирады Орленка²⁸⁰, почти восьмидесятилетнего. Потом к нам прибыла из Италии — представ перед любезным безразличием публики, уже покоренной молодыми и блистательными актрисами Голливуда, некая Элеонора

²⁷⁶ Ужасные французские обычаи (англ.).

²⁷⁷ Дочери революции (англ.).

²⁷⁸ Здесь речь идет о фильмах этого крупнейшего режиссера американского немого кино — «Рождение нации» и «Нетерпимость»; в последнем есть сцена в Вавилоне, храмы которого украшены скульптурными изображениями слонов.

²⁷⁹ Похмелье (англ.).

²⁸⁰ В драме «Орленок» Эдмона Ростана выведен, как известно, юноша, сын Наполеона Бонапарта.

Дузе²⁸¹, диковинно одетая в обшитый бахромой доломан, с водруженным на голову высоким черным шишаком, фантазмагоричная, как гренадеры Гейне, обрушивая руины и осколки колонн из «La città morta»²⁸² д'Аннунцио, которого молодые резко отвергли, хотя в течение многих лет люди восторгались его «Дочерью Йорио». Все это — дела прошлого, и, как дела прошлого, пахнут погребальными цветами, И, быть может, поэтому возросла продажа североамериканских журналов или газет, которые, как «Нью-Йорк таймс», предлагали в воскресных приложениях информацию о новой музыке, о новой живописи, об оригинальных литературных течениях, возникавших в Париже (там вопреки всему, что пророчили, как будто возрождался некий, пусть еще незначительный, прогресс в духовной жизни), хотя «Иллюстрасьон» и «Лектюр пур тус», казалось, не замечали эти явления, а если и упоминали, то для того, чтобы все стереть в порошок во имя «чувства порядка, пропорции и умеренности»; кто хотел разузнать о кое-каких поразительных событиях — скажем, о поэзии некоего Аполлинера²⁸³, умершего в день Перемирия, — должен был обращаться к нью-йоркским изданиям.

«Молодые люди всегда охотятся за новинками», — говаривал Глава Нации. Однако он не представлял себе, что вслед за стихом без рифмы и пунктуации, за диссонирующей сонатой следовали — интересное открытие! — достаточно зловещие комментарии о положении в нашей стране.

Однажды утром из уст в уста пробежала весть: в обширной редакционной статье в «Нью-Йорк таймс» обозреватель по латиноамериканским делам сделал беспощадный анализ нашего банкротства, писал о по-! лицейских репрессиях и пытках, раскрывал тайны некоторых исчезновений, разоблачал убийства, о которых здесь еще никто не знал, напоминая, что Глава Нации, заняв место рядом с аргентинским тираном Росасом, с доктором Франсиа, который был пожизненным диктатором Парагвая, с мексиканским диктатором Порфирио Диасом, с другими деспотами, как Эстрада Кабрера из Гватемалы и Хуан Висенте Гомес из Венесуэлы — будто речь шла о французских Людовиках или российских Екатеринах, — уже около двадцати лет находился у власти... Был отдан приказ немедля конфисковать все поступившие в страну экземпляры газеты, но их уже расхватили до последнего в киосках и у газетчиков; Доктору Перальте, правда, удалось заполучить три экземпляра в овощной лавке, владелец которой регулярно покупал газету — номер в сто двадцать страниц, удобно завертывать капусту, разную зелень и бататы. «Надо запретить ввоз этого издания в страну», — сказал секретарь, наблюдая, как краска гнева заливала лицо Главы Нации, читавшего статью. «Но ведь газета янки! Скандал еще больше разгорится! На нас налетят все издания Рандолфа Хэрста! — Воцарилась пауза. — Кроме того, печатное слово приклеивается ко всему и повсюду. Ты можешь бросить в тюрьму политического противника, но не сумеешь запретить распространение иностранной газеты, хотя бы в ней оклеветали твою мать. И одного экземпляра хватит. Он прилетает по воздуху, скрывается в карманах путников, в дипломатической почте,

281 Э. Дузе — в свое время играла главную роль в трагедии Г. д'Аннунцио «Мертвый город».

282 «Мертвый город» (*итал.*).

283 Гийом Аполлинер умер 9 ноября 1918 года, а 11 ноября был подписан акт перемирия Германии со странами Антанты — победительницами в первой мировой войне.

под женскими нижними юбками, передается из рук в руки, через границы, реки, горы...» Наступила новая пауза, несколько более длительная, чем первая. «В проклятый час подписал я декрет об изучении английского языка в колледжах. Теперь здесь все умеют говорить: Son of a bitch²⁸⁴...

Настала третья пауза, еще более продолжительная, чем вторая, — ее прервал голос Перальты, который снова просмотрел газетный текст: «А ведь здесь имеется в виду статья тридцать девятая конституции 1910 года». И он процитировал на память, точно святое послание при обручении: «К президентским выборам приступать не менее чем за три месяца до истечения шестилетнего периода пребывания на этом посту ранее избранного президента». Возникла четвертая пауза, еще более затянувшаяся, чем третья. «Однако... какая сволочь сказала им, этим, что здесь не будут проводиться выборы?» — воскликнул Глава Нации. «Хорошо, но... конституция 1910 года в статье тридцать девятой гласит...» — «...гласит то, что ты говоришь, но также и то, что выборы не проводят, если страна находится в состоянии вооруженного конфликта или войны с какой-либо иностранной державой». — «Точно. Однако... с кем мы воюем сейчас, кроме прохвостов внутри страны?» Глава Нации взглянул на своего собеседника торжественно и не без хитринки: «Мы все еще находимся в состоянии войны с Австро-Венгрией». — «Конечно!» — «Я не подписывал мира с Австро-Венгрией и не собираюсь его подписывать, поскольку... там царит хаос. Их посол уже которой месяц не получает жалованья и вынужден закладывать белье своей жены. Если его страна будет и далее находиться в таком же положении, как сейчас, то скоро мы увидим его играющим на скрипке в каком-нибудь цыганском кабаре... И черт побери... Дело выиграно! Мы находимся в состоянии войны с Австро-Венгрией. А раз идет война, выборы не проводятся! Провести выборы теперь — это значит нарушить конституцию. Проще простого». — «Ах, мой президент! Такого, как вы, нет другого!» — провозгласил Доктор Перальта, доставая дорожный чемоданчик, чтобы ознаменовать неожиданное продление мирового конфликта.

Все, что касалось войны с Австро-Венгрией, представлялось ему великолепным коктейлем из танцев кумбпи и чардаша, бамбы и фришки, и креольской серенады, и рапсодии Листа, и над всем разливалось мечтательное сопрано, отражавшееся эхом в зеркалах «Замка в Карпатах» Жюль Верна, как в зеркалах Салона аудиенций отражалась сейчас Мажордомша Эльмира, деятельно отыскивавшая бокалы.

Еще три статьи опубликовала «Нью-Йорк таймс» об экономическом и политическом положении страны — статьи, содержание которых стало известно повсюду, несмотря на то, что бдительный Перальта приказал скупать все экземпляры газеты, как только они поступят в киоски и книжные магазины, а также в American Book Shops²⁸⁵. А на, самом деле некая контора — настолько подпольная, настолько активно действующая, — вдохновляемая, несомненно, сторонниками Доктора Луиса Леонсио Мартинеса, тихонечко, в тени занялась переводом текстов, перепечаткой в сотнях экземпляров на пишущей машинке и распространением их по почте в конвертах разного размера, и зачастую используя обманным образом названия, фирменные знаки и эмблемы известных промышленных и коммерческих предприятий — под видом невинных рекламных материалов. Местная же пресса, подвергаемая

²⁸⁴ Сукин сын (англ.).

²⁸⁵ Американские книжные магазины (англ.).

цензуре, вынужденная подчиняться запрету затрагивать многие вопросы, — которые, по мнению властей, необходимо замалчивать, — предоставляла все больше и больше места уголовной хронике, освещая ее со всевозрастающим мастерством, следуя примеру давних приложений к «Ле пти журналъ» и нью-йоркским таблоидам, эксплуатируя сенсационность «мокрых дел» и прочих сногшибательных происшествий. И, таким образом, «Преступление на улице Эрмосилья» или «Процесс сестер-отцеубийц» в течение многих недель занимали целые полосы, под шапками на шесть колонок. В наводящей ужас, изобилующей описаниями различных аномалии лавине — с великолепным использованием эпитетов, хитроумных толкований скабрзностей, каверзных метафор там, где речь шла о сексе, номенклатур скелетов, терминов юридической антропометрии, языка моргов и анатомических театров, — следовали репортажи о «Заживо погребенном из Байарты», о «Ребенке, рожденном с головой грызуна тепескуинтле», о «Селении троглодитов в разгар XX века», о «Враче без чести и совести», о «Шести девочках-близнецах из Пуэрто Негро», о «Человеке, убившем свою матушку ни за что ни про что», «Нельзя терпеть садизм в портовых тавернах», «Кровавая перестрелка в день рождения», «Старика сожрали термиты», «Раскрыт притон содомского греха», «Резко возросла продажа девушек в дома терпимости», «Четвертованная из Куатро Каминос», — и все это перемешано со всегда возбуждающей читательский интерес информацией исторического или просто обывательского характера — «Ожерелье королевы», «Смерть Наполеона IV от рук зулусов», «Атлантида — утонувший в бездне континент», либо история любви Абельяра и Элоизы, в изложении которой прибегали к необходимым эвфемизмам, когда речь шла о действиях каноника Фюльберта²⁸⁶, а последнего некие прохвосты поспешили отождествить — они не упускали случая! — с Шефом сыскной полиции...

Поток хроники убийств, любовных драм и всяких прочих неслыханных казусов не прекращался до наступления Рождества, и самое Рождество, по правде говоря, было из ряда вон выходящим, даже перекрестили его в Christmas²⁸⁷. Прекрасную традицию домашних рождественских представлений тотчас же забыли, не устраивали «вифлеемы» из склеенных тряпок, с яслями, с богородицей, святым Иосифом, ослом и быком и кортежем пастырей — чем богаче жилище, тем больше выставлялось человеческих фигур, пришедших поклониться Младенцу, толстощекому, как херувим, возлежавшему на ложе из благоухавших свежих листьев гуайябо.

Семьи не позаботились подновить — подкрасить и подлакировать — прошлогодних святых, подклеить сломанные фигурки, подвесить ангела Благовещения на позолоченном шнурке под серебряной звездой, прибитой к потолку. Странный был тот год: сельва в наступлении — подобная тому лесу, что наступал на Дунсинан²⁸⁸, — продвинулась к Столице. В атлантические порты прибыли тысячи елок из Канады и Соединенных Штатов, принесшие чужие запахи и в эту Столицу, чтобы в богатых кварталах возвыситься в праздничном убранстве — стеклянные шары, золотистые

²⁸⁶ Узнав о любви французского философа и богослова Пьера Абельяра (1079–1142) к своей племяннице Элоизе, каноник из мести велел оскотить ученого. За расхождение с католическими догматами учение Абельяра дважды было объявлено еретическим.

²⁸⁷ Рождество (англ.).

²⁸⁸ Имеется в виду Бирнамский лес, «двинувшийся» на холм и замок Дунсинан (см. В. Шекспир, «Макбет», акты IV и V).

гирлянды, искусственные побеги виноградной лозы, закрученные штопором свечки, бумажные колокола, ватный снег. Появились какие-то удивительные косули с ветвистыми рогами, никогда не виданные в стране, их называли северными оленями; они тащили санки, нагруженные подарками. А в дверях магазинов игрушек встали бородатые старики, одетые во все красное, которые именовались Санта-Клаусами, — люди их прозвали Сантиклозами. Национальные рождественские праздники — праздники колониальных времен, вчерашние и всегдашние — в один день были заменены рождественскими праздниками заграничного Севера. В том году не выходили на улицу шумные ватаги с песнопениями вильянсикос и бубнами, ранее, бывало, посещавшие соседей под припев: «Тук-тук... Кто ты?.. Мирные люди мы»; певцы под конец уже не могли идти — ползли по улицам, по горло набравшись праздничного агуардъенте и всякого прочего спиртного, что было выпито в награду за их благостную весть — о явлении Мессии: опять и опять, он даже находится среди нас.

И монотонные напевы былого в домах добропорядочных были заменены музыкальными ящиками, наигрывавшими мелодии «*Silent night, holy night*»²⁸⁹ или «*Twinkle, twinkle, little star...*»²⁹⁰. Встревоженные этим неожиданным преобразованием рождественских праздников, священники в своих проповедях на заутрене, которые прихожанами с грехом пополам прослушивались, клеймили Санта-Клауса как еретическое порождение, изобличали внедрение у нас саксонских обычаев; убранством Ели, по утверждению проповедников, преследовалась цель насадить у нас языческие нравы германских племен, господствовавшие тогда, когда мы уже слышали божественные голоса амвросианского пения в расцвет евхаристических торжеств, а германцы еще бродили по своей сельве, дикие, лохматые варвары, коих видел Юлий Цезарь, — в рогатых шлемах, пивших медовуху и поклонявшихся Омеле и Остролисту. К тому же ни в одном из христианских святцев нет такого Сантикло, приносящего детям игрушки за тринадцать дней до того, как волхвы, согласно принятым у нас обычаям, занялись бы этим делом. Испанские лавочники, не успевшие выгрузить валенсианских и галисийских кукол, глиняную кухонную утварь и качающихся лошадок в Пуэрто Арагуато, протестовали против предательства конкурентов, которые начиная с двадцатого декабря заполнили витрины механическими машинами, головными уборами индейцев-команчей из перьев, вращающимися столиками для спиритических сеансов — представляете! — и ковбойскими доспехами: тexasская широкополая шляпа, шерифская звезда, отделанный бляшками пояс и пара пистолетов в кобуре с бахромой... Кто-то сказал, что Сантикло — не кто иной, как святой Николас. Однако знатоки жития святых утверждали: ни святой Николай Мирликийский, покровитель России, ни святой Николай Великий, первый папа этого имени, никогда и ничего общего не имели с торговлей игрушками. И, наконец, кто-то даже задался ироническим вопросом в статье, не замеченной цензурой: а этот Сантикло в колпаке, чем-то напоминающем фригийский, несмотря на белую оторочку; одетый во все красное, не является ли неким «Красным» в самом опасном смысле слова? Однако боком вышла журналисту его двусмысленная острота: началась уже Страстная неделя, а он все еще сидел в

²⁸⁹ «Тихая ночь, святая ночь» (англ.).

²⁹⁰ «Гори, гори, звездочка...» (англ.).

компании сводников на Тринадцатой галерее Образцовой тюрьмы.

И если странными были последние рождественские праздники, то еще более странной тогда была Страстная неделя, потому что во время ее, вместо того чтобы третьего мая отмечать день Святого креста, по всей стране была объявлена Забастовка.

Все разгорелось в Страстную, «зольную» среду — никто и не предполагал такого — с небывалой стачки батраков на сахарных плантациях и сахарном заводе «Америка»; рабочие отказались в оплату за свой труд принимать чеки, обмениваемые на товары. Вскоре движение распространилось по всем сахарным заводам. Были мобилизованы сельская жандармерия, конная гвардия, провинциальные гарнизоны, но и они ничего не могли предпринять против людей, которые не устраивали демонстраций, не буянили, «не нарушали общественный порядок», лишь на работу не шли и продолжали спокойно отдыхать у дверей своих жилищ, под аккомпанемент народных инструментов — бандурий, куатро или гитар — напевая:

Тростник я не рублю,
пусть ветер его рубит,
иль женщины пусть рубят,
сминая на ходу...

Эту стачку рубщики и рабочие сахарных заводов выиграли. А в Святую субботу началась забастовка шахтеров из Нуэва Кордобы, протестовавших против незаконных увольнений; за шахтерами поднялись стивидоры Пуэрто Арагуато и грузчики Пуэрто Негро...

Совсем как при тропических заболеваниях то возникающие, то исчезающие волдыри попеременно и самым непредвиденным образом покрывают краснотой плечо и, перед тем как перейти на правую ляжку, поражают левое бедро, вызывая сыпь в тех уголках человеческого тела, где, по учению древних мистиков-каббалистов, таилось местоположение «Венца», «Разумения», «Сострадания», «Милости», «Основы», — так и на карте Республики красная сыпь высыпала внезапно, без каких-либо предвозвестий, там и тут, на Севере и на Юге, где наливались золотые плоды какао, дымились ямы угольщиков, зрели бананы, раскрывались листья табака, где динамитом взрывали скалы. Ничто не могло сдержать эпидемии; ни к чему не приводили предупреждения о репрессиях, запугивающие эдикты, приказы, мачете в руках солдат, сверканье примкнутых к винтовкам штыков.

Люди оценили грозную силу инертности, скрещенных рук, молчаливого сопротивления, Когда же под ударами прикладов их заставляли пойти на поля или на фабрики, они шли туда, преисполненные решимости работать плохо, выдавать продукции мало, прибегая к всевозможным уловкам, чтобы привести в негодность механизмы, остановить краны, подпилить звенья в цепи, а то подбросить пригоршню песка в ось ведущего колеса или в ствол поршня. Поговаривали, что Студент — этот «студент», слух о котором распространялся более того, чем он заслуживал, — всегда активный, хотя и невидимый, непоседливый и вездесущий, скрывающийся неизвестно где и, однако, открыто дающий о себе знать, перемещающийся из долины в горы, из рыбачьих портов на лесопилки Жарких земель, был подстрекателем, застрельщиком всего происходящего.

А сейчас становилось понятно, что не он один занимался насколько разнообразной и вместе с тем настолько строго продуманной деятельностью; многие

— их было значительно больше, чем это, видимо, предполагалось, — применяли его тактику, пользуясь теми же приемами, взяв на вооружение те же методы. «Они действуют в ячейках, — говорил Доктор Перальта, желая растолковать всё термином, значение которого Глава Нации не сразу уяснил. — И для ячеек тех, что в Образцовой тюрьме», — добавил он., «Ячеек там, действительно, уже не хватает для всех... (Тот даже попытался рассмеяться.) Да, я превратился в главного владельца отелей в Республике». И, нетерпеливо полистав «Анти-Дюринг», «Святое семейство», «Критику Готской и Эрфуртской программ», все еще разложенные в беспорядке на его столе, он сказал: «Здесь ничего не говорится о ячейках. Ничего не упоминается о них и в «Манифесте». Единственно, что совершенно ясно, так это на предпоследней странице: «Коммунисты поддерживают любое революционное движение, направленное против существующего социального и политического порядка...»

В те дни Доктор Перальта доставил Президенту редкое издание, поступившее среди корреспонденции: речь шла о газете. Но о газете необыкновенной, какой еще не видывали в этой стране: она была напечатана на тончайшей бумаге, на восьми страницах, форматом одна шестнадцатая, с виду похожая на брошюрку, очень легкая по весу, не тяжелее обычного письма. Название простое: «Либерасьон» — «Освобождение». Великолепно набранная, сверстанная по четыре колонки на полосе и столь же понятно читаемая, как словарь. Первый номер нового издания открывался редакционной статьей, направленной против режима, — в суровом тоне, без лишних эпитетов, ясным и метким слогом, сухим, как удар бича. «Это нечто новое», — пробурчал Глава Нации, выслушивая кое-что более болезненное, чем та свехругань, необузданно креольская ругань, в которой обрушивались по его адресу сторонники Луиса Леонсио Мартинеса. Далее следовала подробная информация о недавних актах насилия, совершенных полицией, с указанием имен жертв, а также имен полицейских агентов. Затем — серьезный анализ последних забастовок, оценка успехов и промахов, практические выводы. А на развороте — и это было наихудшим! — перечисление, столь подробное и точное, с датами и цифрами, что это, несомненно, могло быть сделано лишь при ознакомлении с документами, хранимыми в глубокой тайне: темные делишки самого Президента, его министров, генералов и других приближенных в течение последних месяцев.

«Иуда среди нас? — вскричал Глава Нации, всплеснув руками. — Иначе кто мог предоставить им такие данные?» — «Но... кто они, опубликовавшие все это?» — задался вопросом Доктор Перальта в полном недоумении. «Нечего и спрашивать. Читай над заголовком: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — «Дьявольщина! Ведь это слова из «Манифеста! «И значит, что газетенка без подписей подписана!..» Еще до десяти утра стало известно, что тысячи лиц получили с утренней почтой нелегальную газету. Эксперты-полиграфисты, вызванные в Совет министров для изучения издания, пришли к выводу, что такого качества работа могла быть выполнена лишь за пределами страны, если судить по шрифтам, по стилю верстки, а также по бумаге «библ» — видимо, немецкого производства, которую нынче ни за какие деньги не достать. А если типография находится в каком-нибудь пограничном городе? По этой причине ввели цензуру на всю корреспонденцию из соседних стран. Однако в следующий вторник, едва очнувшись от сна, Глава Нации прежде всего увидел второй номер «Либерасьон» на подносе с завтраком, принесенным Мажордомшей Эльмирой. Установили внутреннюю цензуру на почте... Но и Это не помешало появлению третьего номера, который, минуя почтовые конторы, каким-то

чудом оказался — запечатанным в бандероли, однако без штемпелей — в абонентских ящиках министерств, общественных учреждений, коммерческих предприятий и в частных домах, уже не говоря о тех экземплярах, которые теперь перекладывались из кармана в карман, переходили из одного ящика стола в другой ящик стола либо чьими-то руками подсовывались под дверь, сбрасывались с балкона, оставлялись на подоконниках и в подъездах. Все типографии Республики были взяты под военный контроль. За каждой ротационной машиной, за каждой наборной доской, за каждым линотипом и роликом стоял детектив. И все же ничто не воспрепятствовало появлению четвертого, и пятого, и шестого, и седьмого номеров «Либерасьон».

Подпольная типография — типография-призрак, невидимая, молчаливая — продолжала работать поразительно активно. Будто какая-то засекреченная лаборатория или какая-то кузница гномов действовала тут, возможно, даже в этом квартале, возможно, в том, подальше, чтобы сверстать и оттиснуть — без шума и суеты — проклятые страницы формата одна шестнадцатая, которые каждую неделю вызывали бессонницу у Главы Нации...

И, наконец, на заседании Совета министров Министр внутренних дел произнес два новых слова, прозвучавших как колдовское заклинание и как зловеющая угроза: «Московское золото». — «Какое там московское золото, какое еще московское золото! — прорычал Президент. — У большевиков ничего нет, совсем ничего, откуда у них золото для... (Он встал, чтобы взять последний номер парижского журнала «Иллюстрасьон».)... Вот, взгляните... Посмотрите на эти фото... Горы трупов на берегах Днепра и Волги... Дети, от которых остались кости да кожа... Страшнейший голод какого-то Тысячного года... Холера... Тиф... Великие герцогини просят подаяние на улицах... Нищета безнадежная, беспредельная...» Министр все же настаивал на своем: так, конечно, так, но большевики распродают сокровища Потемкина и Екатерины Великой, короны Кремля, драгоценности, конфискованные у принцев и бояр, картины Эрмитажа, чтобы субсидировать международный заговор, — и это единственное, что может спасти коммунизм от катастрофы. «Читайте, читайте статьи, которые Керенский публикует в североамериканской прессе». Московское золото — не выдумка. Лишь наличием московского золота можно объяснить появление в стране такой газетенки, как «Либерасьон» (ему только что доставили восьмой номер), да еще отпечатанной на дорогой бумаге. Ее типографские машины упрятаны, очевидно, в какой-нибудь пещере, быть может, в одной из забытых галерей, которые, по утверждению некоторых историков, были устроены еще испанскими конкистадорами там, где ныне расположена столица Республики; этими галереями давным-давно сообщались между собой три крепости, превратившиеся уже в развалины...

И когда спустя несколько ночей во Дворце взорвалась новая петарда, хотя и не причинившая сколько-нибудь значительного ущерба — заложена она была в мебельном складе, набитом всякой ненужной всячиной, — реальное существование московского золота прочно утвердилось в мозгу Главы Нации. Нет, не плодом пустой фантазии юмористов были напечатанные во французском еженедельнике «Ле рир» карикатуры: на одной из них изображен Медведь, швыряющий бомбы с зажженным фитилем на карту Европы, а на другой — Красный спрут с куполов Василия Блаженного протягивал свои щупальца ко всем уголкам земного шара. Одно из щупалец уже пролезло и в нашу страну.

«Срочные меры, надо принимать срочные меры», — прошептал Перальта. «А что

еще можем мы сделать?» — произнес Глава Нации, ощутив отчаянную усталость — так не хватало ему Триумфальной арки, которая, водрузившись здесь вместо бесполезного Вулкана, предоставила бы возможность под своим высоким сводом пройти, чтобы насладиться покоем в «Буа-Шарбон» мосье Мюзара, насыщенном ароматом вин и запахом дров в камине...

В дни тревожений и забот особенно тосковал он по Стране Разума — там даже в метро сможешь прочесть александрийский стих, достойный самого Расина: *Le train ne peut partir que les portes fermées...*²⁹¹ на что, — как однажды заметил Именитый Академик, столь далекий ныне, — ответить мог бы царь Азария из «Гофолии», перевоплотившийся в начальника станции метро Пигаль, который *«en un lieu souterrain par nos peres creuse»*²⁹² (в Пятом акте) разрешает отход поезду, отправляющемуся к площади Этуаль: *«J'en ai fait devant moi fermer toutes les portes»*²⁹³

XV

Что касается страха или ужаса, то я не вижу, чтобы он мог когда-нибудь считаться похвальным или полезным.

Декарт

Как-то ранним утром разнеслась весть, что в главном столичном коллекторе питьевой воды обнаружена дохлая лошадь, полуразложившаяся, со вздутым брюхом, и потому всем, кто пил воду, взятую из муниципального водопровода — а к тому времени часы показывали уже одиннадцать, — угрожает тиф. Министр здравоохранения поспешил лично расследовать это сообщение и убедился, что в прославленной Миндальной чаше, гордости национального гидравлического искусства, плавал... деревянный конь, черный, с посеребренными копытами, знаменитый рекламный манекен «Андалусского жеребца», лавки-мастерской кожаных изделий, откуда какие-то злые шутники ночью утащили его и сбросили в воду.

Не успели встревоженные души успокоиться, как в табачном складе на окраине города вспыхнул грандиозный пожар — и языки пламени были красными, ослепляюще ярко-красными. Прибывшие на завывавших пожарных машинах пожарники очутились перед морем бенгальских огней, разожженных непонятным образом, и праздник огня завершился веселой перестрелкой взрывающихся шутих. На следующий день в некоторых газетах, явно обманутых в своем желании воздать, должное усопшему, появились траурные объявления с подобающей сентенцией: *«Requiescat in pace»*²⁹⁴, — по поводу кончины официальных лиц, которые, однако, благополучным образом продолжали здравствовать.

Так начались времена мистификаций, злостных шуток, злоязычных слухов, преследовавшие; цель — создать атмосферу замешательства, беспокойства, недоверия и недовольства по «сей стране. Кое-кому по почте присылали черепа; траурные венки

²⁹¹ Только при закрытых дверях отправляется поезд (фр.).

²⁹² «В подземелье, нашими отцами вырытом» (фр.).

²⁹³ «Перед собой закрыл я двери все» (фр.).

²⁹⁴ Покойся с миром (лат.).

поступали туда, где не было покойника; в полночь звонил телефон, уведомляя, что отсутствующий хозяин дома умер от инфаркта в борделе. Были и анонимные письма-послания, составленные из вырезанных печатных букв, с угрозами похищения или покушения; были и сигналы — почти всякий раз достоверные — о факте гомосексуализма или адюльтера, были и ложные известия о мятежах в провинциях, о разногласиях в Высшем военном командовании, о неминуемых банкротствах, о закрытии страховых компаний к о предстоящем вскоре введении рационирования продуктов первой необходимости.

Распространялись — правда, в меньшей степени — слухи, вызывавшие скопления публики, очереди, протесты столкновения в полицией, а также фальшивые извещения о выгодном обмене — швейные машинки за прохудившиеся кастрюли, швейцарские часы за старые инструменты, велосипеды за ручные тележки — в магазинах богатой клиентуры или в только что открывшейся American Grocery!²⁹⁵ Не то приглашались рабочие с обещанием выплаты приличного жалованья на давно закрытые фабрики.

«Не потребляйте мяса скота, зараженного ящуром», — предупреждала листовка, кем-то пущенная в ход в полдень. «Национальный банк приостанавливает операции», — гласила другая листовка, обнародованная под вечер с тем, чтобы назавтра с утра собрать людские толпы у кассовых окошек. Взбудораженной стала жизнь в городе — лихорадили выдуманные новости, перепутанные адреса, переключенные провода, и телефон морга почему-то соединялся с телефоном кабинета премьер-министра, а звонок по телефону из дома терпимости будил на рассвете нунция Ватикана. Тот, кто заказывал в Нью-Йорке рояль «Стейнвей», обнаруживал внутри инструмента обезглавленного осла; тому, кто покупал пластинку Тито Скипы — тенора, которым здесь восхищались, ведь он пел и по-испански, — приходилось выслушивать поток отборной ругани в адрес правительства, для этого надо было только поставить иглу на диск с эмблемой американской граммофонной компании «Голос его хозяина». И на этом еще не кончалось — случались и более активные действия.

Некие возмутители спокойствия, с каждым днем все более удалые, вспышками магния вызывали переполох в кинотеатрах, разбирали трамвайные рельсы, перерезали электропровода, оставляя полгорода без света, чтобы спокойнее разбивать камнями магазинные витрины... Это было подлинно загадочное войско — подвижное, осведомленное, инициативное и коварное, которое теперь действовало повсюду, чтобы дезорганизовать организованное, подорвать административный аппарат, держать власти в постоянном напряжении и прежде всего нагнетать состояние тревоги. Уже никто никому не верил. И полиция, бессильная, несмотря на приумножение числа агентов, детективов, доносчиков, провокаторов, шпииков, секретных наблюдателей, всегда попадала мимо цели, ни разу не могла установить подлинных зачинщиков этих беспорядков.

Еще две бомбы взорвались во Дворце, хотя при входе в здание посетителей тщательно досматривали и каждый пакет, поступающий извне, проверяли. А поскольку кого-то нужно было обвинить — тем более что никто из официальных лиц не хотел признаться в собственной несостоятельности, — то подыскивали более или менее серьезные обоснования, чтобы утверждать: инициатором всего, мастером

²⁹⁵ Американская бакалея (англ.).

адских выдумок, хозяином тайных механизмов был не кто иной, как пресловутый Студент. Однако передовицы «Либерасьон», — никем, естественно, не подписанные, — свидетельствовали, что необычные происшествия, сеявшие панику среди обывателей, не имели ничего общего с деятельностью коммунистов: «Мы не прибегаем ни к розыгрышам, ни к мистификации, чтобы вести далее нашу борьбу». И в более креольских выражениях продолжали: «К подлинным революционерам не относятся завсегдатаи притонов, скандалисты или гомосексуалисты». А рядом с этим в рамке помещалась цитата из неизменно строгой антологии марксистских концепций: «...человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия её решения уже имеются налицо...» («К критике политической экономии. Предисловие»).

«Я начинаю думать, что... — бормотал Президент в замешательстве: — ...что этот прохвост говорит правду. Он преследует иные цели. Он фантазер. Но искренний. Не будет терять время, чтобы по телефону болтать, будто вчера вечером я умер, как Феликс Фор». — «Но бомбы...» — подал реплику Перальта. «Да, бомбы... — откликнулся Глава Нации, которого вновь охватили сомнения. — Коммунисты, как и анархисты, подкладывают бомбы, где только могут. Стоит лишь посмотреть рисунки, иллюстрирующие международную прессу. И всё же...» — «Самое плохое заключается в том, что народ приписывает Студенту все происходящее у нас, — заметил секретарь. — А потому он превращается в живой миф: нечто вроде Робина Гуда, владевшего кольцом Гигеса²⁹⁶. А нашим людям — альпаргатникам так по вкусу подобные истории...»

В этом, конечно, он был прав, поскольку много, очень много на дорогах страны встречалось любителей романов Понсон дю Террайля²⁹⁷ и также — «Отверженных» Гюго, и персонажи их изменяли свои имена, возраст и внешний вид, всегда обманывая своих преследователей. Гастон Леру показал, способности раствориться в окружающей среде некоего злодея в своем много раз переиздаваемом и читаемом романе, «Мистерия желтой комнаты». И на фоне классических образов мятежников, исторических outlaws²⁹⁸, непреклонных и неуловимых, имя «Студент» не сходило с языка — в казармах, на вечеринках в городских домах, в безыскусных песенках, зазвучавших в деревнях, хотя там, по сути дела, еще плохо представляли себе, что такое коммунизм, и Студента воспринимали как бойца-реформатора, защитника бедных, врага богачей, бич лихоимцев, патриота, возрождающего подавленный капитализмом дух нации; люди в нем видели преемника народных вождей эпохи наших войн за независимость, продолжающих жить в памяти народа благодаря своим благородным и справедливым выступлениям.

Он вездесущ, и слава об этом растет день ото дня: он, одаренный талантом находить неведомые тропы, издеваясь над полицейскими патрулями, заставами, и дорожной охраной, — переносится из шахт Севера на Пристань Вероники, из края

²⁹⁶ У лидийского царя Гигеса (VII в. до н. э.), по преданию, было волшебное кольцо, делавшее его невидимым.

²⁹⁷ П.-А. Понсон дю Террайль (1829–1871) — французский писатель, автор многочисленных романов, преимущественно на приключенческие темы, в том числе о похождениях авантюриста Рокамболя.

²⁹⁸ Изгнанников, находящихся вне закона (англ.).

лесорубов на необитаемые плоскогорья, где лишь цветет фрайлехон. Легенда о Студенте обогащалась восхваляющими его повествованиями, романсами о его подвигах, что переходили из уст в уста: он мог проскользнуть, казалось, через самые узкие и непролазные для человека щели; он легко перепрыгивал с крыши на крышу, переодевался протестантским пастором, францисканским капуцином, один раз прикидывался слепым, другой раз — лжеполицейским, а то был пахарем, шахтером, погонщиком каравана вьючных животных, врачом с докторским саквояжем, английским туристом, бродячим арфистом, носильщиком больших плетеных корзин, и пока службы государственной безопасности его разыскивали под невероятный грохот мотоциклов, прочесывая кварталы Столицы, вполне вероятно, что он преспокойным образом отдыхал на скамье Центрального Парка — в парике старика, седобородый, в черных очках, уткнув нос в сегодняшнюю газету; некоторые его сторонники — а вообще-то кто знал, были у него сторонники или нет, — там, вдали, где среди камней растут агавы и кактусы, на побережье, где царят водоросли и рыбачьи сети, на полях спеющей пшеницы и на гумне среди снегов, пели ту песенку, что многие годы назад частенько можно было слышать в Мексике:

Нас, аграристов, обзывают голытьбою и ворами,
а мы просто не желаем у хозяев быть быками.

«Хватит с меня мифов, — говорил Глава Нации, размышляя о растущей популярности Студента, мысленный — и неизвестный — профиль которого каждое утро возникал перед его взором за высоким окном кабинета и перед осязаемым присутствием Вулкана-Покровителя. — Хватит с меня мифов. Ничто так не разносится по этому континенту, как мифы». — «Правильно, очень правильно, — высказывал свою оценку учитель лица, зачастую пробуждавшийся в Церальте. — Монтесума ²⁹⁹ был свергнут мессианско-ацтекским мифом об Одном-Человеке-Светлой-Кожи-который-должен-прибыть-с-Востока.

Анды знали миф об Инке-Утешителе, воплощенном в Тупак Амару³⁰⁰, который немало ударов нанес по испанцам. Мы лелеяли миф о Возрождении-Древних-Богов, о Городе-Призраке в сельве Юкатана, и это когда Париж праздновал приход Века Науки и истово молился Волшебнику Электричеству. Затем миф о некоем Огюсте Конте³⁰¹ на бразильский манер — мистическое обручение негритянского ритуального танца батукке, под барабанный бой, с позитивизмом. Миф о тех гаучо, которые неуязвимы были для пуль. Миф об этом гаитянце — кажется, Макандалем³⁰² его звали, — способном превращаться в бабочку, игуану, в коня или голубку.

²⁹⁹ Имеется в виду поверье, приписываемое мифическому вождю древних индейцев Кецалькоатлю и сыгравшее роковую роль в свержении и гибели императора ацтеков Монтесумы при завоевании Мексики испанскими конкистадорами в 1519–1520 гг.

³⁰⁰ Тупак Амару (1740–1784) — вождь-перуанских индейцев, боровшихся против испанского гнета.

³⁰¹ Огюст Конт (1798–1857) — французский буржуазный философ, основатель позитивизма, впоследствии подвергнутого резкой критике Марксом и Энгельсом. Здесь имеется в виду подучившее распространение и в Бразилии философское течение-неопозитивизм, современная форма философии позитивизма.

³⁰² Макандаль — полумифический герой гаитянских негров, действовавший во второй половине XVIII века (см. повесть А. Карпентьера «Царство земное»).

Миф об Эмилиано Сапате ³⁰³, после гибели вознесшемся на черном огнедышащем коне к небесам». — «А в Мексике, — заметил Глава государства, — нашего друга Порфирио Диаса свергли мифом лозунга «Голосование подлинное, не переизбрание» и мифом пробуждения Орла и Змеи³⁰⁴, которые, к счастью для страны, спали более трех десятков лет. А теперь; здесь создают миф о Студенте — обновителе и пуритане, спартанце, о вездесущем. Надо выпустить воздух из этого шара — мифа о Студенте... А полиция наша, дьявольщина, натренированная в Соединенных Штатах, ни к черту не годится, разве только лишь умеет избивать связанных людей, пытаться их электротоком и погружать с головой в ванну...»

Перальта уже начал было открывать свой дорожный чемоданчик, чтобы успокоить разволновавшегося хозяина, когда поступила неожиданная, поразительная, чудесная весть о том, что Студент, обнаруженный там, где менее всего его ожидали, был схвачен — нелепейшим образом, бесславно, не оказав сопротивления: в контрольно-пропускном пункте Юга два простых, хоть и не столь наивных, патрульных заметили, что на арбе, груженной сахарным тростником, ехал мачетеро, и у этого мачетеро руки оказались без мозолей.

Фотография субъекта, только что снятая, совпадала со снимком, находящимся в его деле, заведенном при поступлении в университет и теперь тщательно изученном полицией. И все-таки этот субъект уже на протяжении двух часов отрицает, что он — это Он, находясь в камере — или, быть может, в ячейке? — Образцовой тюрьмы. «Ради бога, не причинять ему никакого вреда! — воскликнул Глава Нации. — Пусть дадут ему хорошо позавтракать — булочки, масло, сыр, черную фасоль, яичницу, и даже глотнуть чего-нибудь по-крестьянски, если захочет. А потом доставить его в мой кабинет. Поговорим как мужчина с женщиной. Передай ему мое обещание, что я не собираюсь применять против него силу. Так он будет меньше упорствовать».

Глава Нации весьма обстоятельно подготовил, все декорации, необходимые для спектакля. Одетый в строгий сюртук, отделанный шелком, с розово-серым галстуком, орденская ленточка в петличке лацкана, — он сел за свой рабочий стол спиной к огромному окну с матовыми стеклами, выходящему на центральное патио Дворца, так что свет падал прямо на лицо посетителя. Посреди стола — классический бювар, с серой промокательной бумагой, обрамленный тисненым Сафьяном; чернильница с наполеоновским орлом на зеленой мраморной подставке, неприменный кожаный цилиндр, набитый остро заточенными карандашами, пресс-папье — сувенир Ватерлоо; золотой нож для вскрытия писем с выгравированным на рукоятке гербом Республики и папки, многочисленные папки, разбросанные в беспорядке, развороченные бумаги там и тут, словно хозяин кабинета погружен в усердное изучение документов. А несколько поодаль, справа от бювара, словно ничего не означая, лежала книжка в желтой обложке — руководство по разведению кур породы род-айлендов.

Доктор Перальта ввел Студента в кабинет, проявив утонченную любезность, тогда как Глава Нации не прерывал своей игры в сопоставление цифр, поочередно отмечая их вечным пером. Наконец, приподняв натруженную руку, он указал

³⁰³ Эмилиано Сапата (1883–1919) — национальный герой Мексики, предательски убитый реакционерами.

³⁰⁴ Имеется в виду лозунг, выдвинутый участниками Мексиканской революции 1910 года, боровшимися против диктатуры П. Диаса. Орел и змея изображены на гербе Мексики.

посетителю на кресло; И затем собранные в одну пачку бумаги вручил секретарю: «В смете на виадук допущена ошибка на триста двадцать песо. Это недопустимо. Пусть эти господа примут к сведению, что сейчас есть возможность заказать в Соединенных Штатах специальные аппараты, они называются вычислительными машинами...» Перальта вышел. И воцарилось глубокое молчание.

Крупного сложения, широкоплечий — корпус его как будто еще более разбухал в величии президентского кресла — Глава Нации обозревал противника не без некоторого удивления. Он предполагал встретить юношу-атлета, с мускулами, развитыми университетским гандболом, с энергичным и вызывающим лицом человека, готового в любой момент вступить в бой, а сейчас видел перед собой худого, хилого, бледнолицего юнца — на полпути от отрочества до зрелости — с несколько растрепанной прической, и юноша — это да! — смотрел открыто, пристально, в упор, почти не мигая, глаза его очень ясные, не то серо-зеленые, не то зелено-голубые, хотя чуть ли не по-женски эмоциональные, отражали силу характера и решимость того, кто может в случае необходимости действовать непоколебимо, с верой и убежденностью в своей правоте... Всмотривались друг в друга — с одной стороны Хозяин, Властью Облеченный, Несменяемый, с другой — Слабый, Скрывающийся, Утопист. Воочию они друг друга видели впервые — над пропастью, разделяющей два поколения. И каждый, созерцая другого, посчитал своего соперника жалким. Тот, кто Наверху, тому, кто Внизу, представлялся неким прототипом, неким экспонатом исторической коллекции, фигурой, часто встречающейся на плакатах и в карикатурах, воплощением триединства: Властелин-Капиталист-Патрон, отображенного в недавно родившемся фольклоре, — непрменный образ, уже примелькавшийся в ретине, как века назад расхожими были образы лжеученого Болонского Доктора, тупого остряка Турлупина или бахвала Матамороса из *la commedia dell'arte*³⁰⁵. Да, это же непрменный персонаж революционных аллегорий — Студенту вспомнились рисунки Георга Гросса, гравюры Мазереля — находился перед ним: в сюртуке и брюках в полоску, с жемчужиной в галстуке, надушенный дорогими духами; не хватало лишь традиционного отблескивающего цилиндра и гаванской сигары, прикушенной клыками, чтобы полностью символизировать Дух Буржуазии, восседающий на мешках с долларами, которые хранились, конечно, в подвалах некоего швейцарского банка... А для того, кто Наверху, тот, кто Внизу, был иным фольклорным героем, и первый оценивал второго, измерял, раскладывал по кусочкам, в душе удивляясь собственной потребности обращать какое-то внимание на столь ничтожную персону. Другой, кто сидел перед первым, скорее был, по нашей версии, чем-то вроде классического студента из русского романа, мечтателя и доктринера, более нигилиста, чем политика, пролетарием по долгу, обитателем мансард, голодающим, скверно одетым, засыпающим от безмерной усталости среди книг, преисполненным зависти и злопамятства, разжигаемый крушением надежд в невзрачной жизни. Оба они родились одинаково, на одной земле. Однако тот, кто Наверху, прагматик по-своему, прекрасно разбирающийся в обстановке, без промедления избрал восходящий путь, ныне отмеченный, словно вежами, его бюстами и статуями; тот же, кто Внизу, угодил в западную мессию нового толка, что на всем континенте роковым путем приводил увлеченного им прямо в Сибирь тропиков, к сомнительной славе отождествленного по

305 Комедия масок (*итал.*).

Бертильону³⁰⁶, а то и к развязке (это станет темой статей журналистов далекого будущего): к бесследному исчезновению. (В последнем случае семье исчезнувшего либо испарившегося не оставалось ничего другого, как в день предполагаемой траурной годовщины принести цветы на безвестную могилу, имя и фамилия обитателя которой запечатлены лишь в неизбывной тоске, в горе, куда более горшими, чем тоска и горе у гроба, около разверстой могильной ямы...)

Оба продолжали смотреть друг на друга, И в молчании, нарушаемом только посвистыванием какой-то птички, шаловливо резвящейся на ветвях пальмы, в дворцовом патио, возник контрапункт голосов, звуки которых не срывались с губ:

Даже не представляет, до какой степени вошел в свою роль.

Скорее смахивает на провинциального поэта, чем на кого-либо другого.

Именно выдерживает позу.

Из тех, кого премируют на «конкурсах цветов».

Великолепно сверкает в своей мишуре.

Костюмчик-то приличный, похоже, из модного магазина «The Quality Shop».

Морда, как куриная гузка.

девичьи щечки

на фотоснимках выглядел более светлокочим — с годами заметнее происхождение

непричесан, галстук еле завязан, конечно, ради стиля

столько одеколона, что разит, как от проститутки

не хватает ему масштаба, силы, чтобы разыгрывать из себя что-то значительное

есть что-то отталкивающее в выражении его лица

себя, видимо, считает за Мазаньелло³⁰⁷

я считал его более старым

любопытно, на меня смотрит с ненавистью или со страхом?

руки его дрожат: алкоголь

у него руки пианиста, но за ногтями не следит

классический тиран

архангел, каким в юности казались и мы все

порочный человек, способный на любое свинство: это написано на его лице

лицо юнца, еще не познавшего многих женщин: соломенный интеллигентик

даже не чудовище: надутый индейский касик

такие хилыги хуже всего

ну и спектакль: манера принимать, свет на лицо, эта книжка на столе

способен на любое: терять ему нечего

нечего так вглядываться, глаз не опуцу

хотя и храбрец, но пытки не выдержит

задаю себе вопрос, выдержу ли пытку; бывают и такие, что не могут...

думаю, что ему страшно

пытку...

³⁰⁶ Альфонс Бертильон (1853–1914) — французский криминалист, автор антропометрического метода установления личности преступника.

³⁰⁷ Мазаньело (1620–1647) — итальянский рыбак, вожь народного восстания в Неаполе, направленного главным образом против испанского господства, был провозглашен правителем Неаполя. Погиб от руки подосланных испанцами убийц.

если его прижать слегка
будут выпытывать у меня имена
чего еще ждать — вначале надо припугнуть
руку подносит к звонку: сейчас вызовет
нет, я дал себе слово
не знаю, смогу ли выдержать
заговорить первым.
ужасно подумать об этом, об этом, об этом...
незачем делать из таких людей мучеников, незачем делать мучеников — надо
стараться не делать этого
он дал мне слово, но слово его ничего не значит
все знают, что в эти часы Он здесь; и что я дал себе слово
сейчас позвонит: я уже вижу себя в наручниках
других, более крепких, чем эти, и то удавалось переубедить
когда же он решит заговорить?
выпустить его, и пусть за ним следят: куда-то должен он пойти
почему он ничего не говорит, эта сволочь? Почему не открывает рта?
начал потеть
вот еще пот выступил, а платка у меня нет, платка нет; и в этом кармане тоже
нет...

ему страшно
улыбается хочет, видимо, что-то мне предложить, какое-нибудь свинство
а что, если угостить его глотком
уверен, предложит мне выпить
ведь не примет, прикинется чистеньким
хорошо бы предложил глоток: мне было бы легче
не хочу нарываться на отказ
Ну, давай, давай, наберись храбрости, бутылочку из этого чемоданчика, все же
знают, что в нем
однако, да...
Хочу сказать вам... хочу сказать...
похоже, меня он не понял... шум грузовика
кажется, что он мне сказал, предложил выпить, но не расслышал: этот грузовик
теперь трамвай
трамвай
не ясен жест
вероятно, он не разгадал мой жест ну, мы поглядели друг на друга уже
достаточно, сейчас — книжку, чтобы видел, что...

Глава Нации взял в руки брошюру по разведению красноперых кур породы
род-айлендской; открыл ее и, натянув на нос очки, начал читать вслух с подчеркнутым
ехидством: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». И с более
подчеркнутым лукавством вмешался Студент: «Все силы старой Европы
объединились для священной травли этого призрака...» — «Папа и Вильсон, Клемансо
и Ллойд-Джордж...» — «...Меттерних и Гизо», — поправил его Глава Нации. «Вижу,
что классиков вы знаете», — сказал Студент. «Лучше знаю насчет разведения кур. Не
забывай, я — сын земли... Может, поэтому...» И смолк в замешательстве. Какой
манеры лучше придерживаться в этом диалоге? Не нажимать же на развесистое

многословие, как в «Молении на Акрополе»? Это юнец, принадлежащий новому поколению, нашел бы смешным, а вместе с тем нельзя впадать в прямую противоположность, нельзя прибегать к жаргону, к словарю предместий, невежественной черни: так можно легко уронить собственное достоинство, хотя с некоторым кокетством он пользовался жаргонными словечками в беседах с Доктором Перальтой и Мажордомшей Эльмирой.

В конце концов предпочел тон более гуманный, раздумчивый, ничего общего не имеющий с обычным панибратством, принятым между нами, что своей экзотичностью в этом суетном мире привело бы к отдалению большему, чем ширина стола, разделявшего их. Отлично владея своими жестами, цедя слова сквозь зубы по-актерски, — совсем как Люсьен Гитри, — он спросил находившегося перед ним; юношу, подражая трагедийному персонажу, которому наскучили смутные предназначения рока: «Почему вы так меня ненавидите?..» — Студент, прекрасно понявший значение; «вы в словесной стратегии другого (пытается применить стиль Вольтера, у которого было сказано «имел честь беседовать» с некой индейкой, носившей лишь набедренную повязку...), отвечал самым кротким и примирительным тоном, какой только мог передать его голос; «У меня нет чувства ненависти к вам, сеньор». «Однако любовь не слова, а дела, — произнес Всемогущий, не подчеркивая сказанное. — И бомбы тут бросали не в дворцовую прислугу. Следовательно, ненависть, ярость бушует в вас». — «Ничего против вас, сеньор». — «Но... а эти бомбы?» — «Их я не подкладывал, сеньор. К тому же я ничего не понимаю во взрывчатке». «Ладно, ты... нет (поправился)... вы — нет. Но их подкладывают ваши сторонники, ваши друзья, ваши соучастники (тут же ему показалось, что слово «соучастники» чересчур вульгарно, пригодно лишь для языка полицейских донесений)... ваши единомышленники, ваши помощники, ваши компаньоны... (Стоп, что-то слишком цветисто!)». — «Мы не подкладываем бомбы, сеньор».

Глава Нации начал выказывать беспокойство. Не походило ли все это на театрализацию басни о Волке и Ягненке? «Но... кто тогда их подкладывает? Кто? Не хотите ли вы мне сказать?» — Другие, но не мы. Мы слишком много раз убеждались в том, что покушения анархистов ничего на свете не могут изменить. Анархисты Равашоль и Казерио со своим самопожертвованием столь же абсурдны, как Бакунин и Кропоткин — со своими доктринами». — «Нечего меня убеждать хитроумным словоблудием в духе византизма, всякими уловками, как будто мы заседаем на Никейском соборе (и еще мои!). Впрочем, все вдобавок одно и то же... Даже, предположим, это были не вы, когда бомба взорвалась в моей ванной комнате, но ведь вы аплодировали». — «Совсем наоборот, сеньор. Самое худшее, что может случиться с нами сейчас, так это если вас убьют. У меня есть один соратник, католик, фанатик, — ничего с ним не поделаешь, — и вот он молится, взывает к Богородице, чтобы продлила она для нас ваше драгоценное существование».

Глава Нации, пораженный и вместе с тем возмущенный, вскочил с места: «Мое драгоценное существование? Ты — вот именно — ты скор на... выдумку! Выдумка, как ты понимаешь, это-эвфемизм...» («Ага, перешел на «ты».) — «Именно в вас мы нуждаемся, сеньор». Другой — Всемогущий, Великий — разразился хохотом: «Вот это действительно здорово, теперь выходит, что я марксист, коммунист, меньшевик, революционер — и мать, что их всех породила, и все это одно и то же, и все ищут лишь одного и того же: устроиться в Кремле, устроиться в Елисейском дворце, устроиться в Букингемском дворце или сесть в это кресло (он ударил по спинке

президентского кресла), чтобы околпачивать всех вокруг, наслаждаться жизнью и набивать карманы деньгами.

Царский посол, который остался у нас, поджидая, когда все тамошнее лопнет, и скоро лопнет, мне рассказывал, что жена Ленина носит драгоценности, ожерелья и короны императрицы Александры...» — «Великолепно, что вы думаете так и сочиняете подобные вымыслы, сеньор. Лучше, когда нас не понимают, чем недопонимают. Те, кто нас недопонимает, воюют против нас злее, чем те, кто принимает нас за фантастов». — «Однако, в конце концов, если завтра я умру...» — «Нам будет очень жаль, сеньор... Тогда власть захватит военная хунта, и все будет продолжаться так же или хуже, чем при правительстве какого-нибудь Вальтера Хофмана, царство ему небесное». — «Но... чего тогда вы хотите?» И другой, несколько повысив голос, но неторопливо произнес: «Чтобы вы были свергнуты на-род-ным-вос-ста-ни-ем». — «А потом? Ты займешь мое место, не так ли?» — «Никогда не желал чего-либо подобного». — «Стало быть, у вас уже есть кандидат?» — «Слова «кандидат» нет в нашем словаре, сеньор». Глава Нации пожал плечами: «Чепуха! В конце концов кто-то, все-таки кто-то должен взять в свои руки власть? Всегда нужен человек, всегда человек во главе любого правительства. Вот смотри, Ленин в России... Ах да! Уже вижу! Луис Леонсио Мартинес, твой профессор в университете...» — «Он кретин. Может отправляться куда угодно со своими древнеиндийскими пуранами³⁰⁸, с Камилем Фламарионом и учением Льва Толстого (он даже рассмеялся). Его возвращение «на землю! Чью землю? На земли американской монополии «Юнайтед фрут»?...

Главу Нации уже начал серьезно раздражать поворот беседы, и он с нетерпением пытался перевести разговор на другую тему: «В таком случае вы, значит, замыслили насадить здесь социализм?» — «Ищем путь». — «Русский путь?» — «Быть может, он будет не таким. Мы живем, на другом меридиане. С одной стороны, это проще, с другой — сложнее».

Президент стал расхаживать по кабинету, рассуждая будто с самим собой: «Ай, ребятишки, ребятишки, ребятишки! Если вы будете насаждать здесь социализм, то через сорок восемь часов увидите североамериканскую морскую пехоту в Пуэрто Арагуата». — «Всего вероятнее, сеньор». — «В таком случае... (покровительственным и дружественным тоном)... В таком случае я завидую тебе. В твои годы я тоже подумывал о подобных вещах... Но... сейчас? Смотри, Жанну д'Арк сожгли девятнадцати лет от роду, потому как, если бы она достигла тридцати, то спала бы с королем Франции и заполучила все то, что заполучила, вступив в сделку с англичанами, но не погибла бы на костре... У тебя — свои кумиры. Хорошо. Уважаю их. Но не забудь, что гринго — римляне Америки. А против Рима не попрешь. А тем более с людьми в альпаргатах (продолжая в интимном тоне)... Можешь говорить со мной с полным доверием, как со старшим братом. У меня есть политический опыт, чего вы не имеете.

Я мог бы объяснить тебе, почему то или иное возможно, а другое — нет. Все, чего я хочу, — это понять... чтобы мы поняли друг друга... Доверься мне... Скажи мне...» — «Я еще не рехнулся», — ответил другой с внезапно прозвучавшим смешком; он начал также расхаживать по кабинету, но в противоположном собеседнику направлении — пока один прислонялся к камину с имитацией дров, другой

³⁰⁸ Пураны — древнеиндийские мифологические тексты.

останавливался у консоли, зеркало которой, висящее в простенке между дверьми, увеличивало размеры помещения. Вскоре Глава государства чисто по актерски, в полной безнадежности махнул рукой: «Так ничему и не научились, не извлекли уроков из этой жизни. А я... сегодня, слушая тебя, неожиданно пришел к выводу, что являюсь Первым заключенным Нации... Да. Не смейся. Я живу тут, окруженный министрами, чиновниками, генералами и докторами, каждый из них двуличен в своей лести и в раболепии, каждый от меня скрывает действительное положение вещей. Мне только и показывают видимость, декорации. Я живу как бы в пещере Платона³⁰⁹... Ты знаешь об этом... о пещере Платоновой? Ну конечно! Глупо спрашивать тебя об этом... И вдруг ко мне приходишь ты, полный веры, порыва, свежей крови, и передо мною чем-то осязаемым стала фраза французского поэта: «Я большему учусь у молодого друга, чем у наставника преклонных лет». Ах, если бы я мог рассчитывать на искренность таких людей, как ты! Меньше ошибок совершил бы! Более того, ты видишь, я готов провести диалог в иной плоскости. Например, смотри, — я понимаю, что мы были слишком, скажем, жестки в том, что касается университетской проблемы. Хочешь, мы тотчас же ее быстро обсудим, и ты через час отправишься отсюда с таким решением, которое может удовлетворить твоих людей? Зависит от тебя... говори...» Другой, переходя от камина к зеркалу, проронил по-итальянски: «Commediante».

Глава Нации, все более распалаясь, огромными шагами вышагивал от зеркала к камину, потеряв прежнюю выдержку: «Слышишь! Если ты читал Альфреда де Виньи, то я тоже его читал. И нечего разыгрывать роль Пия VII перед Наполеоном³¹⁰. И до того, как ты скажешь «Tragediante», узнаешь, как прозвучит это...» — Из внутреннего левого кармана сюртука он вынул браунинг и положил его на стол, направив ствол на собеседника. «Так что война продолжается?» — «Продолжится, со мной... или без меня». — «Настаиваешь на своих утопиях, на своих социализмах, которые обанкротились повсюду?» — «Это дело мое... И многих других». — «Мексиканская революция потерпела крах». — «Этим она научила нас многому». — «Русская уже провалилась», — «Это еще не доказано».

Теперь Глава Нации стал играть с пистолетом, демонстративно вынимая и закладывая обойму с патронами. «Убейте меня сразу», — сказал Студент. «Нет, — ответил Президент, пряча оружие. — Здесь, во Дворце, нет. Запачкается ковер...». Снова наступило молчание. Снова послышалось пересвистывание птичек томегинов в патио. Два взгляда, избегая встречи, уставились в стены. («Сколько будет продолжаться?...» — «Надо поправить ту картину...» — «Положение безвыходно...»).

Наконец, как бы преодолевая себя, Президент заговорил: «Хорошо. Поскольку ты не хочешь столкнуться со мной, даю тебе срок — трое суток, чтобы покинуть страну. Попроси у Перальты, что тебе нужно. Можешь отправляться куда желаешь. В Париж, например. Я мог бы отдать распоряжение, чтобы тебе выплачивали помесечно — более чем прилично и в полной тайне. Тебе не потребуется появляться в нашем посольстве. Твои друзья не удивятся, узнав, что ты уехал, — они поймут: здесь ты, как

³⁰⁹ Посредством аллегорического образа пещеры древнегреческий философ-идеалист Платон (427–347 гг. до н. э.) в диалоге «Государство» доказывал превосходство мира идей над чувственно воспринимаемым миром.

³¹⁰ Римский папа Пий VII в 1804 году короновал Наполеона Бонапарта императором Франции. Французский писатель А. де Виньи (1797–1863) в повести «Жизнь и смерть капитана Рено, или Камышовая трость» приводит вымышленный диалог между папой и Наполеоном, когда в ответ на посулы и благие заверения последнего Пий VII бросил реплику: Commediante!

революционер, «сожжен»... Нет! Подожди! Без всяких мелодраматических жестов! Я не собираюсь подкупать тебя — лишь предлагаю тебе простую дилемму... — Резко сменив тон, он продолжал: — Я не предлагаю тебе Париж веселых девочек и ресторана «У Максима», что сделал бы для любого нашего прожигателя жизни. Предлагаю тебе Париж Сорбонны, философа Бергсона и антрополога Поля Риве, а Риве, похоже, многое знает о наших делах и, кстати, недавно опубликовал великолепное исследование Мумии, которую несколько лет назад я подарил музею Трокадеро. Все остальное — дело твое. В Сент-Этьен-дю-Мон передашь привет от меня Расину, в Пантеоне — Вольтеру и Руссо. Либо, если хочешь создать свое «Моление на Акрополе», разумеется, на большевистский манер, то на кладбище Пер-Лашез найдешь Стену коммунаров. Есть на любой вкус... Ты сам выберешь». (И несколько раз он повторил — «ты сам выберешь», — и с каждым разом слова эти звучали все двусмысленнее, туманнее.) «Мне нечего делать в Париже», — сказал Студент после многозначительной паузы. «Как хочешь. Оставайся. Но со вторника — это будет послезавтра — войдет в силу приказ убить тебя без всяких проволочек, где бы тебя ни обнаружили». — «Моя смерть будет наилучшей рекламой для вас». — «Сынок, закон о мерах при «попытке к бегству» — это ложь, но общепринятая. Как и самоубийство беглеца или того, кто повесился в своей камере, поскольку забыли отобрать у него шнурки от ботинок. И это случается в странах более цивилизованных, пусть имеют они распрекрасные лиги защиты прав человека и всяческие другие учреждения, в равной степени почитаемые, чтобы спасти свободу и достоинство личности... Ах!.. И предупреждаю тебя, что вместе с тобой погибнут и те, кто предоставит тебе убежище — вместе со всей семьей, со всеми. Согласен?» — «Могу идти?» — «Убирайся к дьяволу! И подготовь себе эпитафию: «Здесь покоится тот, кто умер, будучи обалдуюем». Студент встал. Глава Нации взмахнул рукой в знак прощания, — не рискнув протянуть руку и встретить отпор. «Вообразить себе не можешь, сколь мне жаль. Такой ценный юноша, как ты. Хуже всего то, что я тебе завидую: мне бы твои годы, я был бы с вами. Ты еще не знаешь, что такое управлять этими странами. Не знаешь, что значит переделывать человеческий материал, что...»

Фигура Главы Нации исчезла в каскаде разбитых стекол. Зеркало, в котором только что мелькало его отражение, этажерки, книжные шкафы, картины, камин — все рухнуло под лавиной штукатурки и алебастра, изломанных реек, позолоченных рамок и рам, щепок, обоев; лавина сорвалась вслед за оглушительным грохотом, вызвавшим острую боль в ушах и будто отдавшимся в груди и животе. Президент, смертельно бледный, очищая рукой гипсовую пыль, от которой побелевший сюртук скорее выглядел курткой хлебопека, со страхом озирался вокруг. Студент лежал на полу. Президент уже ощупывал себя, желая убедиться, не замажутся ли где кровью руки. И прежде всего не пострадало ли лицо: женщины играли в жизни Главы Нации особую роль. «Ничего... Сегодня заново родились, — промолвил Президент» «И вы все еще верите, будто я такой идиот, что способен бросать бомбы в самого себя?» — спросил юноша, поднимаясь. «Теперь, да, теперь тебе верю. Но это ничего не меняет. Я уже сказал тебе всё — больше нечего».

В помещение вбегали люди: прислуга, чиновники охранники, Мажордомша Эльмира, секретарши.

«Выходи здесь», — сказал Глава Нации, провожая Студента в соседний салончик — весь в розовом, украшенный изящно выполненными фривольными гравюрами, с

широкой софой, на которой лежали подушечки; отсюда на улицу спускалась узкая винтовая лестница, давно ставшая притчей во языцех. «Это сюда вам приводят девочек?» — «В мои годы я все еще в порядке. Только что мог в этом убедиться. — И, положив руку на плечо Студента, Президент сказал: — Для тебя я, должно быть, смахиваю на Калигулу... не так ли?» — «Пожалуй, на коня Калигулы»³¹¹, — охваченный неодолимым желанием дерзить, ответил тот, прежде чем с быстротой белки спуститься по ступенькам. Глава Нации был настолько ошеломлен, что при появлении Доктора Перальты смог лишь произнести: «Открой ему внизу... И пусть отпустят его на свободу». — «Там принесли аптечку первой помощи, сеньор». — «Не думаю, что пригодится... У меня ничего... ничего... ничего...» И, еще раз проведя руками от груди до колен, не обнаружил ни боли, ни крови.

XVI

...всегда гораздо безопаснее защищаться, чем бежать...

Декарт

В марте того года потребовалось продлить мораторий — так или иначе, если бы не было официального объявления об отсрочке выплат по финансовым обязательствам и долгам, то мораторий продлили бы, затянули бы, оттянули бы, довели бы до последней календарной даты те, кто привык действовать по собственной прихоти. Коварные интриги, вероломство, ловушки, плутовство и к тому же вкупе с неплатежеспособностью — всё прикрывалось магическим, заговорным, даже несколько крематорно звучащим словом мораторий.

Никто Ничего не оплачивал. Обитатели доходных домов и трущоб встречали камнями и кольями домовладельцев и их управляющих, пытавшихся взыскать квартирную плату, а для пущей убедительности на последних спускали собак. Коммерсантов с Канарских островов и сирийцев; торговавших с лотка всякой всячиной, лавочников, отпускавших товары в кредит, домашние хозяйки теперь обзывали анархистами — женщины были; убеждены, что поблизости окажется полицейский, ежели кредиторы будут чрезмерно настаивать на оплате более чем просроченных счетов за кружева и белье. Вещи покупались в рассрочку и в тот же день закладывались; люди раздобывали тут, чтобы подправить там. В не прекращавшемся коловращении ценных бумаг, векселей, мошеннических — на грани разоблачения — сделок некоторые прибегали к заимодавцам, к ростовщикам, жили надеждой на судебную волокиту, в ожидании чудес, уповая на выигрыш в лотерее или на проценты С ссуды; столь часто пускали в ход чеки без фондов, что даже тому, кто слыл богачом, ныне приходилось выкладывать только наличными. И в конце концов все это привело к тому, что новый город стал свертываться — именно свертываться, и с такой же стремительностью, с какой ранее развертывался. Высокое укорачивалось, сжималось, сплющивалось, как бы возвращаясь к фундаменту, к грязи котлована. Покрываясь сыпью нежданной нищеты, честолюбивые небоскребы города — теперь скорее туманоскребы, чем небоскребы, — выглядели приниженными; их верхние этажи, покинутые компаниями, потерпевшими крах, обезлюдели, помрачнели, былой лоск пропал под пятнами сырости, утонул в тоске грязных оконных стекол; осиротели статуи, на которых в течение каких-то недель выявилась проказа. Утратив прежние

³¹¹ Древнеримский император Гай Цезарь (12–41 гг. н. э.), прозванный Калигулой, кровожадный и развратный правитель, объявлял себя богом. Увлекаясь скачками, он собирался назначить консулом своего любимого коня.

краски, представ неопрятными, заляпанными, здания придали столице унылый серый тон — в городской серятыне все приходило в упадок, рушилось и считавшееся еще вчера модерном столь мгновенно устаревало, что ветхостью своей не отличалось от считавшегося старым в начале века. В портале биржи, почти совсем опустевшей и сонной, разместился рынок певчих птиц, попугаев и черепах; здесь продавали также сласти, освежающие напитки и початки вареного маиса; здесь расположились и холодные сапожники, точильщики ножей и ножниц; здесь сбывали молитвы, напечатанные на отдельных листках бумаги, и разные амулеты; здесь же пристроились и знахари, врачевавшие дикими травами. («А вам против сахара в крови — навар лиловой альбааки; а вам против астмы — сигареты из лепестков колокольчика; а вам против соков, что выходят наружу, — кокосовое молоко с голландским джином; а вам, кума, против задержки месячных — кундиаморную настойку с двумя листками камеди, и принимать надо, как указано, лишь увидите ночную бабочку татагуа...») «Торгаши в храме», — по-библейски изрекал, вздыхая, Глава Нации. «Несмотря на Версальский договор, и Европе очень нездоровится», — как бы в утешение поговаривал Доктор Перальта, мечтая о новой войне, длительной, отменной, сулящей барыши и, быть может, более близкой, чем иным думалось. «Вильсон своими четырнадцатью пунктами запутал всё на свете»³¹². Тысячи объявлений о распродаже по дешевке и о ликвидации торговых фирм воспринимались как реквием по отцветшей коммерции. Брошенные на произвол судьбы здания, которым даже не довелось показать свои молочные зубы — начатые строительством стены не достигли и роста человека, — повсюду торчали останками мертворожденного, свидетельством того, что не могло появиться на свет, памятником возвращения к прошлому, к начатому, — помещения без крыш, лестницы, идущие в никуда, колонны, невольно напоминающие колонны Помпеи, а обширные участки для городских застроек, градостроительные площадки, пригородные наделы были опять завоеваны сорняками, спустившимися с гор: травами, вернувшимися в столицу с эскортом полевых колокольчиков и осота в праздничных метелках, а за травами следовали кустарники, а за кустарниками — древесные стволы, древовидные папоротники, растительные создания быстрого продвижения и быстрого прорастания, затеня камешки и гальку, на которые уже воротились беглянки змеи, чтобы отложить тут яйца в холодке, под открытым небом. Между тем косогоры, окружавшие город, обрастали лачугами из жести, просмоленного брезента, дощечек от тары, из склеенных клеєм либо самодельным клейстером газет и картона — сооружения поддерживались подпорками и рогатками на откосах, сохраняли свое уму непостижимое равновесие, пока не нарушалось оно под ранними весенними ливнями, и тогда проваливались полы, разваливались лачуги, целые семьи оказывались на дне оврагов. С высоты скоплений «поселков нищеты», «селений голода», «фавел» каждую ночь можно было созерцать, как зритель из райка, панораму переливающихся огней города, реклам ювелирных салонов и магазинов хрусталя, великого искусства филателии и винных лавок с бутылками давней выдержки, — города, где кое-кто еще подумывал о проведении благотворительных лотерей, но собранные деньги предназначались бы, конечно, только на реставрацию колониальных церквей либо ни проведение выборов королевы красоты (креолки, разумеется, но не слишком-то «загорелой»), которая могла бы блестяще представить

³¹² Имеется в виду империалистическая программа мира, провозглашенная президентом США В. Вильсоном в январе 1918 года.

нас на Международном конкурсе в Корэл Гейбл, в штате Флорида, откуда донесся вальс «On Miami Shore»³¹³, что ныне исполняется повсюду...

В том году сахарные заводы до истечения обычного срока прекратили помол сахарного тростника. Предоставленные судьбе, деревья-каучуконосы заживляли свои раны в зарослях тропической сельвы. Вновь вспыхивали забастовки на Севере, мятежи на лесопилках города Уррутиа, кровавые столкновения между горняками и армией в Нуэва Кордобе. Какие-то вооруженные отряды, предводимые главарями, еще вчера никому не известными, бродили по горам Юга, поджигая асьенды, грабя лавки, нападая на казармы; и в течение двух, а то трех дней господствовали в селениях, заставляли отплясывать алькальда, коммерсантов и других лиц из местной знати под пистолетную пальбу прямо им под ноги, чтобы чечетка была более резвой. Власти некоторых провинций уже ничего не могли поделать против людей, которых кто-то подстрекал и которые — а сколько раз в истории страны наблюдались подобные случаи! — пробуждались от покорности, от спячки, от тридцатилетнего смирения и внезапно — когда это меньше всего ожидалось — применяли насилие, хотя насилие здешние социологи считали явлением, чуждым врожденному добродушию, столь характерному для национального темперамента. Измученные малярией, с запавшими от болезни глазами крестьяне, обутые в домодельные сандалии — уарачес, — взобравшись на пораженных клещами и преследуемых мухами лошадемок, донельзя изъезженных, пестрящих потертостями и опухолями, атаковали великолепных, выхоленных кентгукских коней сельской жандармерии. Это были бои старинных мушкетов против новейших маузеров, стычки ножей и палок погонщиков скота с отточенными армейскими тесаками. В более крупных населенных пунктах черепица, кирпич, камень, а порой и динамит противостояли свинцу...

Последние события заставили Главу Нации уединиться на острове со сторожевыми вышками, с наблюдательными пунктами, со многими решетками, симметрично обсаженном пальмами. Таким островом стал Президентский Дворец, куда стекалось столько известий — запутанных, противоречивых, ложных или правдивых, оптимистичных либо донельзя мрачных, — так что нельзя было прийти к ясной, общей и хронологически точной оценке происшедшего.

Тот, кто хотел преуменьшить размеры понесенного поражения, не придавая никакого значения случившемуся, докладывал о столкновении с беглыми и скотокрадами, хотя на самом деле развернулось настоящее сражение с могучими народными силами. Тот, кто хотел оправдать свое малодушие, преувеличивал до гигантских цифр численность противника. Тот, кто хотел скрыть отсутствие информации, старательно избегал говорить о подлинном положении в стране. «Вы заставляете меня... — кричал Глава Нации вне себя от гнева, — заставляете вспомнить тех европейских генералов, которые, проиграв битву, ссылаются на «стратегический отход», на «выравнивание линии фронта», — резонно, это элегантный способ признать, что крепко им дали по затылку...»

И со своих постов слетали губернаторы, и слетали начальники гарнизонов, и слетали правительственные чиновники в мундирах или в шляпах-панаме — слетали в нескончаемой, опять и опять возобновлявшейся игре смещений, замещений, отстранений, отобранных и возвращенных должностей, неблагодарных миссий, поручаемых тому, кто хотел бы отсидеться дома, отставок согласно телеграфному

313 «На побережье Майами» (англ.).

распоряжению, приглашений старым сотрудникам, впадшим было в немилость, патриотических речей, призывов к национальному согласию. И Дворец-остров превращался все более в остров, день ото дня, и всё возрастала и крепла сплоченность прислужников правительства, которые за стенами доброй каменной кладки колониальных времен чувствовали себя обереженными, защищенными от враждебных сил, что, словно прибоем, вызванным далекими ураганами еще непредвиденной траектории, били по их сторожевым башням, амбразурам и брустверам, где всечасно сверкало голубоватым металлом холодное оружие.

Уже подготовили мешки с песком — предусмотрительность никогда не мешает — на плоской крыше здания Дворца. В воздухе пахло покушениями. Внезапно хлопнувшая под порывом ветра дверь, резкий рывок с места мотоцикла, молния, прорезавшая небо без грозowych туч, — частенько такое бывает в эти месяцы, — вызывали у всех столь глубокие потрясения, что слова Мажордомши Эльмиры: «Не будьте трусами!» — будто повторы лейтмотива в вагнеровской опере, то и дело раздавались по коридорам и галереям, находившимся под усиленной охраной.

«Нажмите, Президент, нажмите. Надо нажать сильнее», — говорил Перальта, когда какой-нибудь неприятный случай вторгался в распорядок наступившего дня. Однако самое главное заключалось в том, что ныне Глава Нации уже не мог «нажать» там, где это следовало бы сделать, потому что поблизости от Дворца-острова в городе появился другой остров, хотя совсем рядом расположенный, но все же неприкосновенный: остров желтых зданий, отделанных обтесанным камнем, изобиловавших лепными украшениями, — прямо-таки стиль «платереско», лишь переименованный в Калифорнии, — и этот остров ширился и ширился в том районе, где, чуть не бок о бок, распахивались двери в освежающую полутень «Hotel Cleveland»³¹⁴ в пахнущую кленовым сиропом Grocery, в дремлющий Clearing House, «Sloppy Joe's Bar»³¹⁵, и в разные магазинчики «Curios»³¹⁶ и «Souvenirs», в которых из-за отсутствия местных ремесленных изделий — наш народ, очень музыкальный, не особенно-то тяготел к пластическому искусству — продавали мексиканские шерстяные накидки-сарапе из Оахаки, гаванские погремушки-маракас, уменьшенные и высушенные по способу эквадорских индейцев хибара человеческие головы, откуда-то привезенных блох, одетых — для свадеб и похорон — в половинки ореховой скорлупы, наборы пуговиц для щегольского костюма наездника-чарро и всякое иное, что никогда не производилось в нашей стране, так же как и древние археологические находки явно вчерашнего изготовления.

Центром другого острова стал American Club, где — а это известно из достоверных источников — проблемы кризиса в стране, банкротств, беспорядков серьезнейшим образом обсуждались между партиями в покер, собраниями «Дочерей революции», заседаниями масонов в турецких фесках, проведением своих праздников 4 июля — Independence, Day, Thanksgiving, Halloween под звездно-полосатыми флажками и с ребяташками, напялившими маски из выдолбленных тыкв. И обсуждавшие приходили к ошеломляющему, к невероятному заключению, что в

³¹⁴ Кливленд-отель

³¹⁵ «Бар чувствительного Джо» (англ.).

³¹⁶ Достопримечательности

данный момент, ввиду отсутствия более достойного, Человеком Провидения — можно сказать, последней ставкой, пусть рискованной, но спасительной, — мог бы стать Луис Леонсио Мартинес, побежденный в Нуэва Кордобе, неожиданно и поразительно снискавший благорасположение государственного департамента Соединенных Штатов. «Хотя все сохранялось в глубокой тайне, Ариэль знал, что тот в течение нескольких дней находился в Вашингтоне, — уточнил Перальта. Еще раз подтверждено, что в политике нет мертвого врага». Глава Нации размышлял вслух: «Они, эти, чьи интересы я защищал, как никто... эти, заполучившие: от меня все, что хотели, теперь они сваливают на меня вину за происходящее в стране. И не хотят признать, что кризис порожден не нами, он всеобщий, универсальный. Пусть посмотрят на Европу, где те черт знает что натворили, перекроили географическую карту, подорвали финансы, создали искусственные нации — хаос, скажу я, настоящий хаос. А теперь еще пытаются у нас навести порядок, используя идиота профессоршкы». — «Они считают, что со сменой власти — с этим вечным мифом о благодетельности перемен — можно выпрямить кривую... Быть может, они думают, что нас уже побил моль, что мы в какой-то степени «*vieuxjeu*»³¹⁷, — стонал Перальта, тогда как Глава государства вернулся к навязчивой идее, которая на протяжении нескольких последних дней не давала ему покоя: «Дурак я был, что не прикончил Студента, ведь здесь он находился, передо мной, как вот сейчас тебя вижу. И браунинг на столе. Только одно движение. А для публики: «Пытался совершить покушение на меня, я был вынужден защищаться». Мажордомша Эльмира после могла прострелить правое плечо моего сюртука, подвешенного на вешалку, а уж потом сюртук я бы надел. И еще опубликовать хорошенькое фото того, другого, растянувшегося на ковре, — несчастная жертва моего законного инстинкта самосохранения. Все очевидно. Всё подтверждено. И первые аплодисменты прозвучали бы в American Club. — «Это ничему бы не помогло». — «Но Студент продолжает шататься тут, он никуда не уехал. Наша полиция сегодня, как и вчера, не может схватить его. И он преспокойно продолжает публиковать свой пасквильный листок на бумаге «библ»... — «Эту газетенку прежде всего читают члены American Club. А публика, для которой пасквиль предназначается, едва-едва умеет читать. Кроме того, идеи, излагаемые в листке, чересчур сложны для наших людей в рабочих комбинезонах и уарачес». — «Понять, конечно, не поймут идейки этого человечешки, но ведь слепо верят в него». — «Ба! Только абстрактно. Для них он Некий-кто-может-чем-то-помочь. Опять же миф о переменах! Но юнцу не хватает плоти, не хватает образа, не хватает осязаемости. Его реальность ближе нашим крестьянам, для них он — Святой избавитель, имя которого не числится в святцах, но к могуществу которого прибегают, когда чего-то хотят, и поскорее; они молятся перед гравюрой — напечатанной, кстати, в Париже, — на которой они видят неизвестного церкви Чудотворца, потрясающего саблей со словом *Hodie* — стало быть, «сегодня», однако наши люди, не знающие латыни, утверждают, будто на стали выгравировано соленое словечко, не то «Уходи!»».

«И ты полагаешь, что Леонсио более популярен в народе, чем Студент?» — «Никоим образом. Но поскольку гринго боятся Студента — и особенно опасаются тех идей, которые он проповедует, — то предпочитают поддерживать человека из Нуэва Кордобы. Личность им не столь важна. Но она может олицетворять образ

³¹⁷ Устарели (*фр.*).

«Демократии», чем они жонглируют всякий раз, как только пытаются изменить что-то в нашей Латинской Америке» — «Это вопрос лексики». — «Каждый истолковывает слово по-своему: они говорят о «Защите демократии», мы — о «Защите установленного порядка...» — Глава Нации опять начал размышлять вслух: «Быть может, нам следовало бы затронуть струну национального достоинства — недопустимое вмешательство янки во внутренние дела страны... Наш народ ненавидит этих гринго». — «Наш народ — да, однако наша буржуазия всегда подлаживалась и подлаживается к ним. Для наших денежных людей слово «гринго» — синоним Порядка, Техники, Прогресса. Дети из богатых семейств, если не обучаются у иезуитов в Белеме, в Бразилии, то проходят курс наук в Соединенных Штатах — в Корнелле, в городе Трои либо в Вест-Пойнтской военной академии. Нашу страну наводнили — и вы это знаете — методисты, баптисты, «свидетели Иеговы», не говоря уж о газете «Крисчен сайенс». Североамериканские библии вошли в меблировку наших богатых домов, как и портрет Мэри Пикфорд в серебряной рамке и с непременно отштампованным автографом — «Sincerely yours»³¹⁸» — «Мы теряем все искони наше, чересчур отделились от Испании-матери». — «Слезами горю не поможешь. Вам храбрости не занимать, вы и в худшее ненастье умели пользоваться плащом тореро. Более опасными были генералы Атаульфо Гальван и Вальтер Хофман, увлекшие за собой часть армии. Военный заговор по крайней мере нам не угрожает». — «Это точно, на армию я могу положиться. Несомненно». — «И это знают янки, Президент, янки знают...»

В эту минуту до кабинета донеслась струнная музыка — медленная, нежная, печальная, многократно отраженная сводами арок за цветущими фламбойями Центрального Парка. «А, уже начали! — воскликнул Глава Нации. — Эльмирита говорит, что такое приносит несчастье... Закрой окно, Перальта...» Поспешно захлопнул окно секретарь, неожиданно столкнувшись с повседневностью Сделок со Смертью — единственного, процветавшего в кризисные времена бизнеса, чем занялись ловкие люди, знающие, как вести дело со всегда гарантированной клиентурой, побуждаемой атавистической тоской по Беспробудному сну в потустороннем мире.

Во всей стране в процессе слияния традиций эстремадурское³¹⁹ — все-таки наш первый конкистадор родом был из Касереса, как и Писарро, — смешалось с индейским, и похоронный ритуал был весьма сложным, пышным и долгим. Когда в селении кто-нибудь умирал, в дом покойника приходили все соседи, и бдение у гроба выливалось в торжественное, вызывавшее широкий отклик действие — это было собрание мужчин в подъезде, в патио, на тротуарах, а драматический фон: плач, стенания, рыдания и обмороки женщин — и в течение всей ночи не прерывалось угощение черным кофе, шоколадом в чашках из высушенных тыквочек, дрянным винцом и крепким агуардъенте; это было представление с волнующими объятиями, надгробными молитвами и жалобами — и с исполненными величия примирениями семейств: вчера враждовавшие между собой после многолетней разлуки сегодня встречались по столь исключительному случаю.

Затем следовали траур, полтраура, четверть траура, никогда не кончавшийся

³¹⁸ Искренне Ваша (*англ.*) .

³¹⁹ Т. е. из испанской исторической области Эстремадура, в которую входит город Ксерес.

траур, который, если речь шла о приятно выглядевшей вдовушке, соблюдался до нового бракосочетания. И такая традиция сохраняется поныне в Столице, хотя сцена кое в чем изменилась. Покойники пребывали и отпевались уже не в собственных домах, а в похоронных конторах, число которых беспрерывно увеличивалось — население росло, прибавлялось и количество усопших, — конторы эти соперничали между собой в нововведениях, в роскоши обслуживания опекаемых. Мало-помалу похоронные фирмы стали скапливаться и в центре города, сжимая круг зловещей тени возле Президентского Дворца, — с гробами, постоянно приносимыми и уносимыми, с перевозимыми цветами, с перемещением ангелов и распятий, с передвижением коней в черных чепраках, застекленных катафалков, с привозом по ночам окоченевших анатомических останков, обернутых в зеленые саваны... Из всех контор, конечно, выделялась одна, только что открытая, и совсем близко, рядом с Министерством внутренних дел, — в ее пристройке даже была размещена гримерная наподобие «*Deuil en vingt-quatre heures*»³²⁰, что находилась в Париже, за собором Мадлэн, на углу Рю Тронше. В похоронной фирме «Вечность» самым примечательным было то, что родственники для принятия у катафалка соболезнований, выражений сочувствия могли избрать по своему вкусу мебель, декорации и общий стиль.

Там были Колониальный зал, зал Империи, зал Испанского Возрождения, зал Людовика XV, зал Эскориала, Готический зал, Византийский зал, Египетский зал, Сельский зал, Масонский зал, Спиритический зал, зал Розенкрейцеров — с креслами, эмблемами, орнаментами, символами, соответствующими характеру помещения. И если таково было желание клиентов, то в качестве последней новинки в обслуживании, позаимствованной в Соединенных Штатах, траурное бдение сопровождалось тихой, мелодичной музыкой, без каких-либо контрастных по тембру и темпу звучаний, пусть не подчеркнуто похоронной и в ладанной дымке исполняемой квартетами или небольшими ансамблями струнных инструментов с гармоникой, скрытыми за решеткой с бессмертниками либо за венками на подставках; и из репертуара этих музыкантов чаще всего можно было слышать «Размышления» из «Таис», «Лебедя» Сен-Санса, «Элегию» Массне, «Ave Maria» Шуберта или Гуно, исполняемые вновь и вновь, без перерыва, с момента прибытия урны и до ее отправки на кладбище. Эти мелодии с самого рассвета докучали Главе Нации во Дворце, и он, крайне раздраженный необходимостью выслушивать одно и то же, повторенное сотни раз — громче в те часы, пока не начиналось движение автомашин по Центральному Парку, — приказывал наглухо закрывать окна, и все же мелодии эти неотступно его преследовали, продолжая сверлить мозг. Снова заснуть он мог, лишь обратившись к помощи «Санта Инес» из чемоданчика — «Гермеса», всегда наготове стоявшего у изголовья его гамака...

И как раз потому, что навязчивые звуки доносились из недели в неделю, в одно прекрасное утро он почувствовал себя оглохшим, да, оглохшим от... тишины — от небывалой тишины. Окна были открыты Мажордомшей Эльмирой еще на заре, но в опочивальню Президента врвался лишь бриз, легкий, пахнувший утренней зеленью, и не раздавалось ни одной ноты «Элегии», «Лебедя», «Раздумий», ни «Ave Maria».

«Что-то чудное случилось», — сказал он себе.

В самом деле, чудное, поразительнейшее случилось-еще неслыханное, не припоминаемое никем, даже стариками, которые дольше других помнят.

³²⁰ «Траур на двадцать четыре часа» (фр.).

Свой день — тот день — Столица встречала в молчании, в тишине, которая была не только погребальной, но которая была тишиной других эпох, тишиной давних зорь, тишиной тех времен, когда на главных улицах города паслись козы; и эта тишина сегодня лишь порой прерывалась отдаленным ревом осла, коклюшным кашлем, плачем ребенка. Не сигналили автобусы, Не тренькали трамваи. Не звонили повозки молочников. И — что было еще более странно — булочные и кафе, открывавшиеся спозаранку, держали двери на замке, не поднимались и металлические жалюзи магазинов, На улицах не было бродячих торговцев с горяченькими кренделями-чуррос, с плодами тамаринда «для печени», со свежими устрицами из Чичиривиче, с пирогами-тамалес из доброй маисовой массы, не слышно и рожка продавца сладких хлебцев...

Все это предвещало события исключительной важности, предвещало той тревожной озабоченностью, тем боязливым ожиданием, скрытым и неопределенным, что можно наблюдать — пусть предупреждение до поры до времени остается непонятным — накануне сильного землетрясения или вулканического извержения, (Деревья в районе Парикутина³²¹ «испытывали страх», выглядели серыми от немого ужаса за многие недели перед тем, как к ним неспешно и неумолимо стала по земле подползать лава, задолго до того глухо бурлившая под корнями в земных глубинах...)

«Однако... что случилось? Что такое?» — спросил Глава Нации, увидев входившего в его кабинет Доктора Перальту, за которым следовали министры и военачальники, грубо нарушая обособленность помещения, попирая протокольные нормы. «Всеобщая забастовка, сеньор Президент!» — «Всеобщая забастовка? Всеобщая забастовка?..» — переспросил он (спрашивая в то же время и самого себя), будто одуревший, не понимая остальных, не понимая ничего. «Всеобщая забастовка. Или, если хотите, — всеобщая стачка. Все закрыто. Никто не вышел на работу». — «И муниципальные служащие?» — «Нет автобусов, нет трамваев, нет поездов...» — «И ни одной души на улицах», — подала голос Мажордомша Эльмира, пробираясь между тонкошерстных костюмов и мундиров.

Глава Нации выглянул на балкон. Дворцовые псы, приведенные капралом из охраны Дворца, отправляли свои нужды вокруг фонтана парка.

У собак ведь нет души. Нет ни одной души. И похоронная контора без музыки... С самым мрачным видом он обернулся к присутствующим: «Всеобщая забастовка, не так ли? И вы ничего не знали?» Все сразу заговорили, перебивая друг друга, забурлил мутный поток путаных слов, рассчитанных на то, чтобы дать объяснения, разъяснения, самооправдания: «Вспомните, я говорил», «Не забыли, я предупреждал», «Помните, на последнем заседании Совета министров я...» Однако убедительно, убеждающе это не звучало.

До сих пор лишь в провинции — в Нуэва Кордобе, в портах — вспыхивали настоящие забастовки, здесь же стачки, называвшиеся забастовками, не имели сколь-нибудь серьезных последствий; на днях, действительно, распространились какие-то бумажки, листовки, подпольные листки; кроме того, еще Студент предсказывал забастовки пеонов, грузчиков, шоферов грузовых машин и т. д., и все мы были убеждены, что торговцы, служащие магазинов, люди, принадлежавшие к средним классам, никогда не обратят внимания на призывы и лозунги Студента: люди порядка и служебного долга не считали себя входящими в пресловутую категорию

³²¹ Парикутин — вулкан в Мексике, возникший неожиданно в феврале 1943 года среди поля, засеянного фасолью.

«Пролетарии всех стран», поскольку никто не мыслил себя пролетарием; а я отсутствовал в столице; а я должен был увозить семью в Бельямар, а я не мог представить себе, и все же мне рассказывала моя дочь (к черту, кому важно, что тебе рассказывала твоя дочь!..); кроме того, никогда, никогда, никогда в истории Континента не видывали забастовку белых воротничков с галстуками; все бесчинства — дело злоумышленников, и не будем поддаваться разным слухам; моя дочь мне сказала, что монахини Тарба... (да иди ты ко всем чертям с твоей дочерью!..); я всегда говорил, что кампания слухов насчет якобы возникших эпидемий, насчет деревянного коня в воде, все эти угрозы смерти, посланные по» почте черепа... в общем, я всегда говорил, что...

«А поскольку речь зашла об умерших, — вмешался Перальта, перекрывая гул голосов, пытавшихся перекричать друг друга... — то самым неожиданным, самым удивительным считаю сообщение Мажордомши: весь персонал похоронных контор присоединился к забастовочному движению! И не только, музыканты из «Вечности», но также и носильщики, кучера и шоферы похоронных процессий, погребальщики, могильщики, факельщики... Семьям придется устраивать дома бдение у гробов тех, кто умер вчера вечером, заниматься покойниками некому». — «По крайней мере, те, кто умер вчера вечером, к забастовке не присоединятся, — заметил Глава Нации более спокойным тоном. — А для того, чтобы Там, в Потустороннем мире, им не было скучно, позаботимся придать кое-кого для компании. Они заслуживают компенсации. — Воцарилось выжидательное молчание. — Будем говорить коротко и четко... Эльмира, пусть принесет кофе».

В десять утра по улицам на большой скорости промчались автомобили, связанные автомашины пожарной службы, мотоциклы с колясками. Сидевшие в них полицейские, завывая в мегафоны и в алюминиевые рупоры, обычно используемые на спортивных состязаниях, оповестили коммерсантов — у кого есть уши, чтобы слышать, — что тот, кто не откроет свои лавки до двух часов пополудни — со служащими или без них, — будет лишен патентов, оштрафован или заключен в тюрьму; лица иностранного происхождения, пусть даже давно принявшие наше гражданство, будут высланы из страны. Угрожающие оповещения повторялись и повторялись до тех пор, пока на кафедральном соборе не пробило двенадцать. «По крайней мере, звонарь не бастует», — заметил Президент. «Дело в том, что там установлен электрический механизм», — пояснил Перальта, тут же раскаявшись в сказанном; еще, чего доброго, истолкуют как злую шутку. «Подождем». Мажордомша уже принесла бутылки с коньяком и голландским джином в керамических фляжках, гаванские сигары «Ромео и Джульетта», жевательный табак «Генри Клей»...

Глава Нации через каждые тридцать минут вытаскивал из кармана часы: не подошло ли время? Час. Два. Из «Вечности» люди в трауре — очевидно, родственники — на плечах вынесли гроб и пешком направились к кладбищу. И в три часа пополудни во всей Столице царил та же тишина. Лишь несколько кантонских торговцев открыли свои лавчонки с веерами, ширмами и поделками из слоновой кости, явно опасаясь, что иначе их вышлют в Китай, в котором уже господствовали гоминдан и генералы...

Прерывая долгое ожидание, Президент вдруг обратился к Командующему сухопутными войсками и решительно приказал: «Обстрелять закрытые лавки». Честь отдана, щелкнули каблук...

Пятнадцать минут спустя грянули первые очереди по металлическим жалюзи, волнообразным железным завесам, вывескам, витринам, рекламным щитам. Никогда

еще не велась более легкая война. Никогда так не развлекались пехотинцы, как в этом стрелковом тире: не целясь, стреляя напропалую с мчащейся машины, обязательно попадешь в мишень. Великолепная битва, в которой не рискуешь в ответ услышать голос свинца.

Это была бойня людей из воска — восковых невест с восковым флердоранжем, восковых кабальерос во фраках и париках, натянутых на восковые головы; жертвами пали восковые амазонки, игроки в гольф и теннис — из очень светлого воска, горничная из менее светлого воска, одетая на французский манер, лакей, похожий на нашего Сильвестра в Париже, — из воска несколько более темного, чем воск горничной; церковный служака, причетник, жокей — для пущего правдоподобия все имели оттенок воска, самый подходящий его положению и занятию...

Не забыли и пресвятых дев, и прочих святых — привезенные из квартала Сен-Сюльпис, они в многоцветных гипсовых мантиях, с нимбами и, остальными атрибутами торчали в лавках, торговавших церковной утварью. Палили не только из автоматов, но и из маузеров, даже из старого ружья фирмы «Лебель», вытасченного из запасников Арсенала. И в этой Великой битве-против-вещей рассыпались стеклянные и хрустальные изделия, взлетала столовая посуда, предназначенная для свадебного подарка, лопались флаконы с духами, большие цветочные вазоны, фарфор из Саксонии или с острова Мурано, глиняные горшки, сосуды и кувшины, а пенистые вина, взрываясь, своей высвобожденной энергией били соседние бутылки.

Несколько часов длился штурм магазинов с игрушками, сопровождаемый стрельбой по детским рожкам для молока, расстрелом фигурок героев комиксов — Бастера Брауна, Мутта и Джеффа, сведением счетов с марионетками, бойней швейцарских автоматических кукушек, профанацией устрицы, вторым усековением главы святого Дионисия, который, придерживая было свою голову руками, увидел, как все-таки она свалилась на землю: в щеку попала пуля крупного калибра...

Несмотря на столь тяжкий труд стрелков, такие хлопоты воинских подразделений, на Столицу опустилась ночь без городского освещения, без фонарей в парках, без сверкающей рекламы, без зажженных ламповых горелок — правда, кое-где в бедных кварталах еще мигали светильники да фонарики ночных сторожей, — далее без луны, поскольку она находилась в последней четверти, на ущербе, и небо покрывали облака.

И была-та ночь долгой, нескончаемой, беспросветной, опустившейся на замерший, замолкший город, будто опустевший, покинутый под пулями — откуда-то еще долетали редкие, перемежающиеся залпы то там, то тут. В эти часы — ожидания — не-знаем-что-принесет-наступающий-день — с невообразимой силой обнаружилось, что молчание, мертвая тишина — перед тем, как зазвучит чей-то голос, будет произнесено какое-то слово, — может быть более тягостной, чем взывания пророка, чем вещий бред ясновидца...

И все же во многих домах, онемевших домах, домах с задернутыми занавесями, с опущенными жалюзи, в домах министров; генералов, в домах лиц власть имущих, в подвалах, на чердаках, в дворовых помещениях под тусклым светом фонаря, старинных ламп, поднятых повыше свечей, начали прятать вещи, вытаскивать драгоценности из сундуков, запирать сейфы, выбивать пыль из чемоданов, зашивать банкноты — прежде всего доллары — в подкладки, в борта, в полы костюмов, пальто, плащей в предвидении возможного бегства...

Завтра дети будут отправлены на пляжи Атлантического океана (по предписанию

докторов: анемия), многие семейства будут рассеяны по провинциям и городам внутри страны (бабушка больна: дедушке исполняется девяносто семь лет), возвращены в родовые поместья, на места рождения (моя сестра перенесла тяжелые роды; у другой что-то с головой плохо) — в ожидании грядущих событий.

Тем временем на кухнях без иного освещения, кроме мерцания сигар, отчего при каждой затяжке вырисовывалось лицо, люди — чем больше сообщников, тем больше курильщиков, собравшихся вокруг бутылок рома или виски, отыскиваемых на ощупь, «чтобы налить в найденные на ощупь стопки, — обсуждали создавшееся положение. Глухая, заражающая, всевозрастающая паника, хватившая всех, заполняла сумерки, вызывая от страха пот на висках, на шее... В сером, предутреннем небе уже исчезали Большая и Малая Медведицы и другие созвездия, а Столицу по-прежнему окутывало молчание. Вся страна продолжала хранить молчание. Пули оказались бесполезными. Солнце медленно заливало улицы, отблескивая в осколках стекла, усеявших тротуары.

И сейчас — этого еще не хватало! — Начальник полиции убедился в том, что даже его людей стал охватывать страх. Они уже не казались такими хладнокровными, такими бесстрастными после битвы на улицах и штурма баррикад; уже не представлялись единой спайкой пехотинцев и кавалеристов, вместе атакующих, плечом к плечу выступающих против толпы, вооруженной палками, металлическими прутьями, железными трубами и даже кое-каким огнестрельным оружием — преимущественно старыми пистолетами, охотничьими ружьями, двустволками давних времен. Подчиненных Начальника полиции пугало молчание, одиночество, в котором они оказались, пустота поднимающихся на склоны окрестных гор улиц, на которых не видно было ни одного прохожего. Их не так страшила атака разъяренных людей, как одинокий, единичный выстрел: отдельный, сиротливый выстрел, тщательно продуманный, метко нацеленный, мог раздаться с любой крыши, с любой террасы и оставить человека безжизненно растянувшимся на асфальте, а висок или лоб его будет столь чист, так точно пробит, будто проткнут шилом кожевенных дел мастера.

Войска находились в своих казармах; пехотинцы расположились на биваке; часовые покуривали на караульных вышках. И ничего более. Тишина. Молчание порой — чаще поздно вечером — прерывалось треском мчавшейся мотоциклетки, которую подгонял страх восседавшего на ней (все мотоциклетки якобы для индейцев были марки «Indian») и везшего очередное неприятное, лаконичное и конфиденциальное послание во Дворец. А во Дворце кое-кто, сраженный сном, разлегся на диване или в кресле, а кое-кто пытался поддержать свои силы табаком и кофе, тем более что внутри уже горело от спиртного, — у всех восковые лица, грязные воротнички, сняты пиджаки, спущены подтяжки — такими выглядели высокопоставленные сановники, облеченные властью в государстве.

Сосредоточенный, неподвижный, однако сохраняя достоинство и даже грозный вид в болоте отчаяния остальных, Глава Нации напряженно ждал, он поджидал Мажордомшу Эльмиру, которая, закутавшись в кружевную шаль, отправилась на поиски свежих новостей: бродила по улицам, прижимая ухо к дверям, заглядывая в неплотно прикрытые окна, стремясь заговорить со случайным прохожим, хотя мало надежд такого встретить, с подвыпившей кумушкой, с мелким воришкой, с трясущимся невольником спиртного, если попадутся на пути. Но вот и она возвратилась, наскитавшись по улицам, отчаянно устав, но не обнаружив ничего интересного. Однако, пожалуй, так не скажешь, кое-что она обнаружила. На всех стенах домов, на оградах, на заборах города тысячи таинственных рук вывели мелом

— белым, голубым, розовым — одну фразу, всякий раз одну и ту же: «Пусть уходит! Пусть уходит!..»

После короткой паузы Глава государства позвонил в колокольчик, как на парламентском заседании. Остальные поднялись со своих мест, где расположились было, спеша привести себя в порядок — подтягивая галстуки, застегивая пуговицы, приглаживая поднятыми руками волосы. «Прошу извинить меня, но... ширинку...» — заметила Эльмира Министру связи, углядев, что та у него расстегнута... «Сеньоры!..» — провозгласил Глава Нации. Он произнес отменную речь, драматичную, но без подчеркнутой эмоциональности, не витийствуя, а лишь просто комментируя сообщенное Мажордомшей. Если соотечественники считают его отставку необходимой, если его наиболее преданные сотрудники (он просил отвечать открыто, искренне, нелицеприятно) разделяют подобную точку зрения, то он готов передать президентскую власть — и немедленно — тому, кого сочтут наиболее подходящим. «Я ожидаю вашего ответа, сеньоры».

Но сеньоры не отвечали. После нескольких минут оцепенения, мучительного анализа создавшейся ситуации подступил Страх, Великий страх — Синий страх, неодолимый, как в старой народной сказке. Сразу же все подумали, переглядываясь друг с другом, что непрерывность президентской власти, дальнейшее пребывание Главы Нации на посту, его твердость — и прежде всего полное принятие на себя Ответственности, полное принятие на себя всей Вины перед страной тем, кто теперь нетерпеливо ожидал: услышать хотя бы один голос, — это было единственным, что могло спасти их от всего, что уже подступало к их домам, уже окружало их дома. Если народное возмущение разбухнет, если массы ринутся на улицы, то ведь сначала они будут искать причину всех зол, искать цель, по которой нанести удар, искать козла отпущения, самую Высокую голову, чтобы водрузить ее на острие пики, тогда как остальным, быть может, удастся броситься врассыпную и как-то избежать народного гнева. В противном случае народная ярость застигнет каждого из присутствующих здесь, и их тела ввиду отсутствия той Персоны, что сейчас находится перед ними, поволокут, разорвут на куски, лица изуродуют до неузнаваемости, всех потащат к городским клоакам, а то повесят на телеграфном столбе с позорной надписью на груди...

Председатель Сената наконец взял слово, сказав то, что хотели бы сказать все они: после актов благородного самопожертвования, совершенных во имя блага страны (далее следовало перечисление чего-то...), и в тот момент, когда наша нация находится под угрозой разрушительных сил (далее следовали проклятия в адрес социалистов, коммунистов, международных бедуинов (?), в адрес Студента и его газеты, в адрес профессора из Нуэва Кордобы и созданной им вчера партии, носящей, как говорят, академическое название «Альфа-Омега».

«Вот в этом и заключено самое мерзкое», — отозвался Перальта, которого тут же заставил замолкнуть недовольный жест Высокого Слушателя), в эти критические часы Главу Нации спрашивают еще раз явить высший образец самоотверженности и т. д. и т. п., потому что, если в столь ответственный момент он покинет нас, оставив нас без поддержки своего разума, своей политической мудрости (далее следовало упоминание других его качеств и достоинств), то Родине, беззащитной, придется лишь стенать, как нашему Господу на кресте: «Eloi, Eloi, lama sabachtani»³²².

³²² «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Евангелие от Матфея)

Президент, слушавший с опущенной головой, оперев подбородок о манишку, энергично выпрямился и распростер руки: «Сеньоры, будем работать... Заседание Совета министров открыто». Вспыхнули продолжительные аплодисменты, и каждый из присутствующих занял свое место за длинным столом в центре соседнего зала, украшенного подлинными гобеленами.

В тот день, примерно в три часа пополудни, зазвонили многие телефоны. Одни звонки вначале были прерывистыми беспорядочными. Затем последовали более частые, более настойчивые, более нетерпеливые и длительные. Множество телефонных звонков. Целый хор телефонов. Целый мир телефонов. Вызовы из патио в патио, голоса, раздававшиеся с крыш и балконов, переносившиеся от ограды к ограде, летевшие от угла до угла. И окна стали распахиваться. И двери стали открываться. И вот кто-то вылез, жестикулирует. И вот десятки каких-то лиц вылезли, жестикулируют. И люди бросились на улицы; и обнимались, и смеялись, и бежали, собирались, скапливались, разрастались, формировали колонну, и еще колонну, и следующие колонны выходили на перекрестки других-улиц, спускались с холмов, поднимались из низин долины, сплавливались в одну массу, в огромную массу, и кричали: «Да здравствует Свобода!..»

О новости уже знали все, и всё повторяли: «Глава Нации только что умер». «От инфаркта сердца», — говорили одни. «Нет, нет, уже известно, что он убит заговорщиками». — «Нет, не так: тот, кто стрелял, был сержантом, бойцом «Альфы-Омеги». — «Да нет же, вовсе не так было: знать-то я знаю, что его прихлопнул Студент... Вот именно, тем же бельгийским пистолетом, который Могущественный всегда держал на столе, и Студент опустошил всю обойму; одни утверждают, что в обойме было шесть пуль, другие — что восемь, так или иначе, все пули попали в него. Один слуга из Дворца, он видел все, и он говорит...» Однако умер. Умер. Вот это самое великое, самое прекрасное торжество, большой праздник. И похоже, что Труп — огромный Труп — волокут по улицам. Его видели те, кто живет в квартале Сан-Хосе: сдернули с грузовика, еще череп его стукнулся о брусчатку. Сию же минуту, скорее идти к центру и петь Национальный гимн. Гимн Освободителей, «Марсельезу». И вдруг совсем неожиданно — при свете дня — раздаются строфы «Интернационала», поют все...

И в этот момент появились броневики Четвертой моторизированной бригады и сразу же открыли огонь по толпе. Начал стрелять и гарнизон Дворца, солдаты скрывались за широкой балюстрадой верхней террасы и за мешками с песком, притащенными несколько дней назад.

С Телефонной башни полетели гранаты, разверзая кричащие, стонущие бреши в толпе, собравшейся внизу на митинг. Из-за углов высунулись стволы дюжины пулеметов.

Перекрывая авениды, уже неторопливо, неспешно наступают полицейские и солдаты, построенные в тесные ряды, и через каждые три шага раздается залп из винтовок. Обезумевшие люди побежали, помчались, оставляя тела и еще тела, много тел на мостовой, бросая флажки и транспаранты, стремясь спрятаться во дворах, подъездах, пытаясь взламывать закрытые двери, перепрыгнуть в задние дворы, поднять решетки клоак.

А войска наступают медленно, очень медленно, не прекращая стрельбы, топчя раненых, лежащих на земле, или добывая их ударом приклада не то штыка — всех, кто цепляется за армейские сапоги или ботинки с крагами. И в конце концов, после

разгона толпы, после того, как она была рассеяна, улицы опять остаются пустынными.

Выезжают пожарные машины, чтобы потушить возникшие кое-где пожары. Там и тут — душераздирающе, долго, настойчиво — воют сирены «скорой помощи». С наступлением ночи улицы патрулируются армией. И всем — всем тем, кто столько пел гимнов и провозглашал здравиц тому и другому, — пришлось отдать себе отчет, насколько жестока действительность. Глава Нации убил самого себя, приказал распространить сообщение о собственной смерти для того, чтобы массы вышли на улицы, где их можно было расстреливать из пулеметов с безошибочной меткостью... А теперь, восседая на президентском кресле, окруженный своими людьми, он праздновал победу: «Вот увидите, как завтра откроются все магазины, и придет конец всякому свинству и прочей мерзости». Откуда-то доносилось завывание сирен. «Принеси шампанского, Эльмира. Хорошего, того, что находится в том шкафу, который ты знаешь...»

Поздно-поздно вечером прозвучал ружейный выстрел, одиночный, далекий, — звук более слабый, чем от армейской винтовки. «Еще жив какой-то сукин сын, — заметил Глава государства. — Сеньоры, еще раз, мы этого заслужили...» И столько событий произошло в течение дня, настолько безлюдны были общественные здания, оставленные на произвол судьбы, что никто не обнаружил чрезвычайнейшего происшествия: внезапного исчезновения — бесспорно кражи — Бриллианта из Капитолия — да, того самого огромного бриллианта Тиффани, вставленного в сердце звезды, которая у подножия гигантской статуи Республики отмечала Пункт Ноль — схождение и расхождение — всех больших дорог страны.

Часть шестая

...если стороны в схватке совсем неравны, то лучше предпочесть достойное отступление либо оставить игру, нежели подвергать себя несомненной гибели.

Декарт

XVII

Когда вспоминаю тот день, мне кажется, что в те часы, более насыщенные, более наполненные событиями, чем целые годы моей жизни, я был очевидцем какого-то невероятного карнавала: мельтешение образов, падение в преисподнюю, беспорядочные толпы, сумбурный гул голосов, круговорот форм, маски, превращения, изменения, дикий грохот, перемена фона, все вверх дном, филин в полдень, сумерки под солнцем, прилет гарпий, зубовой лязг ягнят, рычание кроткого, ярость хилого; громы там, откуда вчера слышалось лишь шушуканье; и эти лица, что избегают смотреть, и эти спины, что отдаляются, и эти декорации, что неожиданно сменяются машинистами сцены в трагедиях, задуманных тайно, подготовленных в тени, поставленных повсюду, куда ни взглянешь.

Оглушенный иными хорами, хорами подпевал, я не мог уловить пение хоров из немногих хористов — тех, кто на самом деле обладает Могучими Поющими Голосами... Вот так-то и у тебя той ночью разгулялся аппетит, как говорят здесь, с бокалом вина праздновал победу; на рассвете, когда люди ушли, ты еще осушил бутылку арманьяка, вот так, наедине, поглядывая, как голубели при наступлении утренней зари вершины Вулкана-Покровителя... «нужно бы устроить там, наверху, нечто вроде Шамони, да с ледовой дорожкой, чтобы можно было кататься, на коньках, а коньки — великолепное гимнастическое упражнение, — и для подъема следовало бы

соорудить фуникулер, как фуникулеры в Швейцарии...»

Раза два качнулся в гамаке, и было уже три часа пополудни; вот так, подростком, так ты открыл глаза в операционном зале, освободившись от аппендикса, полного семян, — в ту пору считали: аппендицит появился из-за того, что поел гуаябы, зернышки от которой накапливались в ненужном органе, оставшемся от доисторических времен, когда люди, *vetus de reaux de betes*³²³, как рисовал их Кормон³²⁴, питались кореньями и плодами...

Так ты пробудился от сна, вызванного хлороформом, и увидел фельдшера в белой шапочке и со стетоскопом, свисающим с шеи, — он наклонился над тобой. «У меня уже удалили это?» Но на этот раз фельдшером оказался Перальта, переодетый в фельдшера. «А почему?..» И за ним, что заставило меня вздрогнуть, появился мистер Энох Краудер³²⁵ с лицом старого пуританина, очки в металлической оправе, теперь он был без сюртука, пришел после партии в теннис — «Сюда, во Дворец?» — в брюках из полосатой фланели, на свитере красные буквы YALE³²⁶, ракетка в руке; Посол Соединенных Штатов, вот так в моей комнате, не попросив аудиенции, без цилиндра, без накрахмаленного воротничка.

«Не фордыбачь, сукин сын, смотри, во мне все еще агуардьенте кипит»; полуповорот, еще раз качнуться в гамаке, и дайте мне поспать; однако сейчас какие-то слова, словно принесенные издалека, вздуваются, увеличиваются, приближаясь ко мне, слова о некоем Военном корабле; да, «Миннесота» находится в Пуэрто Арагуато; судно это, чудовище это, со своей металлической, как бы сплетенной башней, со своими орудиями, что, повинувшись электричеству, поворачиваются по оси и нацеливаются; так это судно плавает — по странной случайности — лишь в шести милях от нашего побережья уже в течение нескольких недель; мне говорят (я понимаю все лучше и лучше), что должна высадиться морская пехота, что она уже высаживается.

«Кофе, дьявольщина, кофе! Где Мажордомша?» моряки уже здесь, совсем как многие годы назад в Веракрусе, как на Гаити, охотясь за неграми; как в Никарагуа, как в разных других местах, орудуя острым штыком против метисов и креолов; интервенция, быть может, совсем как на Кубе, с тем генералом Вудом, куда большим вором, чем его собственная мать; десант, интервенция, «карательная экспедиция» генерала Першинга, человека «Over There», «Star Spangled Banner» в измученной Европе 1917 года, но над которым немало посмеялись, когда его изрядно шлепнули партизаны с переkreщенными пулеметными лентами на груди там, в штате Сонора, на севере Мексики; мне смешно, а ведь всё это не шутка, нет; мистер Энох Краудер прибыл сюда под видом теннисиста с ракеткой и со всем прочим и уже двое суток не выходит из Country Club³²⁷, совещаясь, заседая с «живыми силами» Банка,

³²³ Одетые в звериные шкуры (*фр.*).

³²⁴ Французский художник Ф. Кормон (1845–1924) создал много картин на доисторические темы по естественной истории.

³²⁵ Энох Краудер (1859–1932) — американский генерал, посол на Кубе (1923–1927), фактически заправлял экономикой и финансами страны.

³²⁶ Йэльский университет (*англ.*).

³²⁷ Загородный клуб (*англ.*).

Коммерции, Промышленности; именно эти сукины сыны попросили, чтобы сюда прибыла «Миннесота» со своей сволочной морской пехотой; нет, Армия, наша Армия, не позволит такого оскорбления национальной чести; однако сейчас стало ясно, что Армия изменила курс: солдаты покинули свои позиции, дезертировали из блиндажей, оставили пулеметные гнёзда, заявляя, что они не несут ответственности за вчерашнее; и если кто-то стрелял, так это по приказу сержантов и лейтенантов; а сержанты и лейтенанты взбунтовались против своих капитанов и генералов, которые теперь засели в траншеях высочайшего здания «Уолдорф-отеля», переходя из бара на крышу, с крыши в бар, выжидая, когда по прибытии морских пехотинцев будет прорвана осада, — их осаждают толпа, огромная толпа, кричит, окружив здание, требуя выдачи их голов; гарнизон Дворца испарился; не осталось ни одного швейцара, ни одного слуги, ни одного камердинера; о твоих министрах уж лучше и не спрашивай; никто не знает, где твои министры; «Телефон!» — телефоны отключены; «Не проси кофе, пропусти лучше глоток агуардъенте», — говорит Перальта (да, но... какого дьявола он переделался в фельдшера со стетоскопом, с градусником в кармане халата?); «Не проси кофе, Мажордомша занята другими делами»; да, все это так, — подумав обстоятельней, я согласился с капитанами и генералами: пусть высаживаются с корабля морские пехотинцы, пусть высаживаются; это уладим позже, обсудим, обговорим, но как можно скорее — порядок, порядок... «Не валяй дурака, — говорит фельдшер, — чего они хотят, вот те, из Банка и Коммерции, а также Господин, присутствующий здесь, так это лишь того, чтобы ты убирался ко всем чертям, уже хватит; уже более двадцати лет ты испытываешь их терпенье, тебя уже не хотят, тебя никто не любит, и если ты до сих пор еще жив, так потому, что все думают, что ты с теми из отеля «Уолдорф»; они не могут предположить, что ты еще останешься тут, один, как идиот, без охраны, без эскорта; такое никому не приходит в голову, однако, когда узнают... Я даже подумать об этом не могу!.. Так что давай поторопимся... Ну... готов?..» Начинаю понимать. Я встаю. Отыскиваю туфли: «Однако, дьявольщина, я же не подал в отставку. Я — Президент!» — «И ты еще в это веришь? — говорит фельдшер. — Луис Леонси уже находится в Нуэва Кордобе. Множество автомашин отправилось разыскивать его». — «Того кретина, с его «Альфой-Омегой»?» — «Лишь он может найти выход из положения», — говорит теннисист. «Но...» — «По крайней мере, он пользуется нашей поддержкой». — «Итак, вы допустите, чтобы меня свергли?» — «Наш государственный департамент знает что делает». — «Как вы можете принимать всерьез этого профессоришку, этого, который...»

Теннисист стал проявлять признаки нетерпения: «Я прибыл сюда не для того, чтобы вести дискуссии, а лишь затем, чтобы поставить вас перед фактом. Доктор Луис Леонсио пользуется поддержкой живых сил страны. За ним следуют многие молодые люди благородных и демократических идей». — «Я уже вижу их — Вифлеемский колледж, методистские школы и Статуя Свободы...» — «Не теряй времени, сукин сын, быстрее одевайся!» — «У доктора Луиса Леонсио — идеи, планы», — говорит теннисист. «Так они есть и у Студента», — говорю я. «То совсем другое дело» говорит теннисист, перекладывая ракетку из руки в руку. «Ты должен знать, что именно Студент тебя сверг», — говорит фельдшер. «Бомбочки, мрачные шуточки, фальшивые слухи — это было делом «Альфы-Омеги». Но всеобщую забастовку организовал Студент. Великолепная работа. — ничего не скажешь. Я не считал его способным на

это». — «И еще будешь утверждать, что торговцы, не открывшие свои лавки, все были большевиками?» — «Они не открывали лавки из-за страха перед большевиками, как раз поэтому. Присоединившись к забастовке, они защищали собственные товары. А теперь свои товары они положат к ногам каудильо из Нуэва Кордобы, поборника порядка и благополучия, который попытается утихомирить Студента еще не знаю как, но, по-моему, предоставив известную степень легализации его партии. Отныне будут действовать в стране политические партии».

«Коммерсанты действовали благоразумно, — заметил теннисист, *Wise men...*»³²⁸

Придя в себя, я тут же взываю к ним — еще есть время что-то предпринять: подписать мир с Венгрией — там теперь стабильное правительство, — восстановить конституционные гарантии, учредить министерство труда, аннулировать цензуру печати, создать коалиционный кабинет в преддверии предстоящих выборов, которые будут проведены под контролем, если это посчитается целесообразным, смешанной комиссии...

«Нечего болтать чепуху, — сказал фельдшер. — Власть мачете уже окончилась. Если мы быстро не удерем, то нагрянет чернь — все остальное ты можешь вообразить. А ей так хочется расправиться с тобой!..»

В этот момент какая-то странная фигура возникла на галерее, выходящей в патио: Aunt Jemima, бабушка Вальтера Хофмана, спокойно направлялась к лестнице Почета, держа над головой, будто гроб, высокие Вестминстерские часы из столовой. «Уже давно влюблена в эти часы», — произнесла она, проходя мимо. А за ней следовали разные жулики — конечно, ее правнуки, — уносили серебряные подносы, графины, сервировку, вытащенные из буфета.

Все это для меня явилось как бы решительным предупреждением: «Я найду кров в посольстве Соединенных Штатов!» — «И не думай об этом! — сказал теннисист. — Перед зданием посольства в таком случае вспыхнут беспорядки. Манифестации. Мятежи. Положение станет нетерпимым. Что я могу сделать, так это предложить убежище в нашем консульстве в Пуэрто Арагуато. Там вы будете находиться под защитой наших морских пехотинцев. Мое правительство согласно на это». — «Вы увезете меня на своей машине?..» — «Сожалею, но не могу подставить под пули по дороге. Лесорубы Морехона не разбираются, есть ли дипломатический номер на автомобиле. И говорят, что в Бахио действуют вооруженные отряды». «И еще нет поездов... Забастовка...» — произнес я голосом, прерывающимся от спазм, поперхнувшись слюной. «Это не моя вина», — сказал теннисист. Перальта мне показывает на свой костюм, свою шапочку и стетоскоп. «Внизу стоит машина «скорой помощи». По пути в Колонию Ольмедо нет застав, контрольных пунктов. А тем немцам начхать на нашу внутреннюю политику». — «*Good luck* ³²⁹, господин Президент», — сказал теннисист. «*Son of a bitch*», — буркнул я едва слышно. Но тот уловил и мне сказал тоном не то *clergyman* ³³⁰, не то шутника: «Раав, та, из Иерихона³³¹, действительно была *bitch*. А теперь мы почитаем ее праматерью, она —

³²⁸ Мудрые люди (*англ.*).

³²⁹ Счастливо (*англ.*).

³³⁰ Священник (*англ.*).

³³¹ Блудница, упоминаемая в библейской «Книге Иисуса Навина».

среди бабушек нашего господ бога. Посмотрите Библию, сеньор. Книгу великих утешений и глубоких поучений. Кстати, там также упоминается о многих поверженных тронах...»

И берет свою ракетку — хорошо помню, трапециевидную, с деревянной рамой и четырьмя штифтами, закрепляющими обруч, — и уходит, просто так, ни больше ни меньше («So long»³³² — похоже, еще сказал), уходит легким, спортивным шагом того, кто возвращается в свой American Club с глубокими креслами, виски «Бурбон» на льду, с телеграфными известиями и гневным пылом моих врагов. «Son of a bitch», — говорю, говорю и вновь повторяю, не находя более крепких ругательств в моем скудном словаре английского языка. Гляжу сейчас на сверкающую вершину Вулкана-Покровителя, уже не белоснежную, а слегка оранжевую, окрашенную закатом, перед наступающими сумерками. И глаза мои грустнеют, несмотря на все усилия сдержаться, — меланхоличная нежность прощания.

Приходит Мажордомша, чудно одетая, как выполняющая обет, данный Назарейину: лиловая туника, перевязанная желтым шнурком, сандалии, шаль цвета туники, — и приносит кипу одежды. «Она поедет с нами», — говорит Перальта. Торопясь, желая сэкономить время и вместе с тем стараясь высказать больше, она поясняет присущей ей смесью мимики и звукоподражания: «Все знают, что когда я была... — (жестом поднимает груди, округляет бедра) — ...ты меня... (с легким присвистом перекрещивает указательные пальцы) — ...и хотя теперь я уже не та... — (руками разглаживает лицо, несколько пополневшее), — ...мы продолжаем, ты и я... — (соединяет оба указательных пальца и потирает один о другой) — ...А с той ненавистью, которую питают ко мне здешние, если меня поймают... — (с присвистом ударяет себя по виску, роняет голову с полуоткрытым ртом на левое плечо). — Так что я...» (громко свистит, взмахивая руками, как бегущий человек).

«Не считая назарейанского одеяния, идея ее прекрасна», — говорит Перальта. И тотчас же, оценив наше положение, я вспоминаю о самом важном: «Деньги, дьявольщина! Деньги!» Мажордомша показывает мне на кипу одежды: «Гвасинтоны тут». Развертываю, желаю убедиться. Да. Между юбками и блузками рассованы двести тысяч долларов из моих личных средств — в четырех пачках по пятьдесят банкнот, и, конечно, в каждой пачке сверху лежит банкнота с портретом Вашингтона...

И тотчас как будто все закрутилось. Бегают Перальта, суетится Мажордомша. Появляется чемодан. Не раздумывая над тем, что делаю, начинаю засовывать в чемодан вещи. Много вещей. Пресс-папье с письменного стола, разные медали, ордена, том с одиннадцатью нашими конституциями, фотографию Офелии с Габриеле д'Аннунцио, и игрушку — заводного крокодила, — что мне подарила моя мать, и чудесное издание «Les femmes savantes»³³³ со стихами, которые в столь напряженный миг абсурдно всплывают в памяти, разбуженной стопкой рома: «Guenille si l'on veut. Ma guenille m'est chere»³³⁴.

«Не бросай больше в чемодан всякую дрянь!» — кричит Мажордомша. «Две

332 До свидания (англ.).

333 «Ученые женщины» (фр.). — комедия Ж. Б. Мольера.

334 Пусть ветошь, все равно — ценна мне эта ветошь (фр.).

рубашки, штаны — и хватит!» кричит Перальта. «Два галстука... три фланелевые рубашки!» — кричит Мажордомша. «А теперь набрось сверху прорезиненный плащ. Как у бедных больных, которых доставляют в госпиталь», — советует Перальта. «Но скорей, черт возьми, скорей!» — взвизгивает Мажордомша, и эхо ее голоса разносится по опустевшим залам и коридорам брошенного всеми Дворца.

Мою голову обкручивают хирургическими бинтами «вельпо», закрепляют лентами липкого пластыря и обрызгивают кетчупом, чтобы казалось, будто сквозь бинты проступает кровь.

Спускаюсь по лестницам. Впервые — более чем за двадцать лет — не слышно команды «Смирно!», впервые не отдают тебе чести: «На караул!» Паломо, пес швейцара, облизывает твои вспотевшие руки. Хочешь взять его с собой. «Ни в коем случае. Никто и никогда не видал собаку в карете «скорой помощи».

Ты укладываешься на носилках, под удушливым плащом, замаскирован будто раненый — продолжается карнавал, жуткий карнавал, апокалипсическое мельтешение видений, — и переживаешь, по мере того как катится карета, все эпизоды поездки, прослеживаешь маршрут. Выезд через задние ворота Дворца — прежде сюда въезжали конные кареты. Повернуть направо. Поедем по асфальту. Улица Бельтран — небольшой отрезок пути по брусчатке. Налево — гладь асфальта. Улица Серебряных дел мастеров. Перальта за баранкой; лжефельдшер — шофер службы «скорой помощи» нажимает на сирену; при мысли, что привлекаем к себе внимание, мне становится страшно, — но нет, как раз нет. Никто не всматривается в лицо водителя завывающей кареты «скорой помощи». Оглядываются на звук сирены, к тому же каждый, кто чем-то может помочь, помогает, освобождает путь.

Направо продолжается асфальт; бульвар Бразилии со своими кафе «Париж», «Тортони», «Дельмонико», закрытыми, конечно, в связи с забастовкой. А после едем и едем дальше: на улицах, похоже, нет никакого движения. Перальта не задерживается на перекрестках.

Глубокая рытвина — это на улице Гальо; чтобы засыпать эту яму и еще отремонтировать водопровод, что так и не было сделано, Министр общественных работ проглотил шестьдесят — тысяч песо. Я представил себе, где мы находимся, и вдруг именно поэтому меня охватывает страх, ужасный страх. Плоть как бы сжимает кости, мускулы напрягаются, прерывается дыхание, мучает одышка, И все из-за того, что скорость уменьшена. Я понимаю — почему. Фельдшер со стетоскопом и дымчатыми очками, натянув на брови белую шапочку, тормозит. Наступает молчание, а у меня разрывается мочевого пузырь, не могу сдержаться.

«Прошу разрешить, со мной тяжелораненый». Опять молчание, хуже прежнего. И голос Мажордомши: «Прошу разрешеньце, начальничек. Ради вашей матушки, не задерживайте нас... Мой братец... Пуля... Перед Дворцом...» Голос солдата: «Уже громыхнули, так их мать?» — «Да, да, стреляли... — С присвистом: — Р-раз!.. С балкона... Только что...

Свист долгий, все более глухой, наводящий ужас. — Потащили... Мозги разлетелись... Крепкий удар ладонью. — На каждом углу...» Солдат: «Благодаря господу бога, черт бы их побрал!» Перальта: «Разрешеньце даешь, начальник?» — «Двигай!..» А теперь вот и улицы с утрамбованной землей. Я ощущаю, как колеса автомашины, кренятся, плюхаются в колдобины, взлезают на пригорки, огибают лужи с гнилой водой, зловонье от которой проникает в мою движущуюся тюремную камеру, заглушая запахи операционной, царящие тут. «Я должен был и об этом подумать».

Неподалеку от итальянских вилл с перламутровыми куполами, с рогами изобилия, с буковыми насаждениями и виноградными беседками — садики в стиле парков испанского города Аранхуэса, миниатюрные копии французского замка Шантильи — расположены эти кварталы Лос Серрос, Лас Ягуас, Фавелы: трущобные поселки из картона, из глины с примесью навоза и соломы, из расплосованных канистр, бумажные стены, ржавые, разрезанные ножницами большие консервные коробки, заменяющие крыши, — жилища, если еще можно их так назвать, которые каждый год разрушаются, разваливаются под ливнями, заставляющими детей, наподобие поросят, шлепать и ползать в грязи, в лужах.

«Мне нужно было бы и об этом подумать. О плане строительства жилищ для бедных. Ещё было время...» Голос Мажордомши: «Путь свободен». И карета «скорой помощи» начинает подниматься, скрежеща, ударяясь, подпрыгивая, объезжая, кружась и упорно карабкаясь все выше. Узнаю каждый поворот. Конечно, добрались уже до Конуко дель Ренго — определил по запаху испанского дрока, обжигаемого при расчистке участка под пашню, что, кстати, запрещено законом; а теперь, очевидно, проезжаем Кастильитос Эспаньолес — под колесами слышится скрип досок деревянного моста.

Начинается зона сосновых насаждений. По краям дороги здесь растут тутовые деревья, в тени которых любят понежиться ядовитые змеи... Так велик страх, что, устав сопротивляться ему, я было заснул... И открываю глаза. Мы миновали лютеранскую церковь немцев.

Сдергиваю с себя бинты и липкий пластырь. Распахиваются дверцы кареты «скорой помощи». Я выхожу на площадь, спокойный, сохраняя достоинство. Однако, хотя тут и есть люди, никто на меня не посмотрел. Всякие фрау Воглинде, Вельгунде, Флоссхильде продолжают заниматься дойкой коров. На окнах задернуты занавески. Надеюсь увидеть улыбки мужчин, а встречаю только подтяжки, натянувшиеся на широких спинах, толстые зады в кожаных коротких штанишках. Перальта беседует с пастором... «Механики объявили забастовку. Так что делайте как хотите. Мы ни во что не вмешиваемся».

В сопровождении Мажордомши, которая только что лентой перевязала мой еле-еле закрывавшийся чемодан, мы подошли к небольшой кирпичной станции с петухом на флюгере и искусственным гнездом сделанного из побеленной мраморной крошки аиста, поджавшего под себя красную, как у лангусты, лапу. Крошечный поездной состав стоит в небольшом депо. Угля в тендере достаточно. Скоро начнет выбрасывать дым паровозик — начищенный до блеска, сверкающий, лакированный, точно элегантная туфля, только что полученная из дорогого обувного магазина. Через рычаги управления, подрагивающие в моих руках, ощущаю его живым, нетерпеливым. Все дома Колонии Ольмедо растаяли в сумерках и не хотят признавать меня. Даю пар — начали размахивать шатуны. Отправился поезд немцев петлять по поворотам, по кривым путям, опоясывающим горные склоны. Позади остался аромат сосен; спускаемся по скалистым террасам меж кактусов и агав, где златоцветники вздымают булавы цветов, будто нежные ульи, трепещущие под бризом, доносящимся с моря; далее от малого до большого — от колосков до султанов — высятся тростники, заросли бамбука, прикрывая своей тенью дикий банан с красными и невкусными плодами; а еще далее — цвета охры земля, пострадавшая от эрозии, не вижу, но догадываюсь по глубоким и знакомым рвам-морщинам, и наконец достигаем песчаных равнин; тут едем прямиком, с максимальной скоростью, насколько это возможно —

вот так, без сигналов, без семафоров, без огней, без путевых сторожей, — и резко останавливаемся уже в Пуэрто Арагуато, однако не успели затормозить: налетел паровоз на шлагбаум...

Несколько солдат морской пехоты — белые гетры, мокрые от пота рубашки, осоловевшие от рома глаза — торчат на обоих перронах. Оказывается, они заняли электростанцию и другие жизненно важные пункты города, а также бары и бордели, после того как мимоходом помочились на монумент Героев борьбы за независимость.

Ко мне подошел североамериканский консул в измятых штанах и cowboy shirt — из тех ковбойских рубашек, у которых под мышками дырки для вентиляции. — «Поскорее, там, недалеко, у меня машина». И на своем «path-ginder», скрежетавшем при движении всеми металлическими деталями, он довез нас до здания дипломатического представительства: деревянный дом с колоннами и с фронтоном строго джефферсоновского стиля, на балконе которого красовался североамериканский орел с гербом на груди...

«Дали мне задачку — ни дна ни крыши, — пробормотал консул, провожая нас в кухню. — Мною получены инструкции — отправить вас отсюда на нашем сухогрузе, который прибудет завтра, увезет в Нассау... Если голодны, то вот тут есть несколько пакетов с кукурузными хлопьями, суповые консервы «Кэмпбелл» и банки с консервированной свининой и бобами. Виски — в том шкафчике. Наливайте по своему вкусу, мистер Президент, — нам-то известно, что если вы не перехватите плоточек, так запросто у вас еще, чего доброго, появится белая горячка».

«Побольше почтения, пожалуйста», — подчеркнул я суровым тоном. «Здесь же все об этом знают», — бросил тот, направляясь в свой кабинетик, заваленный фактурами, какими-то другими бумагами. «Чемоданчик, Перальта! Предпочитаю наше».

Стены кухни были обклеены вырезками из киножурналов «Шэдоуленд» и «Моуши пикчурс»: Тэда Бара в «Клеопатре», Назимова в «Саломее»; американский боксер Демпси, нокаутирующий французского боксера Жоржа Карпантье; сцена из фильма «Мужчина и женщина» с Томасом Мэйгемом и Глорией Свенсон; бейсболист Бейб Рут, бегущий к «базе» под покровительственным — чуть ли не пресвитерианским — жестом судьбы в темно-синем костюме...

Мы кое-как перекусили и собрались в гостиной-зале ожидания-жилой комнате. Перальта, Мажордомша и я. После напряженности последних дней, пароксизмов душевного волнения последних часов я почувствовал себя почти что успокоившимся. Мускулы мои расслабли. Обмахиваюсь пальмовым веером, покачиваясь в кресле-качалке; гринго такие кресла называют «rocking-chair», а мы — не знаю почему — «венскими», никогда не слыхивал, чтобы в Вене пользовались такого рода мебелью. Смотрю на моего секретаря: «Есть шанс спасти шкуру. Guenille si l'on veut, ma guenille m'est chere. А теперь — по морю. На Бермуды. И затем — в Париж. Наконец-то передохнем немного». — «Да», — отвечает Перальта; «Возобновим наши утренние прогулки. «Буа-Шарбон» мосье Мюзара. «Под Зеркалами», Рю Сент Аполлин, бордель «Щабанэ»...» — «Да», — отвечает Перальта. «Представляю себе, какое там царит веселье», — говорю я. «Да», отвечает Перальта, не скрывая досады и раздражения. «Когда кто-то в плохом настроении, то и собаки на него поливают», — замечает Мажордомша с обычной своей философией поговорок и пословиц. И тут же укладывается спать на оттоманке из пальмы рафия. Рядом с рупором граммофона, на старинном угловом столике, покоилась засаленная Библия, своим видом

свидетельствуя, как часто она употреблялась консульским агентом: тот или иной моряк, потеряв в пьянке все свои документы, здесь должен был, положив руку на священное писание, поклясться, что он родился в Балтиморе либо в Чарлстоне.

Зная, как практикуют верующие некоторых североамериканских сект в трудную минуту, я зажмурил глаза, открыл наугад том и, трижды покрутив указательным пальцем правой руки, ткнул им на строки страницы; «Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод... Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего» (Псалом 68). Я повторил опыт: «Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня... Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собой» (Псалом 70). И в третий раз (Иеремия, 12): «Я оставил дом Мой; покинул удел Мой». «Паскудная книжонка!» — воскликнул я, захлопнув ее так сильно, что из переплета вылетела пыль. И, развалившись в «венском» кресле, украшенном синей лентой, продернутой через плетенку ивняка, я задремал, едва не заснул... Какой-то глухой, смутный шум. Действительность дробится, теряет свои очертания, превращаясь в нелепые образы, Я сплю... Но, должно быть, отдых мой длился недолго — вскоре, думаю, чья-то рука резко толкнула качалку, чтобы разбудить меня. «Перальта! — окликнул я. — Перальта...»

«Не зовите его, — ответил мне консульский агент. — Он только что уехал». — «Вот так, как ты слышишь», — сказала Мажордомша. И я узнал — правда, настолько остолбенел, что смысл не сразу дошел до меня: по городу разъезжают десятки автомашин с бело-зелеными флажками «Альфы-Омеги», и одна из них — кажется, серый «шевроле» — приехала за моим секретарем.

«Да ведь его убьют!» — выкрикнул я. «Непохоже». — «Но... ведь это абсурдно! И он не пытался сопротивляться? Он был вооружен!» Консульский агент посмотрел на меня ехидно: «Это были очень симпатичные юноши с бело-зелеными повязками на рукавах, а в петлице значок — буква «альфа» из посеребренного металла. Они обнялись с Доктором Перальтой, он выглядел очень довольным, и все, смеясь и подшучивая, укатили в город». — «И Перальта ничего не пояснил? Не оставил и записки?» — «Да, просил передать... Он очень сожалеет, но Родина — прежде всего». — «Вот так, как ты слышишь!» — Мажордомша теперь закричала перед самым моим носом, перед застывшей моей физиономией, как будто нужно было кричать, чтобы я что-то понял. «*Tu quoque, fili mi...*»³³⁵ «Какое еще там *quoque*, какая еще там фил... антропия, — сказал гринго, — вас грязно разыграли, вот и все. И нечего обращаться к латыни, и так ясно. Политические козни, как и повсюду».

«Я уже давненько подозревала, что этот козлице — предатель, — ворчала Мажордомша, — моя тетка Канделярия — а она-то знает многое — видела его сквозь раковины, а потом и в тарелке с мукой он проглядывал. А сейчас я начинаю верить, что и эти бомбочки, взорвавшиеся во Дворце, не кто иной, как он, принес во французском пузатом чемоданчике. Ведь только его не обыскивали при входе...» Да, там был чемоданчик — «Гермес», раскрытый, с десятью фляжками в два ряда по пять горлышек. Мы из него вытащили фляжки, каждая в чехле из свиной кожи, И в чемоданчике пахло — так мне показалось, хотя в этом не уверен, — горьким миндалем: тот же самый запах, какой ощущался после взрыва. «Быть может — да,

335 И ты тоже, сын мой! (лат.).

быть может — и нет, — сказал консульский агент. — Это может быть запах от старой кожи, на которую часто проливали ром».

«Но раковины не обманывают», — ворчала Мажордомша. «Maybe yes, or maybe not»³³⁶, — твердил янки...

Подавленный безмерной печалью оплеванного отца, избитого палками рогоносца, изгнанного собственными дочерьми короля Лира, я обнял Эльмириту: «Ты — последнее, что у меня осталось». — «Лучше посмотрите на улицу, — сказал консульский агент: — Но только поосторожнее, не то вас заметят».

XVIII

...может даже случиться, что, услышав речь, смысл которой мы хорошо поняли, мы не сможем сказать, на каком языке она произнесена.

Декарт. Трактат о свете.

На улице — за охраной восьми моряков с винтовками, свисавшими с плеч, — молчаливо, медленно проходили колонны людей, проходили и вновь возвращались, не отрывая глаз от здания. Они знали, что я здесь, — и кружили, кружили, точно на воскресной прогулке по бульвару, выжидая, когда покажусь в окне или промелькну в полуоткрытой двери.

«В Столице грабят дома ваших министров, охотятся за полицейскими и шпиками, вылавливают провокаторов, сжигают архивы секретной полиции. Народ открыл тюрьмы, освободил всех политических заключенных». — «Конец света», — тревожно пробормотала Мажордомша. «А мой, когда мой конец наступит?» — спросил я, с трудом выдавив улыбку.

«Не думаю, чтобы они перелезли через ограду, — сказал янки. — И на это, пожалуй, не пойдут. Студент — тот, который организовал забастовку, — обратился с трезво продуманным манифестом к народу. Читайте...» Однако руки мои сильно дрожали, а стекла очков помутнели. «Перескажите мне, так лучше». — «Резюмирую. Манифест гласит, что нельзя провоцировать наших, американских, солдат (не бросать в них камни, ни бутылки, даже не оскорблять их); нельзя атаковать наши дипломатические представительства, нельзя нападать на наших соотечественников в общем, нельзя предпринимать что-либо, что могло бы оправдать более сильную военную акцию с нашей стороны. До сих пор не было интервенции, был лишь простой десант.

Проблема оттенков, — nuances, как сказал бы француз. А Студент понимает толк в оттенках. Он утверждает, что удовольствие повесить вас на телеграфном столбе не оправдывает риска интервенции, которая могла бы перейти в оккупацию». — «Как на Гаити», — сказал я. «Точно. Вот этого и не хочет Студент. Интеллигентный парень!»

Я подумал о головокружительной смене ролей, происшедшей за какие-то часы на фоне беспорядков. Теперь Студент внезапно превратился в моего защитника. До сих пор он был в подполье, не отвечая на призывы тех из «Альфы-Омеги», которые предлагали ему гарантии, приглашали его сотрудничать в правительстве Национальной коалиции, составляемом — уже во Дворце — Луисом Леонсио Мартинесом по совету Эноха Краудера в присутствии военачальников, не замешанных во вчерашних расстрелах из пулеметов, а также одного или двух сержантов,

³³⁶ Может — да, может — нет (англ.).

произведенных в полковники. До сих пор он был поглощен своим тайным трудом Человека-Невидимки, прибегая по-прежнему к слову, способному сдержать всех, скопившихся перед Орлом-с-Гербом-на-Груди, всех тех, кто по счету «раз-два-три» начинал хором выкрикивать оскорбления по моему адресу.

«Пока они не перейдут от криков...» — сказал консульский агент. Но я начинаю бояться: им ничего не стоит перейти от криков к действию. Вдруг я увидел себя в засиженном мухами зеркале, установленном на хромом кронштейне и закрывающем одну из стен: облик мой был весьма плачевен — халат, в котором я выбрался из Дворца, весь в грязи; замызгана и лондонская рубашка «halborow», пострадавшая в наших странствиях, накрахмаленный воротничок ее раскис от пота; серо-жемчужный галстук, такой Президентский, был теперь весь в пятнах от слюны, слетевшей с губ во время моего недавнего сна. И еще брюки в полоску, спустившись со впавшего за какие-то часы живота, сползли на бедра, придавая мне вид эксцентрика из английского мюзик-холла. Этим людям, кричащим внизу, там, на улице, отвечает крайне циничными жестами Мажордомша; они ее, конечно, не видят, а она — сама иллюстрация к обширному репертуару своей отборнейшей и невысказанной ругани. Меня охватывает ужас. «Почему вы не переведете меня на борт «Миннесоты»?» — взываю я. «Крики были бы громче, — отвечает мне янки, переходя на удивительно шутовской тон, по правде говоря, совсем неподходящий для дипломатического чиновника. — Видите ли, здесь я всего лишь консульский агент, который, считая, что он действует корректно, предоставил вам убежище. А если завтра моим людям придет в голову, что я ошибся, я должен буду согласиться, что я ошибся, и заявлю в печати, что я ошибся, скажу, что я сожалею, что ошибся, и тогда меня пошлют куда-нибудь еще, и все останется в узком семейном кругу. А на борту «Миннесоты», наоборот, вы будете являться официально защищенным нашей Великой Американской Демократией (и озорным движением он отдал воинскую честь), которая в данный момент не может выступать в качестве крестной матери некоего «Мясника из Нуэва Кордобы», как вы уже фигурировали на фотографиях мосье Гарсена и со всем прочим, coast to coast³³⁷ во всех газетах Рандолфа Хэрста, — и ведь вы уже в достаточной степени отведали всего этого, когда вас прославляли так в Париже. Вдобавок мы не знаем, сколько времени «Миннесота» будет находиться в этих водах. Быть может, восемь дней, быть может, месяц, быть может, годы. Посмотрите на Гаити, где, переходя от десанта к интервенции, а от интервенции к оккупации — *des nuances, des nuances, des nuances toujours*,³³⁸ — и это продолжается, продолжается и продолжается. Не нервничайте. Успокойтесь. Завтра вы уже будете вне опасности. Кроме того, я не могу действовать иначе — я выполняю инструкции».

Я почувствовал себя обманутым, жертвой насмешек, издевательств. «По отношению к вам я всегда был благожелателен... Вы столь многими льготами мне обязаны!» Тот, поглядывая на меня сквозь очки в черепаховой оправе, улыбался: «А без этого... как бы вы продержались столько времени у власти? Льготы? Что ж, теперь мы получим их от профессора-теософа...» — «А почему не от Студента, раз уж попали в такое положение?» — спросил я, стремясь уколоть его.

«Этого господина очень трудно найти. Он — человек нового поколения в своем

³³⁷ От берега до берега (англ.).

³³⁸ Нюансы, нюансы, нюансы всегда (фр.).

племени. Таких уже много появляется на континенте, хотя ваши генералы и доктора стараются их игнорировать». — «Но ведь он и его люди так ненавидят вас». — «Не может быть иначе — существует неизлечимая несовместимость между нашей Библией и ихним «Капиталом»...»

Выкрики с улицы усиливались. Мажордомша приумножила свои мимические жесты в ответ тем, кто меня обливал оскорблениями. А им так легко было прорвать охрану из моряков, легко преодолеть ограду... «Как бы то ни было, для меня приятнее находиться на борту «Миннесоты», — настаивал я. «Не думаю», — отвечал янки. И, чуть ли не икая от еле сдерживаемого смеха, он произнес: «Вы забыли о Восемнадцатой поправке к Конституции Соединенных Штатов. С 1919 года — я цитирую по памяти — «запрещается производство и потребление (я сказал: потребление) любого алкоголизированного напитка на всей территории Соединенных Штатов». А «Миннесота» — это составная часть, юридическая и военная, территории Соединенных Штатов. Таким образом, если бы вы были сторонником джинджер-эля и кока-колы... И если после таких напитков при пробуждении у вас не дрожали бы руки...» — «Однако разве здесь мы не на территории Соединенных Штатов?» — сказал я ему, показывая на чемоданчик, поставленный Перальтой как раз под гидрографической и орографической картой страны.

«Я не могу воспрепятствовать больному захватить с собой свои лекарства. А поскольку я во всем этом деле являюсь ошибающимся, то также могу поверить, что речь идет о грудном настое, об эмульсии Скотта или о бальзаме Гримо. На «Миннесоте» это вылили бы в воду, строго придерживаясь Восемнадцатой поправки к нашей Конституции, хотя командир, оставшись наедине с собой, был бы пьянее матери, которая его породила». — «Похоже, они уходят», — сказала Мажордомша, расплющив нос о жалюзи. Я посмотрел на улицу: группы людей, будто привлеченные каким-то происшествием, удалялись к зданию таможни, где можно было заметить движение грузовиков и прицепов. «Забастовка окончилась, — заявил я, не задумываясь, торжественным тоном. — Положение нормализуется». — «В стране царит порядок», — сказал янки, комично передразнивая меня.

И снова он пришел в хорошее расположение духа: «Заходите в рубку капитана Немо. Там лучше».

Через задний коридор он вывел меня из дома под широкий навес с дверями, подвешенными под притолокой; навес прикрывал возвышавшуюся над водой бухточки платформу из деревянных досок, которые пахли моллюсками — зеленоватыми бигарро и темно-бурыми альмехас, и выброшенными на берег медузами, и заплесневевшими водорослями. Всепроникающий запах кислого вина и дрожжей, мха и животных выделений, засохшей чешуи, смолы и пропитанного солью дерева — запах таящего в себе гибель моря, так отдающий острым душком замершей на ночь винодельни, откуда разит виноградными выжимками и оставленным сусликом. Здесь был ангар, в котором еще недавно хранили свои изящные, стройные, легкие каноэ гребцы Яхт-клуба, обанкротившегося после девальвации. Лодки уже вывезли из ангара, и всё находившееся тут, как и предупредил консульский агент, своим видом действительно до какой-то степени напоминало викторианскую эпоху и гравюру на меди, кинематограф Люмьера и лавку древностей, воскрешая в памяти иллюстрации к «Двадцати тысячам лье под водой» в издании Гетцеля, с золотым тиснением на малинового цвета обложке. Старые, но своей ковровой тканью на спинках подчеркивавшие чопорность кресла; обстановка а а' la Pickwick esq с охотничьими

рогами, украшавшими стены; офорты, настолько пострадавшие от грибка и селитры, что их сюжеты, исчезнувшие под грибком и селитрой, уже были лишь сюжетами грибка и селитры. И, разглядывая диковины, заполнявшие помещение, успокоенный неожиданным отдалением от людей, мгновения назад проклинавших меня, несколько придя в себя, а после пропущенных стопок даже держась увереннее на ногах, — я поразился тому, что как-то внезапно обрел мужество среди всего окружавшего теперь меня, и перед моими глазами вещи приобретали иное значение, иной масштаб. По-новому воспринималось понятие отдаленности, дистанции, что неминуемая смертельная опасность связывала со временем. Час как-то сразу растягивается до двенадцати часов; каждый жест расчленяется на последовательные движения, точно при военных упражнениях; солнце передвигается по небу скорее или медленнее; открывается огромное пространство между десятью и одиннадцатью; ночь кажется далекой-далекой, и ее наступление будто бесконечно задерживается; приобретает огромную важность шагжок насекомого по обложке той книги; паутина паука окутывает всю Сикстинскую капеллу; циничной мне видится беззаботность чаек в такой день, как сегодня, занимающихся своей повседневной рыбной ловлей; кощунственным мне представляется звон колокола в часовне где-то в горах; оглушительно падают капли из крана, как навязчивая мысль: never-more, never-more, never-more....³³⁹

И вместе с тем поразительна способность повышенного, горячего восприятия того, что появляется, раскрывается, увеличивается, не изменяя своей формы, словно их созерцание может означать попытку уцепиться за что-то и сказать: «Вижу — значит существую». И поскольку вижу, значит — буду существовать тем дольше, чем больше буду видеть, утверждаясь в пребывании в себе и вне себя... Теперь консульский агент мне показывает редкую коллекцию корней-скульптур, скульптур-корней, корней-форм, корней-вещей, корней в стиле барокко либо строгого очертания; переплетенные, запутанные либо благородной геометрии; то танцующие, то статичные, или тотемичные, или сексуальные, нечто среднее между живым существом и теоремой, игра узлов, игра асимметрии, то сущие, то ископаемые — все, что, по словам янки, он насобирал во время частых блужданий по берегам континента. Корни, выдернутые из своей далекой родной земли, вырванные, вытащенные, поднятые, принесенные реками во время половодья; корни, обработанные водой, перевороченные, завороченные, полированные, обкатанные, посеребренные, обесцвеченные, которые после стольких-то странствий, падений, ударов о скалы, сражений с бревнами во время сплава в конце концов потеряли свою растительную морфологию, разлучившись с деревом-матерью, генеалогическим древом, чтобы приобрести округлость женской груди, вид ребра многогранника, морды кабана или рожи идола, челюсти, когтя, щупальца, мужского члена или короны, либо совокупиться в непристойных черепицевидных наслоениях перед тем, как — в завершение многовекового пути — бросить якорь на каком-нибудь берегу, забытом и не упомянутом на картах. Вот эту огромную мандрагору с острыми шипами консульский агент подобрал в устье чилийской реки Био-Био, неподалеку от суровой скалы Кон-Кон, — усыпленной покачиванием на черных водах. А вот эту другую мандрагору, скрученную и похожую на акробата со шляпой-грибом и выпученными глазами, подобную «корню жизни» — женьшеню, что некоторые азиатские народы

³³⁹ Никогда больше, никогда больше, никогда больше... (англ.).

вкладывают в бутылки со спиртным, он нашел близ Тукупиты, в устье реки Ориноко. Остальные поступили с Невиса из Подветренных островов, с антильского острова Арубы, с гордо высящихся одиноких скал, похожих на базальтовые столбы, что вздымаются близ Вальпараисо в пене прибоя, с грохотом врывающегося в каменные теснины. Достаточно было упомянуть название какого-нибудь порта, как коллекционер показывал корень и речь тотчас же обогащалась ссылками, воспоминаниями, восстанавливались эпизоды, будто слоги, составляющие название того или иного места, сами по себе образовывали все остальное.

Стоило лишь произнести слово Вальпараисо — и немедля в воображении возникали прилавки с рыбой, разложенной на водорослях, фрукты, выставленные на церковных папертях, витрины харчевен, в которых все пространство занимали апокалипсические раки-отшельники с Огненной Земли; и немецкие пивные вдоль большой улицы, где красно-черные колбасы подмигивали глазками из сала рядом с еще теплым слоеным яблочным пирогом-штруделем, осыпанным сахарной пудрой; и высокие, параллельно расположенные пассажирские подъемники, неутомимые, с оркестрами слепцов, игравших польки в подъездных туннелях, и ссудные кассы, в которых увидишь пояс с широкой пряжкой и ларец, разукрашенный ракушками, щербатый ланцет и черного головастика-идола с острова Пасхи, домашние туфли с вышитой надписью «Пода» (на левой) и «Рок» (на правой), обращенные носками к прохожему, с ослепляющим красноречием иллюстрируя Парадокс Зеркала Иммануила Канта...

С этим другим корнем, по названию Нор-Frog³⁴⁰, напоминающим охваченного ужасом павиана, пытающегося в панике бежать и бегущего, не трогаясь с места, связано Рио-де-Жанейро: в квартале Итамарати среди муниципальных зданий, населенных акромегалическими статуями (всегда они в полтора, а то и в три без четверти раза больше натуральной величины героя или предтечи национально-освободительной борьбы, которых хотят увековечить), расположены лавки, где выставлены набальзамированные животные — боа, смотрящие на свет сквозь разноцветные стеклянные шарики, броненосцы, ягуары, цапли, мартышки, и там же лошади, оседланные и уже покрытые пылью, стоят на зеленых деревянных пьедесталах, будто в ожидании всадника, который никогда не придет — быть может, уже давно погиб и покоится в португальском пантеоне под сенью бразильских фламбойянов.

А этот корень, похожий на гнома с головой-брюшком, покачивающегося на тонких ножках, по прозвищу Коротышка — Humpty-Dumpty, — из гаитянской столицы Порт-о-Пренс; там в предместье Ля Фронтьер, среди таверн с местной настойкой «тассо» и многолетней выдержки ромом из горного района Дондон, голые негритянки разлеглись в плетеных гамаках; поджидая очередного клиента, они сохраняют королевское высокомерие, как бы замкнувшись в себе и чуждаясь всего, — рукой слегка прикрыли вьющиеся жесткие волосы, повторяя жест Олимпии Манэ, хотя и не имеют о ней понятия.

А консульский агент мне уже показывает «Эразма Роттердамского» — корень из мексиканского порта Веракрус, поразительно схожий видом своим с погруженным в размышления гольбейновским гуманистом; и «Пикрошоля с Мердайлем»³⁴¹ —

³⁴⁰ Лягушачий прыжок (*англ.*).

³⁴¹ Пикрошоль и Мердайль — персонажи романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле (ок. 1495–1553).

бамбуковые корни, точно раблезианские задиристые вояки, нацелившиеся копьями; и химерическое «Коксигрю» с длинным клювом и зубчатым гребнем — не то журавля, не то петуха; и «Кикимору» с растрепанными волосами и шпорами; и три корневища от одного ствола, точь-в-точь *Pieds-Nickles* — с никелированными, что ли, ногами (которых хорошо знал, а почему бы и не знать, если в течение ряда лет я подписывался на парижское издание «Л'эпатан»), и немного поодаль романтически перепутанный клубок из кубинских мангровых зарослей, названный «Присцилианской ересью»³⁴², и там же лиана-танцовщица «Анна Павлова» и «Циклоп», который красным камнем, инкрустированным во лбу, как бы наблюдавший за сумасбродным миром, взгромоздившись на консоли с другими корнями-монстрами — с «Лернейской гидрой», с «Рэкемской колдуньей»³⁴³, оседлавшей метлу, что составляла с ней одно целое, с шестифутовой «Великой Молчальницей», словно выточенной из растительного базальта, — правда, у нее не было прямых намеков на женские формы, однако расположение частей ее корпуса, совсем как в символах йорубов³⁴⁴, пластичность и упругость линий, наслоенные округлости, выпуклости и вогнутости вызывают безошибочную реакцию руки, поднимающейся, чтобы прикоснуться к ним...

По правде говоря, консульский агент с редкостными познаниями в области культуры, своим владением иностранными языками — совершенно необычным для североамериканца — стал восприниматься как некто, предугадывающий будущее в дневном кошмаре, реальном, с глазами, пристально вглядывающимися в переживаемое настоящее. Под воздействием алкоголя я скатывался под откос ужаса, и как только освобождался от воздействия винных паров, меня вновь прошибал пот душевной тоски; в затылке, на лбу и в висках следовали удары молоточка предчувствий, рождавшиеся где-то в глубине и настолько сильные, что, по-моему, отдавались они и в кресле, в котором я сидел. А теперь янки уселся перед приткнутой в угол фисгармонией, протянул три регистра, нажал на педали и начал наигрывать что-то родственное той музыке, которая наводняла мою страну еще много лет назад, однако эта мелодия звучала более резко, более контрастно, более подчеркнуто, во всяком случае, чем «*Whispering*»,³⁴⁵ «*Three o'clock in the morning*»³⁴⁶, еще недавно набивавшие всем оскомину в Столице. И, не переставая — с беззаботным автоматизмом сельского музыканта — барабанить пальцами по клавишам, покачивая в такт головой, он затынул: «Южанин — я. Из Нового Орлеана я. Достаточно я бел, чтобы за белого сойти, хотя мои волосы, ладно, волосы, если бы не было подходящей помады, завивались бы больше у меня (*si bemol*, черт побери!). Я «пересек линию», как говорим мы там, однако, честно говоря, в сентиментальной области, например, я

³⁴² От имени основоположника религиозной «ереси» в Испании IV века Присцилиана.

³⁴³ Рэкемская колдунья — персонаж английского художника, иллюстратора книг для детей Артура Рэкема (1867–1939).

³⁴⁴ Речь идет о ритуальных рисунках тех кубинских негров, предки которых были вывезены из Нигерии.

³⁴⁵ Шепотом (*англ.*).

³⁴⁶ В три часа утра (*англ.*).

лучше разбираюсь только с темненькими. В этом я схожусь с моим двоюродным дедушкой Готтшалком, которого — вы это, конечно, не знаете, — Теофиль Готье предпочитал Шопену, возлюбленного самими ламартинианскими и филармоническими нимфами, проводившими ночи с Ференцем Листом. Прославленный в Европе, он был фаворитом монархов, другом королевы Испании, десятикратно награжденным, а в один прекрасный день, бросив всё — публику, дворцы, кареты, лакеев, — решил ответить на императивный, неотложный призыв негритянок и мулаток, которые поджидали его в тропиках, желая заполучить принадлежавшее им по праву раннего завоевания, И, следуя за ними, он бродяжничал по Кубе и Пуэрто-Рико, по всем Антильским островам, помолодевший, искатель приключений, свободный от протокольных обязанностей и почестей, вернувшийся к первым колыбельным песням, к своим юношеским мечтам, чтобы умереть в Бразилии, где также было полным-полно — да еще каких! — Святых мест его паломничества — «et les servants de ta mere, grandes filles luisantes, remuaient leurs jambes chaudes pres de toi qui tremblait... sa bouche avait le fout des pommes-roses, dans la riviere, avant midi...»³⁴⁷

(Не знаю, кому принадлежат эти слова, процитированные им, но, во всяком случае, вспоминаю, да, вспоминаю, что моя дочь Офелия, учась играть на рояле, исполняла приятные креольские танцы этого Моро Готтшалка, который, как мне передавали, однажды в Гаване включил рокот африканских барабанов в свою симфонию.) А янки все продолжал нанизывать: «Был другом, близким другом дивного Кристофера Хэнди³⁴⁸, автора «Мемфис-блюза», что теперь вам играю». И сразу перешел на «Сент-Луис блюз» того же Хэнди, чем взволновал Мажордомшу, заставив ее пуститься в пляс — и, видимо, в лад, поскольку ее па и покачивания великолепно подходили к ритму доселе неведомой ей музыки. «Это у них в крови», — сказал южанин. Я смотрю на его руки, летающие по клавишам: это своего рода диалог — временами схватка, возражение и согласие руки-самки, правой, и руки-самца, левой, которые сочетаются, дополняют друг друга, отвечают друг другу, однако строго соблюдая синхронность, достигаемую одновременно вне и внутри ритма. Мажордомша, словно замороженная чем-то для нее новым, проникающим во все поры кожи, внезапно присаживается на скамейку перед фисгармонией, чувственно поводя плечами, манящая и дерзкая, одна ягодица на весу, поскольку для обеих не хватило места, уступленного консульским агентом. А тот, забывая о клавишах, наклоняется к шее Эльмириты, принимающей его ласки со смешком, будто от щекотки, позволяя ему обнюхивать себя, что он и делает с наслаждением христианина, проникшего туда, где хранятся кадила с ладаном.

И продолжает: «...Guide par ton odeur vers de charmants climates. Je vois un port rempli de voilures et de mats...»³⁴⁹ — «Не суйся с Бодлером!» — закричал я, ревниво откликаясь на вторжение на мою землю, целину которой я поднял, вспахал впервые, более двадцати лет назад, и которая, неизменно покорная моей воле, теперь, когда я

³⁴⁷ «...и служанки твоей матери, рослые глянцевиные девушки, покачивали своими горячими бедрами рядом с тобой, а ты трепетал... ее губы обладали привкусом свежих яблок, на реке, до полудня...» (фр.).

³⁴⁸ Уильям Кристофер Хэнди (1873–1958), американский корнетист и композитор, автор многочисленных «афро-американских» блюзов, в том числе «Сент-Луис блюз», «Мемфис блюз», а также автобиографии «Отец блюзов».

³⁴⁹ Твой аромат привел меня в прелестные края, где в гавани на мачтах я вижу паруса... (фр.).

потерял всё, оставалась единственной частицей, последней, находящейся под моим правлением полоской той страны, что еще вчера была моей; моей — от севера до юга, от океана до океана, а ныне сузилась до нищенского колоска, до жалкого сарая из прогнивших досок, набитого мертвыми корнями, где я вынужден был ожидать суденышка, обещанного лишь на утро, на завтра — такое далекое, неправдоподобное, почти недостижимое завтра! Суденышку предназначено вывезти меня отсюда, точно контрабандный товар, точно гроб с останками умершего в клинике богачей, — отсюда, где я был властелином человеческих судеб и асьенд. Поднимаю за руку Мажордомшу со скамейки, когда она начала было ластиться к гринго — более дозволенного — и рывком отталкиваю ее на соседнее кресло.

«Так лучше, — говорит, посмеиваясь, гринго, — потому как это и погубило мою карьеру». (Слово «карьер» — дипломатическая, надо думать — из уст другого, известного, кто он и где он, ассоциируется в моей памяти с определением «величайшая глупость», высказанным Дон Кихотом по поводу одного рыцарского романа, скверно представленного в театре марионеток. Для каждого латиноамериканца моего поколения «карьер» — это синекура с минимальной работой и максимальным наслаждением, пребывание в посольствах с декорациями большого оперного театра, среди итальянского мрамора и версальских люстр, со скрипками на эстраде, с вальсами бутоньерок и декольте, торжественными швейцарами, камергерами в коротких панталонах, с интригами, с вечерними коктейлями, альковными романами, с комплиментами а la валье-инклановский маркиз де Брадомин³⁵⁰ и фразами а la Талейран, с чудесами такта и «savoir vivre»³⁵¹, — совершенно чуждых понятиям наших людей, которые никогда не привыкнут к нормам протокола и которые, не разузнав вначале, не посоветовавшись, допускают промахи — это бывало и в моем Дворце, — как, скажем, начать играть «Турецкий марш» Моцарта при акте вручения верительных грамот послом турецкого султана Абдул-Хамида либо исполнять республиканский «Гимн Риего»³⁵² при вручении верительных грамот посланником испанского короля Альфонса XIII...)

«Все у меня шло гладко, — продолжал южанин, — пока не обратили внимание, что в Париже я слишком увлекался мартиникскими танцами на Рю Блуме. С тех пор где я только не выполнял умопомрачительные миссии североамериканской дипломатии. Был консулом в бразильском порту Аракажу, в гватемальском городе Антигуа, на Кубе — в Гуантанамо, в Перу — в Мольендо, на Гаити — в Жакмеле, и даже в эквадорском порту Манте, где ежедневно, ровно в полдень, перед пляжами появляются акулы с пунктуальностью, сравнимой разве что с появлением апостолов на часах Страсбургского собора. А сейчас вот здесь — в этой мусорной яме, если можно так выразиться. И потому... знают, что я... (он посмотрел на Мажордомшу)... ладно, мы, ты и я, друг друга понимаем.

Он проиграл арпеджио. — Если бы на своей родине я показался таким, каков есть, то линчевали бы меня закапюшоненные из ку-клукс-клана, белые эти, белые не только снаружи, но и внутри — что бахвалятся особенной, очень нашей белизной, какой была

³⁵⁰ Маркиз де Брадомин — герой ряда произведений испанского писателя Района дель Валье Инклана (1869–1936).

³⁵¹ Умение жить (*фр.*).

³⁵² «Гимн Риего» — был создан в честь Рафаэля Риего (1785–1823), возглавившего восстание против монархии и французской интервенции, являлся официальным гимном Испанской республики.

белизна Бенджамина Франклина, считавшего негра за «животное, которое ест много, а работает мало», — белизной Маунт-Вернона, где рабовладелец философствовал о равенстве людей перед богом, — белизной нашего Капитолия, храма, где хором негров — подметальщиков улиц, чистильщиков обуви, чистильщиков пепельниц и сторожей в уборных исполняется гимн Gettysburg Address³⁵³ — «правительство народа, избранное народом и для народа», — белизной нашего просвещеннейшего, блистательнейшего дома, приводящего в движение карусель новеньких мундиров, фраков и цилиндров, которая крутится, и крутится, забрасывая в эту Латинскую Америку воров и сукиных сынов, — «не ухудшая настоящего, — как говорят испанцы, — при каждом повороте рычага»...

Я заметил консульскому агенту, что термин «сукин сын» несколько неподходящ для того, кто лишь каких-то сорок восемь часов назад был Главой свободной и суверенной Нации, которая в силу своего героического прошлого, своих великих людей, своей истории... и т. д., и т. д... «Сорвалось с языка по вине святой Инес, — ответил консульский агент, наливая мне ром. — Я не хотел вас обидеть. Кроме того...»

«Посмотрите... посмотрите...» — зловеще произнесла Мажордомша, жестом приглашая нас подойти к окошечку с разбитыми стеклами, выходящему на бухту. «Да, — сказал гринго. — Там, на wharf³⁵⁴, что-то происходит».

Он открыл ворота для вывода на регаты ныне отсутствующие каноэ. И в самом деле, там, на молу, где обычно грузили сахар на суда, видимо, случилось что-то необычное. Толпа окружила несколько грузовиков, привезших какие-то большие предметы, поставленные на попа либо лежавшие на полу, хаос перемешанных, сваленных в кучу, в полном беспорядке громоздящихся предметов, которые... «Возьмите-ка бинокль», — предложил мне консульский агент. Я взглянул. Люди, бесспорно, подогретые спиртным из сока сахарного тростника, пели, плясали, спускали с грузовиков и под выкрики и хохот бросали в море... мои статуи, бюсты и головы — те, что годы назад по официальному распоряжению царили в колледжах, лицеях, муниципалитетах, общественных учреждениях, на площадях городков, селений, деревень, подчас соседствуя с тем или иным Лурдским гротом — грубо сделанной нишей, полной маленьких и больших свечей, всегда горящих, обителью нашей Святой Девы-путеводительницы. А ведь мои скульптуры созданы из мрамора, творения местных ваятелей либо учеников Школы изящных искусств; а бюсты из бронзы отлиты в Италии, в тех самых литейных, где родилась гигантская Республика Альдо Нардини; статуи во весь рост, во фраке, с рельефными крестами и лентой, либо в форме генерала армии (и во внушительной каске, которая, по утверждению моих врагов, имела «козырек прогресса и козырек регресса»), в одеянии доктора *honoris causa* Университета «Сан-Лукас» (был им еще в 1909 году), в тоге и докторской шапочке, кисть, которой ниспадала на левое плечо, либо в позе римского патриция, трибуна — вытянутой-рукой-указующего-на-что-то (некое подражание памятнику премьеру Гамбетте в Париже), в образе погруженного в раздумья отца семейства, или сурового ментора, или увенчанного лаврами древнеримского консула Цинцинната...

³⁵³ Имеется в виду обращение президента США Авраама Линкольна после битвы при Геттисберге 1–3 июля 1863 года, в ходе Гражданской войны в Соединенных Штатах.

³⁵⁴ Пристань (англ.).

Теперь все они лежали на земле, их тащили на носилках, волокли в тачках и на арбах, запряженных быками, чтобы затем сбросить в воду одна за другой; действуя ломом, мужчины и женщины их подталкивали под ритмичные восклицания: «И р-раз... и дв-ва... и тр-р-р-ри-и!...» Наконец появилась конная статуя — та, которой я любовался ежедневно с балконов моего Дворца, — она лежала на железнодорожной платформе, но, оказывается, уже без всадника — в ночь моего бегства всадника сбили, лишь остался бронзовый конь. И, подхваченный краном, конь еще раз поднялся — на один момент, последний, перед тем как погрузиться в воду, в венке бурлящей пены, — героически взметнулся на дыбы, лишенный Того, кто, сидя в седле, крепко держал поводья в руках. «Memento homo...»³⁵⁵ — произнес я, не закончив всей фразы, поскольку классическое выражение тут же утонуло в нахлынувшем воспоминании о жестокой шутке, которую однажды услышал от Студента.

«Не пойте танго на слова реквиема, — сказал консульский агент. — Теперь эти ваши статуи будут, покоиться на дне моря, позеленеют от селитры, их обнимут кораллы, покроет песок. А там, где-то в 2500 или в 3000 году, их обнаружит ковш драги, возвратит на свет божий. И люди спросят, как в «Сонете» Арвера³⁵⁶: «А кто этот человек?...» И, быть может, не найдется никого кто сумеет ответить. Произойдет то же самое, что с римскими скульптурами трагической эпохи, которые можно видеть в разных музеях: о них известно лишь то, что они представляют собой изображения какого-то Гладиятора, какого-то Патриция, какого-то Центуриона. А имена утрачены. В вашем случае скажут «Бюст или статуя, какого-то Диктатора». Столько их было и столько еще будет на этом полушарии, имя уже ничего не значит. (Он взял томик, лежащий на столе.) Вы значитесь в Малом Ляруссе? Нет?.. Тогда вас совсем обошли...». И в тот вечер я заплакал. Заплакал над томиком словаря — «Je sème a tout vent»³⁵⁷ — словаря, в котором ничего не говорится обо мне.

Часть седьмая

XIX

*...и, решив не искать иной науки, кроме той, какую
можно найти в себе самом...*

Декарт

Степенный и гармоничный, солидно вписывающийся в архитектурные ансамбли, окружающие Триумфальную площадь, — будто броней от любой внешней угрозы покрытый плотной патиной, оттенявшей стены год от года все более, и светлее казались лишь карнизы и рельефы, — дом на Рю де Тильзит принял его в свое лоно, защищенное высокой черной решеткой, как приемлет горное убежище заплутавшего альпиниста, который постучался в дверь после опрометчивого блуждания меж лавин и пропастей.

Было пять утра. Воспользовавшись собственным ключом, чтобы не будить Сильвестра, Глава Нации вошел в вестибюль и включил свет. За ним следовала Мажордомша — на всем пути от вокзала Сен-Лазар она кашляла и дрожала от озноба,

³⁵⁵ Человек, помни... (лат.).

³⁵⁶ Сонет французского поэта Феликса Арвера (1806-1850), заканчивающийся словами «Кто эта женщина?»

³⁵⁷ Я сею повсюду (фр.). — девиз на словарях Лярусса.

несмотря на побитое молью пальто с меховой отделкой, купленное на Бермудских островах. Жалуясь на спазмы, стеснение в груди, боль в суставах, мулатка попросила рому, постель и прославленный целебный колумбийский бальзам из Толу. «Дай ей святой Инес, что там еще осталось, и проводи по задней лестнице в мансарду, в какую-нибудь комнату», — распорядился Экс (теперь он с гримасой иронии титуловал себя Экс), обращаясь к Чоло Мендосе, который тащил чемоданы.

Оставшись один, Экс огляделся вокруг и заметил немало перемен в мебели и отделке комнаты. Там, где надеялся вновь встретить столик красного дерева с китайскими вазами и цветов из слоновой кости, в чью чашу складывались визитные карточки, и прикрывшуюся своими распущенными волосами ундину, так выделявшуюся на темно-вишневом бархатном фоне щита с кинжалами и мечами, он увидел наготу выкрашенных светлой краской стен без какого-либо орнамента, кроме гипсовых арабесок, которые, если напрячь воображение, могли казаться весьма стилизованными гребнями разбушевавшихся волн. Из мебели здесь стоял только один длинный диван без спинки с подушками пунцового цвета — что как будто называется «цвет танго», а на узеньких консолях сверкали какие-то стеклянные шары, призмы, ромбы с электрическими лампочками внутри. «Не слишком безобразно. Однако то, как было ранее, выглядело достойнее, в стиле всего дома», — подумал Экс.

Он поднялся на второй этаж, с наслаждением вдыхая запах лакированного орехового дерева ступенек, своей стойкостью упразднявший время, истекшее с тех давних пор. Гардины салона уже окрашивались в бледно-желтые тона робким светом предутренней зари. Президент подошел к окну, отвел в сторону гардину, чтобы посмотреть на площадь. Великолепной и величественной вздымалась на своей несравненной знатности Триумфальная арка с разверзшей уста Марсельезой, с песнопевцем Тиртеем в боевых доспехах, со старым воином в шлеме, сопровождаемыми мальчиком-героем, у которого все было наружу. В монументе на вечные времена воплотился гений картезианской Франции, лишь она оказалась способной породить антикартезианский мир — воображаемый, вдохновенный, возвышенный и надломленный фантастическим корсиканцем, необыкновенном чужеземцем, замороженным чарами мартиникской мулатки и потерявшим треуголку в московском пожаре после того, как его войска были побиты партизанами священника Мерино и Хуана Мартина Эль Эмпесинадо³⁵⁸.

Однако за спиной того, кто созерцал монумент, находились кое-какие произведения, которые, видимо, с несравненно большей точностью отражали дух картезианской Франции. Включив электричество, он обернулся к ним. И представившееся его взору оказалось столь неожиданным, столь абсурдным, столь непостижимым, что рухнул он в кресло, вдруг обессилив от попыток что-либо понять... Вместо святой Радегунды мерovingской Жан-Поля Лорана с ее иерусалимскими пилигримами торчали каких-то три персонажа, плоские настолько, что и персонажами не казались, туловища которых были расчленены на геометрические фигуры, а лица — если это можно считать лицами — закрыты масками.

Один — в капюшоне, напоминающий монаха, — держал а руке нотную бумагу; другой, посредине, в колпаке паяца, дул во что-то похожее на кларнет; у третьего, одетого в костюм рисунка шахматных клеток, наподобие арлекина, в руках была не то

³⁵⁸ Руководители партизанской борьбы за освобождение Испании от французских оккупантов в 1808–1814 годах.

гитара, не то мандолина, не то лютня — уточнить нельзя, видна лишь какая-то треть инструмента. И все три персонажа — если это были персонажи, — неподвижные, гротескные, точь-в-точь явления из кошмара, глядели, с таким видом, будто им неприятно было присутствие вторгшегося сюда.

«Что вы тут делаете? — как бы допытывались у него. — Что вы тут делаете?..» Но это еще не всё: по другую сторону вместо изящного морского вида Эльстира появилось нечто неопределенное — скрещение горизонтальных, вертикальных и диагональных земельно-песочной расцветки полосок, и на этих полосках красовался наклеенный обрывок газеты «Ле матэн»; Экс — попробовал ногтем мизинца отодрать его, но ему это не удалось — слишком крепок был клей и покрывавший всю поверхность лак. Напротив, где ранее висел «Ужин кардиналов» Дюмона, сейчас прикреплено было нечто совершенно лишнее мысли, скорее означающее набор образцов красок фирмы «Риполэн»: красные, зеленые, белые круги и прямоугольники, разграниченные черными жирными линиями.

Рядом место «Маленького трубочиста» Шокарн-Моро занимало изображение некой разновидности Эйфелевой башни — горбатой, наклонившейся, кривоногой, большелопой, как будто переломленной ударом титанической кувалды, обрушившейся с неба. А далее, между двух дверей, виднелись какие-то женщины — впрочем, женщины ли? — с ногами и руками, надо полагать, сфабрикованные из кусков труб парового отопления. Там, где в свое время я поместил «Светский прием» Бери с волшебством кружев, кружевного шитья, высвеченных изнутри, перед моими глазами топырилась невообразимая галиматья, к тому же имевшая абсурдное название, выписанное четкими и округлыми буквами: «Недреманное око метилового арсенида». На вращающейся подножке из зеленого мрамора была установлена мраморная форма, точнее — бесформенная форма, без четкого замысла и какого-либо смысла: шарики — два внизу и нечто удлиненное, задранное вверх, что можно, конечно, простите меня, истолковать по-всякому, хотя изображенное не слишком реалистично, зато чрезмерно непропорционально и, бесспорно, непристойно, и что, кстати, скрывают в обществе. «Однако... что за беспутство все это?» — «Модернистское искусство, сеньор Президент», — тихо проговорил Чоло Мендоса, оставивший на мансарде Мажордомшу, закутанную в шали, прикорнувшую под теплым одеялом...

Поспешно переходя из комнаты в комнату, Экс повсюду обнаруживал те же графические извращения, те же ужасающие уродства: сумасбродную, донельзя вздорную, донельзя «загерметизированную» мазню, вне связи с чем-либо из настоящего, давнего прошлого либо легендарного, без сути, без идеи. Изображенные фрукты не были фруктами, а дома оказывались многогранниками, на физиономиях вместо носов выпячивались чертежные треугольники, у женщин груди помещены не там, где им надлежало быть, — одна вверху, другая внизу, или зрачок на виске; а далее — два торса настолько перекручены, настолько переплетены и слиты их корпуса, что потеряли они человеческое и приобрели скорее скотское, — для того, чтобы показать двоих, занятых этим (у Экс под замком хранилась богатая коллекция порнографических рисунков), художнику, бесспорно, не хватило мастерства, умения передать ракурс, пластичность движений и форм; ничем, даже в самой ничтожной степени, не обладали эти обанкротившиеся художники, именовавшие себя — «модернистами», — не способны они были ни воспроизвести обнаженное тело, ни показать молодого спартанца на фоне Фермопил, ни заставить бежать лошадь, которая была бы лошадью, ни расписать — скажем к слову — плафоны Парижской оперы

либо изобразить битву с эпическим талантом Детайля.

«Я прикажу снять всю эту мерзость!» — закричал хозяин дома, почувствовав себя Хозяином Дома, срывая «Недреманное око метилового арсенида». «Можно ли поверить, неужто это ты!» — раздалось за его спиной восклицание только что вошедшей Офелии, одетой в синий вечерний костюм, несколько растрепанной, взбудораженной — еще, видимо, не освободившейся от воздействия выпитых бокалов. «Дочка! — откликнулся Глава Нации, прижав ее к себе в таком порыве нежности, что голос его прервался. — Доченька! Плоть от плоти моя!» — «Папочка, милый!» — твердила она также со слезами на глазах. «Какая ты красивая, какая дивная!» — «А ты такой сильный, такой крепкий!» — «Иди сюда, сядь рядом со мной... Мне хочется столько тебе сказать... столько рассказать» — «Видишь ли...» И из-за плеча Офелии, на котором увядала пропахшая табаком орхидея, Экс увидел, точно на карнавальном шествии во Фландрии, со всклокоченными волосами, измазанные, невыспавшиеся рожи, явно перепившие. «Это мои друзья... Дансинг, в котором мы ужинали, уже закрыт... И мы приехали сюда — продолжать праздновать».

Люди, и еще люди; люди неопрятные, развязные, опустившиеся; люди грубые, невежливые, нахальные; люди, которые — почувствовали себя здесь будто дома — более чем дома: в борделе, — рассевшись на полу, без спросу вытаскивая бутылки из домашнего бара, закатывая ковер, чтобы легче было танцевать на навощенном полу, и — не обращали решительно никакого внимания на Экс.

Женщины с юбками выше колен, с прической под кружок, что там было отличительным признаком проституток; юнцы гомосексуалистского вида в клетчатых рубашках — вероятно перешитых из фартуков кухарок. А теперь еще заиграл патефон: «Yes. We have no bananas...» (Эту гнусность приходилось терпеть на пароходе во время всего плавания через Атлантический океан.) «We have no bananas. Today...»³⁵⁹ Офелия, окруженная друзьями, хохотала, куда-то уходила, возвращалась, вытаскивала пластинки из книжного шкафа, приносила вино, наливала в бокалы, крутила ручку патефона, а с Экс, смиренно усевшимся на диване, вела диалог из обрывков фраз, бессвязных, из вопросов без ответов, из сообщений без уточнений — среди круговерти и круговерти по залу — не приехала на вокзал Сен-Лазар, потому что радиограмма о прибытии получена лишь вчера, поздно, когда уже была на вернисаже; а оттуда нужно было поехать на праздник, и только сейчас, поднявшись, узнала о приезде от консьержки: «...Да, сейчас мы будем счастливы; тебе нет необходимости возвращаться в ту страну дикарей». (А теперь зазвучал «Сент-Луис блюз», вызвавший неприятные воспоминания, — тот самый, что наигрывал консульский агент тем вечером...)

«Ты слышишь, я привез сюда Мажордомшу». — «А где она?» — «Спит наверху». — «Откровенно говоря, я не стала бы ее привозить». — «Она — единственный человек, который там мне не изменил... потому как... даже Перальта!» — «Мне всегда подсказывало сердце, что он сукин сын». — «Хуже, он карманный Макиавелли». «Даже не это, скорее — карман Макиавелли» (и снова: «Yes. We have no bananas») — «Я не стала бы захватывать с собой Мажордомшу, не представляю ее в Париже, еще одна головная боль, еще балласт». — «Нам надо поговорить об этом, надо о многом поговорить». — «Утром, утром, утром...» — «Но утро уже наступило, уже день наступил». (Опять «Сент-Луис блюз».) «Послушай-ка... И что же, ты хочешь

³⁵⁹ Да, у нас нет бананов... нет сегодня бананов у нас (англ.).

оставить на стенах всю эту пакость?» — «Ай, не будь таким отсталым, дорогой мой старина, это ведь искусство сегодня, ты к нему привыкнешь». — «А мои полотна Жан-Поля Лорана, мой «Волк Губбио», мой морские пейзажи?» — «Их я продала на аукционе в «Отеле Друо» — по правде говоря, мне дали чепуху за всю партию, это уже никого не интересует». — «Чертовщина! Могли бы со мной посоветоваться!» — «Как я могла бы с тобой посоветоваться, если газеты на днях сообщали, что тебя сбросили? Об этом я узнала на ярмарке в Севилье». (Опять: «Yes. We have no bananas...») — «А когда ты узнала, плакала много?» — «Много, много, много...» — «Ты, конечно, стала носить черную мантилью?» — «Подожди, я должна завести патефон...» (Мелодию «Yes. We have no bananas...», раздававшуюся было глухо, перевела на более громкое звучание.) «Послушай... а эти люди еще долго будут здесь болтаться?» — «Если они захотят задержаться, выгонять их я не буду». — «Видишь ли, нам нужно о многом поговорить». — «Утром, утром, утром...» — «Но ведь утро уже наступило...» — «Если ты устал, иди поспи...» (Новая пластинка: «Je cherche apres Titine, Titine, — oh ma Titine...»³⁶⁰, — и эта мелодия преследовала на борту парохода.)

А теперь Офелия, оставив его на диване, начала танцевать, словно сорвавшаяся с цепи, подхватив какого-то кудрявого англичанина, которого представила, проходя в танце мимо и не расставаясь, как некоего лорда... не знаю, какого, — с которым, дескать; познакомилась на Капри и — как мне подсказал Чоло Мендоса, усевшийся рядом, — у которого уже были неприятности с французской полицией, потому что учениц лица Жансон-де-Сейи он использовал в качестве исполнительниц сценических вариантов одной из «Буколик» Вергилия... «Да, той, с пастушком Алексисом, знаю, знаю ее...»

Экс посматривал на свою дочь, на всех остальных с нарастающим раздражением. И на этих двух, что качались — девка с девкой, прижавшись щека к щеке. И на тех двоих, парень с парнем, ухвативших друг друга за поясницу. И на ту, другую, коротко остриженную, что целовалась с худой блондинкой в желтой шали. И еще эти глупейшие, непонятные картины на стенах.

И еще та белая статуэтка, мраморная, сексуальная, непристойная, — среди бутылок с виски, на этикетке которых белый конь по крайней мере пристойно нарисован. Внезапно лицо его побагровело в приступе гнева — Мендоса уже знал эти симптомы. Экс пересек зал, рывком поднял мембрану патефона, сбросил несколько пластинок на пол, каблуками раздавил, обратил в мелкие осколки. «Вон всю эту мразь отсюда!» — закричал он. Отступив к остальным, крайне пораженным и ожидавшим, что произойдет дальше, Офелия, будто вождь племени, оценивающий силы противника, прежде чем перейти в наступление, теперь смотрела на своего отца с разгоравшейся яростью. «Милый папочка» выросстал перед ее глазами: вздымался, раздавался вширь, превращался в гиганта, раздвигающего руками стены, поднимающего плечами потолок. Да, если к нему вернется былая власть, если ему позволить обрести былое могущество, позволить приказывать, решать всё и вся в том доме, где так приятно было не обращать на него внимания в течение многих лет; если не подавить в нем тщеславие, не преградить путь его импульсам, то в конце концов он станет тираном здесь, каким был тираном там — он, привыкший быть тираном всегда. «Если тебе не нравятся мои друзья... — сказала она, и в голосе ее зазвучал

³⁶⁰ Я ищу потом Титину, Титину, — о, мою Титину... (фр.).

давнишний, тогдашний тон, сухой и холодный, которого он некогда побаивался. — Если тебе не нравятся мои друзья, можешь забрать свои чемоданы и отправиться в отель Крийон или в отель Ритц. Там есть хорошие номера — с полным обслуживанием, с приличной обстановкой». — «Содом и Гоморра!» — заорал Глава Нации. «Поэтому тебя и свергли, что болтаешь глупости», — сказала Офелия.

«А, собственно, кто это такой?» — начали спрашивать остальные, лишь сейчас им заинтересовавшись. «Mon pere, le President...»³⁶¹ — заговорила Офелия торжественно, словно желая смягчить резкость сказанного ранее «Vive le President! Vive le President!»³⁶² — закричал теперь все, тогда как один из них, по-клоунски высоким фальцетом, как бы на кларнете, затянул «Марсельезу». «Иди, спать, папа...»

Гардины салона уж озарились солнцем, хотя в помещении еще горел свет. Утро наступило в своем величии для всего города, «Поедем в «Буа-Шарбон», — обратился Экс к Чоло Мендосе. «Bye, bye»³⁶³ — сказала Офелия. И пока господа спускались по большой почетной лестнице, остальные наверху; высовывая из-за балюстрады свои лица-маски, запели хором на мотив «Мальбрука»:

L'vieux con s'en va-t'en guerre
Mironton. Mirotron. Mirotaine.
L'vieux con s'en va-t'en guerre.
Et n'en reviendra pas!³⁶⁴

«Alors... on a eu des malheurs. Mon bon monsieur»³⁶⁵ — сказал, увидев входящих, Мюзар, всё боле смахивавший на усатого жоака с Триумфальной арки. (Конечно, мой портрет он уже видел в какой-нибудь газете.) «Oh! Vous savez... Les revolutions...»³⁶⁶ — заметил я. «Les revolutions, ca tourne toujours mal...»³⁶⁷ — сказал бармен, вытаскивая бутылку. «Voyez ce qui s'est passe en France avec Louis XVI»³⁶⁸, (Я вспомнил обложку книги «Конвент» французского историка Мишеля, в издании «Нельсон», на которой бывший король Людовик, ставший гражданином Капетом, изображен на эшафоте весьма достойно, с расстегнутым воротом сорочки, будто на приеме у отоларинголога. «Ce sera pour la prochaine fois»...³⁶⁹ — сказал я, поднимая

361 Мой отец, президент (фр.).

362 Да здравствует президент! Да здравствует президент! (фр.).

363 Пока, пока (англ.).

364 Старый хрыч в поход собрался.
Миронтон, миронтон, миронтэн.
Старый хрыч в поход собрался
И уж более не вернется: к нам (фр.).

365 Итак... у вас были кое-какие беды, мой добрый господин? (фр.).

366 О! Знаете... революции (фр.).

367 Революции всегда обертываются злом (фр.).

368 Посмотрите, что произошло во Франции с Людовиком XVI (фр.).

369 Так будет в следующий раз (фр.).

руку к шее. Вероятно, заметив, хотя и запоздало, что его воспоминание о Людовике XVI прозвучало несколько неподходяще, мосье Мюзар пытался теперь привести все в порядок: «Les revolutions, vous savez... Il parait que sous l'Ancien regime on etait bien mieux... Ce sont nos quarante Rois qui ont fait la grandeur de la France». ³⁷⁰

Он, видать, начитался «Аксьон франсез» ³⁷¹, — заметил Чоло Мендоса. «Выглядит сторонником Барреса», — сказал я. «Le Beaujolais nouveau est arrive... — сказал мосье Мюзар, наливая три бокала. — C'est la maison que regale...» ³⁷².

Я выпил вино с удовольствием. Из глубины бара доносился приятный аромат смолистых поленьев — продавались они небольшими, скрученными проволокой вязанками для разжигания угли в камине. На своих полках — как будто и не проходило время с тех пор — стояли неизменные бутылки аперитивов с этикетками «Сюз», «Пикон», «Рафаэль», «Дюбонне».

«На что ты будешь жить теперь? — спросил я Чоло Мендосу. — Ты ведь уже не посол». «Предусмотрительный человек двух стоит. Денег у меня хватит; с избытком». — «Откуда раздобыл?» — «Благодаря моим усилиям население нашей страны увеличилось ни тридцать тысяч новых граждан, которые не фигурируют в наших переписях, даже не знают географической карты нашей страны. Для них я подготовил паспорта, документы о нашем гражданстве... Это несчастные, оставшиеся без родины. Жертвы войны. Русские белогвардейцы. Апатриды. Heimatlos ³⁷³. Благотворительностью занимался... Кроме того, кое-какой бизнес через дипломатическую почту... Не я один. А я не святой. Другие пользуются диппочтой для худших делишек. Признаться, искушение велико, нынче это уж очень прибыльно. Но, конечно, опасно... А с паспортами — напротив... У меня есть дубликат печатей посольства. Так что лавочка открыта... Скромненько, конечно...»

«Хорошо, хорошо продумано, да наши соотечественники иного и не заслуживают... (Экс вздохнул.) Ай, братец!.. Как трудно служить родине!..»

Мы возвращаемся на Рю де Тильзит. Навстречу нам вышел новый швейцар, по-видимому, инвалид войны, левый рукав у него был пришпилен к плечу синей куртки; на лацкане виднелся какой-то значок. Пришлось объяснять ему, что я — владелец этого дома; лишь после разъяснения, в некотором замешательстве, хотя и с наигранными извинениями, он позволил мне пройти.

Гардины в салоне до сих пор были опущены. На диване, в креслах, на разбросанных по ковру подушках спали некоторые из вторгшихся сюда на рассвете пропойц и забулдыг. Переступая через тела, я добрался наконец до моей комнаты. А на Триумфальной арке, как и вчера, как и всегда, пела Марсельеза Рюда.

Хотя Марсельеза продолжала там петь — вместе с призывающим вождем и мальчиком-героем среди сабель и панцирей, Париж для меня был пуст. К такому выводу я пришел вчерашним вечером, когда после долгого сна попытался подвести баланс: а что из утраченного я смог бы возместить в этом городе? Рейнальдо Ган на

³⁷⁰ Революции, знаете... кажется, что при Старом режиме были значительно лучше... Своим величием Франция обязана нашим сорока королям (фр.).

³⁷¹ «Аксьон франсез» — французская реакционная газета, выходящая в 1908–1944 годах.

³⁷² Получено свежее «божол»... Это мой бар угощает... (фр.).

³⁷³ Без родины (нем.).

мой звонок не подошел к телефону. Быть может, он жил за городом. «Abonne absent»³⁷⁴, — ответил мне женский голос с телефонной станции. Именитый Академик, всегда такой понимающий, с которым я хотел поделиться всеми огорчениями и разочарованиями, а заодно надеялся попросить советов насчет, то-то, следует ли мне писать «Мемуары», умер несколько месяцев назад в своей квартире на набережной Вольтера; он; стал жертвой неизлечимой болезни после глубокого духовного кризиса — на последний весьма оживленно откликнулись католические круги: кризис побудил его проводить дни напролет за молитвой в холодной церкви Сен-Рош, для меня связанной с воспоминаниями об одном романе Бальзака, мною, еще подростком, прочитанном в Ла Веронике. (Не знаю, почему-то боссюэские, фенелонианские церкви — я имею в виду их стиль, — как, например, Сен-Рош, Сен-Сюльпис или Версальская часовня, — не вызывают у меня религиозного рвения. Чтобы прочувствовать христианскую церковь, мне нужно видеть ее погруженной в полумрак, уютной, полной реликвий, чудес, образов обезглавленных святых, крови, язв, слез и пота, кровоточащих ран, джунглей свечей, серебряных ног и золотых внутренностей, возложенных на алтарь как дары по обету...)

Я узнал, что Габриеле д'Аннунцио после того, как запутался в Фиуме³⁷⁵, замкнулся — так говорили, — став князем — так говорили, — в своей итальянской резиденции, где можно было видеть прислоненным к скале нос крейсера, поднятого туда в память о каком-то подвиге. Я узнал — и Офелия насчет этого сказала правду, — что живопись Эльстира в изрядной степени потеряла свою популярность среди публики; его изящные морские пейзажи свернутыми пребывали в художественных галереях второй категории вместе с другими произведениями искусства, в котором, по суждению нуворишей, порожденных войной ничего не было, кроме волн, яликов, песка и пены. Огорченный обесценением своих шедевров, он, затаив бушевавший в душе гнев, уединился в своей студии, в Бальбеке³⁷⁶, и пытался добраться до высот «модернизма» путем деформации собственного стиля, но не открыл что-либо новое, — и всё свелось к беспорядочным поискам, не вызывавшим восторга у его вчерашних поклонников, и у тех, кто ныне следовал модным течениям. В музыке произошло нечто сходное: уже никто не играл Вентейля — а тем более его «Сонату»³⁷⁷, — кроме девочек, учениц консерваторий, которые, возвратившись после занятий по курсу рояля, забрасывали его произведения в какой-нибудь папке и подальше, чтобы предаться чудачествам «La cathedrale engloutie»³⁷⁸ либо «La ravane pour une infante defunte»³⁷⁹, если не спускались до уровня «Kitten-on-the-keys»³⁸⁰ Зезы Конфри³⁸¹.

³⁷⁴ Абонент отсутствует (*фр.*).

³⁷⁵ В 1919 году д'Аннунцио возглавил итальянскую националистическую экспедицию, захватившую югославский город Риеку (Фиуме), являлся его комендантом до конца 1920 года, когда был вынужден оставить город. Титул князя он получил позднее от фашистского режима Муссолини.

³⁷⁶ Бальбек — название несуществовавшего городка в Нормандии, упоминаемого в романе «В поисках утраченного времени» М. Пруста.

³⁷⁷ Речь идет о герое романа М. Пруста «В поисках утраченного времени», сочинившего сонату, имевшую большое значение в жизни других персонажей романа.

³⁷⁸ «Потонувший собор» (*фр.*).

³⁷⁹ «Павана на кончину инфанты» (*фр.*).

А юнцы, «знатоки» — только чего? — снобы, очарованные русским музами, привезенными Дягилевым, относились к благородному маэстро Жану Кристофу как к «vieille barbe»³⁸², отрекаясь от него, как отреклись от «Золота Рейна». И уже было замечено худшее, нечто непостижимое: Анатолий Франс, который мог бы спокойно оставаться в мире Таис и Жерома Куаньяра³⁸³, заговорил чем-то иным — о социалистическом, и совсем недавно провозгласил необходимость «всеобщей, революции которая захватила бы и Америку — ни более ни менее предоставив большие суммы денег этой отвратительной газете «Юманите». И другие пошли по очень дурному пути: граф Аржанкур, бывший поверенным в делах Бельгии, ранее столь церемонный, надменный, дипломат высшего класса, был встречен Чоло Мендосой несколько дней назад перед театром кукол на Елисейских полях — граф превратился в человеческую руину, вид идиотский, физиономия льстиво улыбающегося нищего, вот-вот готового протянуть руку за милостыней...

В эти дни я не рисковал позвонить по телефону мадам Вердюрен — ныне, после бракосочетания, принцессе. Я опасался, что принцесса — или с тщеславием таковой — еще отнесется с пренебрежением к тому, кто в итоге всего является лишь латиноамериканским президентом, выброшенным из своего Дворца. С чувством горечи я думал о плачевном конце Эстрады Кабреры; о многих главах государств, которых тащили по улицам их столиц; об изгнанных и униженных, как Порфирио Диас; о севших на мель в этой стране, после долгого пребывания у власти, как это было с Гусманом Бланке³⁸⁴, о том же Росасе из Аргентины, дочь которого³⁸⁵, устав выполнять роль самоотверженной девственницы, великодушной заступницы перед актами жестокости Грозного отца, внезапно раскрыла суть всего и покинула сурового патриарха в час заката, оставив его умирать в тоске и одиночестве туманного Саутгемптона, — и это того, кто был властелином безграничных памп, серебряных рек³⁸⁶, лун, которыми можно любоваться лишь там, солнц, восходящих и закатывающихся каждодневно над горизонтами, которыми он по своему капризу повелевал, — и это того, кто созерцал лежавшие на разукрашенных телегах «мазоркерос»³⁸⁷ головы своих врагов, расхваливаемые как «хорошие и дешевые

380 «Котенок на клавишах» (англ.).

381 «Котенок на клавишах» — джазовое сочинение американского композитора и пианиста Эдварда Эльзира (Зеза) Конфри (1895–1972)

382 Старикашке (фр.).

383 Таис и Жером Куаньяр — персонажи романов А. Франса «Таис» и «Суждения г-на аббата Жерома Куаньяра».

384 Антонио Гусман Бланка (1829–1899) — диктатор Венесуэлы с 1864 по 1887 год, вынужденный подать в отставку, умер в Париже.

385 Мануэла Росас де Терреро (1877–1898), по утверждению аргентинских историков, защищала жертв отца, диктатора Х. М. Росаса, прославившегося особой жестокостью.

386 Имеется в виду самая большая река Аргентины — Рио де ла Плата (по-испански Серебряная река) с ее притоками.

387 «Мазоркерос» — участники террористических банд, организованных Х. М. Росасом для подавления оппозиции и набравшихся главным образом из уголовных элементов.

арбузы».

Проходили дни. Я крайне редко видел Офелию, неизменно увлеченную азартными играми, погруженную в какие-то свои неотложные делишки. Мажордомша, съездившаяся, подобравшаяся под теплым одеялом, отказалась подвергнуться осмотру французского врача и переносила воспаление легких с высокой температурой, не принимая никаких лекарств, кроме рома «Санта Инес» и бальзама Толу: здесь, естественно, не было таких трав, какие были там и отвар которых совершал чудеса.

Вместе с Чоло Мендосой повторял я давнишние парижские маршруты, гуляя от Нотр-Дам де Лоретт и «Шоп Дантон», по одной из авеню близ Булонского леса — эта авеню уже не походила на прежнюю — до «Буа-Шарбон» мосье Мюзара, — и уже не испытывал тех, давних, ощущений, не встречал того климата, той атмосферы, которых тщетно искали мое чутье и моя память. Дыхание газолита вытеснило сельский запах конского навоза — ранее общий, без границ, как для столицы, так и для деревни. В утренние часы уже не слышно было выкриков старьевщика, торговли креслом и канареечным семенем, ни буколической свирели точильщика ножей. В районе Плас де Терн уже не появлялись на украшенных кистями по-эстремадурски осликах — после долгого пути из Бадахоса — продавцы кувшинов пористой глины.

Что еще оставалось как нечто постоянное, неизменное, так это «Под Зеркалами» на Рю Сент-Аполлин, 25. Там, среди мозаичных столиков, разрисованных стекол, наклеенных цветов на широких спинках кожаных сидений, у механического пианино, дробно выбивавшего мелодии, с двумя официантами в белых фартуках и с бутылками на подносах — совсем как с этикетки «Рафаэля», — меня ожидали женщины. Ожидали, несмотря на прошедшие годы, смену поколений, обновление персонала, изменение причесок: сегодня почти все худощавые в соответствии с нынешними вкусами, в отличие от полненьких, предпочитавшихся в конце прошлого века; именно они, женщины, возвращали меня к начальным главам моей собственной истории, к моим первым наслаждениям, к тысячам воспоминаний о былом, к тем далеким хроникам здешнего бытия, в котором, как и в других странах континента, всё уже коренным образом преобразилось, расстроилось, было фальсифицировано внезапным ускорением ритма жизни. Произошло смешение языков, последовали деградация ценностей, непочтительность юных, неуважение к патриархам, профанация дворцов, изгнание праведников...

А здесь, «Под Зеркалами», я вижу нечто постоянное, единственное, что всегда — пусть бюсты больше, бюсты меньше! — было здесь, как там, диалектикой незаменяемых форм, общим языком взаимопонимания. В необратимом течении времени плоть могла перейти в соответствии с эпохой от стиля Бугро к стилю Ева-Средневековая, от декольте Больдини к декольте Тинторетто либо, наоборот, от толкучки ягодиц и животов Рубенса к нежным и воздушным очертаниям нимфы Пюви де Шаванна; появлялись и исчезали эстетические критерии, моды, вариации, переиначивались вкусы, то заострявшие силуэты, то игравшие пропорциями, удлиняя или расширяя их, и никогда не приходили к какому-то завершению, — тогда как стили в чем-то другом страдали от непрерывных трансформаций в попытках подменить основную правду обнаженности. Здесь, созерцая видимое, я обнаруживаю Великую Задержку Времени, оказываюсь вне эпохи — быть может, в дни солнечных или песочных часов, и в силу этого освобождаюсь от всего, что привязано к датам моей собственной биографии; здесь я чувствую себя уже не окончательно сбитым с моих бронзовых коней, не окончательно снятым с моих пьедесталов, не окончательно

свергнутым монархом, не окончательно смещенным актером, я ощущаю себя человеком, отождествленным с моим внутренним «я», мои глаза еще пригодны видеть, и вождения, исходящие из глубин жизнестойкости, еще и еще призывают наслаждаться тем, что достойно взглядов, — а это богатство более предпочтительно (я чувствую — значит, существую), чем мнимое существование в глупейшей вездесущности сотен статуй, высящихся в муниципальных парках и во внутренних дворах муниципалитетов... Когда подобные мудрствования заставили меня быть серьезным как раз там, где вообще-то не полагалось быть серьезным, когда я пришел к выводу, насколько велика дистанция между мыслью и местом пребывания, то не мог удержаться от смеха и невольно повторил фразу, всегда вызывавшую ликование Чоло Мендосы: «Все, что угодно? только не «to be or not to be (Быть или не быть) в борделе». — «That is the question» (Вот в чем вопрос), — отвечал тот, также прикидываясь начитанным, а одновременно делая многозначительные знаки полнотелой Леде, и Леда, поняв, что уже избрана, не торопясь поджидала своей минуты и потягивала анисовый аперитив за ближайшим столиком — она сообразила: этот клиент заслуживает ожидания, хотя не произнес и полслова; чужеземцы ведь обычно щедры, умеют оценивать профессиональную добросовестность любого труда.

XX

Как-то сразу вылечившаяся от лихорадки и колик, Мажордомша вылезла из-под теплого пухового одеяла и потребовала отвести ее в церковь, где она могла бы исполнить данный Богородице обет, поставив свечи и помолившись. «Церковь, церковь!» — выкрикивала она консьержке, крайне удивленной ее появлением в трех юбках, натянутых одна на другую: опасалась мулатка утренней росы, испаряющейся под первыми лучами раннего летнего солнца. «Церковь, церковь!» — повторяла она, для пущей убедительности осеняя себя крестным знаменем, складывая руки в молитвенном жесте, потрясая посеребренными четками. Консьержка, по-видимому, уразумев, показала ей: нужно идти туда-то, повернуть налево, повернуть направо, пройти еще немного... И Мажордомша, посверкивая уже окрепшими икрами, шла, шла, шла, пока не встретила огромный храм — конечно, храмом должно быть это здание, хотя не увенчивал его крест, зато поверх многоколонного фасада украшено оно было скульптурами, похоже, религиозными и, похоже, сделанными Мигелем Монументом. Там звучала органная музыка, оттуда доносилось бормотание молитв, и священник произносил какие-то слова, которых она, правда, не уяснила, но ведь виднелась знакомая ей церковная утварь — алтарь повсюду будет алтарем, и у святых образов есть что-то схожее, родственное, а дым ладана не оставлял места сомнению... Выполнив свой благочестивый долг, купив свечи на французские деньги, полученные от Главы Нации по прибытии в порт Шербур («А вдруг ты еще потеряешься, как пойдешь отлить...»), спустилась она по лестнице, но не могла не задержаться на цветочном рынке, очень хорошеньком, пусть здешние гвоздики не пахнут так, как тамошние, — и пораженная, замерла на месте перед каким-то магазином, в витрине которого на тонком полотне возлежал плод манго — один-одинешенький, изумляющий. Далеко, там, манго продавали с тачек, украшенных пальмовыми ветвями, под выкрики — «за пятак половину!» — а тут выставляли в витрине, будто какую-то драгоценность, из тех, что в ее стране рекламировали французские ювелиры.

Мажордомша рискнула зайти в магазин. От стеллажа к стеллажу, от прилавка к прилавку возрастали ее радостное возбуждение и удивление: юкки, словно призывая к

себе, протягивали к ней свои бурые объятия; перед ее глазами вновь зазеленела зелень зеленых бананов, наливалась маланга в морщинистой кожурке, у батата пестрели светлые пятна на пунцовой окраске — скорее коралл, чем спрятавшийся корнеплод. А позади — густая чернь черных бобов, и литургическая белизна гуанабаны и розоватость мякоти гуайябы.

И при помощи своего языка жестов и междометий, тыча пальцами, восклицая, ворча одобрительно или осуждающе, приобрела она пять этих, трех тех, десять таких, восемь из того мешка, пятнадцать из другого ящика, засунув всё это во вместительную пленку, какие продавались здесь же, а расплачиваясь, водрузила плетенку на голову, напугав тем кассиршу: «*Vous voulez un taxi. Mademoiselle...*»³⁸⁸

Она ничего не поняла. Вышла из магазина и стала прикидывать, где же путь к дому. Когда подходила сюда, то солнце било ей в лицо, солнце и сейчас еще не поднялось высоко, да и пока не давал о себе знать голод: стало быть, около десяти или пол-одиннадцатого. Стало быть, надо идти так, чтобы тень была впереди, — значит, пойдешь по пройденному.

Наихудшее в том, что эти богомерзкие улицы куда-то сворачивают, изгибаются, меняют направление, а тень — всё короче и короче — переходит справа налево и никак не ложится впереди. А кроме того, сколько диковинного, любопытного отвлекало ее: на террасе кафе почему-то столпились американцы — по одежде их можно узнать, а тут — лавка игрушек с синим карликом; а тут — высокая колонна с человечком наверху — наверно, какой-нибудь Освободитель, а далее; парк со статуями за решетчатой оградой. Ага, вот теперь деревья на левой стороне, и тень легла там, где нужно лечь. Шла Мажордомша, шла и шла, пока не добрела до широченнейшей площади, посреди которой установлен камень, совсем как на некоторых кладбищах там, но куда больше — и как только могли его поставить стоймя, на попа? И вот дотащилась она до авениды, на которой козы везли тележки. Продавали здесь карамельки, разные сладости. А плетенка стала весить куда тяжелее, чем ранее, когда внезапно — солнце уже повисло над головой — показался перед ее глазами — далеко, где-то в конце пути — большущий, грузный, никудышный и спасительный монумент, тот самый, который еще называют Триумфальной аркой или как-еще-ее-там. Ускорила шаг. Вот уже и дома. Ей хотелось немедля кулинарничать, но в этот миг точно кто-то воткнул в поясицу острый и холодный гвоздь. И как будто вновь поднялся жар. Плетенку она засунула в угол комнаты, опрокинула стаканчик рома, размешав его с бальзамом Толу, и опять полезла под теплое одеяло, нелестно выразившись по адресу этих ледяных стран, где так легко можно простудиться — и поминай как звали.

На следующий день, примерно в полдвенадцатого, Офелию разбудили неистовые вопли. В ее комнату влетела взволнованная горничная, всплескивая руками, восклицая: «*Mademoiselle, pardonnez-moi, mais...*»³⁸⁹. Оказывается, кухарка хотела видеть Офелию — видеть немедля, во что бы то ни стало. И кухарка уже была тут как тут. Разъяренная. Ворвалась раскосмаченная — разъяренная далее некуда — и с ходу выпалила ей, еще полусонной, с трудом пытавшейся осмыслить хоть что-то: происшедшее невероятно, нетерпимо, в этом доме нельзя находиться ни одного дня

³⁸⁸ Не желаете ли такси, мадемуазель? (*фр.*)

³⁸⁹ Мадемуазель, простите меня, но... (*фр.*)

более, потому возвращает свой передник. И сразу же, сдернув его, метнула с гневным видом — так достопочтенный мастер масонов, доведенный до белого каления, мог бы отказаться от канонического фартука в своей ложе. Да, это, было нечто нетерпимое: с мансарды спустилась женщина в трех юбках, отчаянно жестикулирующая, темнокожая, как «une peau de boudin, mademoiselle»³⁹⁰, — и, захватив ее, кухаркино, царство горшков и сковородок, начала стряпать что-то странное — «des man geailles de sauvages, mademoiselle»³⁹¹, перепачкав все, проливая масло, разбрасывая початки маиса по углам, оскверняя кастрюли смесью перца и какао, используя рубанок для снятия шкурок с зеленых бананов, отбивая мясо для жаркого ударами кулака, прежде обмотав кулак серой оберточной бумагой.

А затем, приготовив свою не поддающуюся описанию стряпню и оставив кухню, отравленную угаром от свиного сала и вонью от фританги — жареных помидоров, перца и тыквы, — она унесла подносы и суповые миски в комнатушку, принадлежавшую Сильвестру и сохраняемую в знак памяти о нем — в таком виде, какой ее оставил безупречный слуга, перед тем как с военным крестом на груди пал славной смертью в битве на плато Кранн, ведь недаром же его портрет был напечатан в журнале «Иллюстрасьон» — за героическое поведение перед лицом врага... Наконец, разобравшись в сути всего происшедшего, Офелия вернула передник кухарке и, накинув на себя халат, поднялась в мансарду...

Глава Нации и Чоло Мендоса, взъерошенные, небритые, мрачные, — как видно, уже весьма нагружившиеся выпитым, — сидели рядом перед длинным столом — впрочем, это был даже не стол, а всего-навсего дверь, снятая с петель и положенная на два стула. Несколько тарелок и подносов были расставлены тут, как в гостеприимной тропической харчевне: зелень, гуака-моле — салата из авокадо, томатов и других овощей, багрянец острого перца-ахи, шоколадная охра соуса-чиле, в котором утопали грудки и крылышки индейки под инеем растертого лука.

На доске для разделки мяса выстроились чалупитас — маисовые лепешки-тортильи с мясной начинкой, энчилас — жаркое с чиле и другими специями, тамали — пироги со всякой всячиной, запеченные в пожелтевших листьях, горячих и влажных, распространявшие аромат, от которого текли слюнки. Были и жареные камбурес — маленькие, но спелые, пузатые бананчики — их Мажордомша также разбила кулаком, а потом разрубила железкой от рубанка. И печеные бататы. И кокосовые кораблики, позолоченные огнем очага, а в пуншевнице, где мексиканское спиртное из сока агавы — текиля смешалось с испанским яблочным сидром (так угощают там на крестьянских свадьбах), плавали дольки ананаса и зеленых лимонов, листки мяты и апельсиновые цветки.

«Не хотите ли присесть с нами?» — предложил Чоло Мендоса. «А кто устроил всё это?» — поинтересовалась Офелия, все еще не пришедшая в себя от прерванного сна и от воплей кухарки. «Эльмирита, чтобы услужить господу богу и вам», — любезно пояснила мулатка, приседая в полупоклоне, совсем как девицы-воспитанницы колледжей французских доминиканок.

Офелия готова была резко оборвать праздничную трапезу, сбить ногой импровизированный стол. Однако в эту минуту маисовый тамаль, поднятый на силке,

³⁹⁰ Шкурка от кровяной колбасы, мадемуазель (фр.).

³⁹¹ Жратву диких, мадемуазель (фр.).

приблизился к ее глазам, стал снижаться к ее губам. Как только поравнялся он с ее носом, внезапное волнение, подступившее откуда-то изнутри, издали, вызванное подсознательными побуждениями, подкосило ее ноги, заставив опуститься на стул. Откусила кусочек от тамалья и мгновенно ощутила, как с плеч слетело три десятка лет. В белых носочках, с косичками, в папильотках из китайской бумаги, очутилась она в патио, где под тамариндом лежало метате — две каменные плиты, на которых растирали зерна маиса и какао, И тамаринд манил ее коричневой мякотью своих плодов, притаившихся в хрустящих чехольчиках цвета корицы, — она даже почувствовала терпкий, кисло-сладкий привкус на языке, вызвавший особое, давно забытое воспоминание. И как бы восстановился аромат перезрелых гуайяб — напоминал его чем-то запах малинового, не то грушевого сока, — доносившийся из-за изгороди, где боров по кличке Хонголохонго с длинной щетиной похрюкивал, разрывая вытянутым пятакон битую черепицу, раскатывая старые, заржавевшие консервные банки. А в памяти уже воскресли запахи, что источала кухня, битком набитая всякой посудой, фарфоровыми вазами, глиняными кувшинами, почерневшей от времени керамикой; оттуда слышался — будто чье-то чавканье либо чьи-то шаги по сырой земле — звук воды, с размеренностью маятника капающей на молочную, благоухающую пенистую массу растертого маиса. И корова по кличке Майский цветок, недавно отелившаяся и звавшая своего теленка облегчить ее вымя; и бродячий торговец медовыми коврижками, зазывно расхваливавший свой товар; и колокол часовни, утонувшей меж кизилых и вишневых деревьев... А этот маис здесь — мне еще только минуло семь лет, и каждое утро я рассматриваю себя в зеркало: не набухли ли за ночь мои груди, — этот маисовый запах проникает во все поры моего тела. Мне еще только семь лет.

Пресвятая дева Мария,
Избавь нас от всякого зла
И упаси, Богоматерь,
От этого бесовского пса,

А теперь все хором пели:

Дева взяла мачете,
Чтобы демона покарать,
А бес четвероногий
В чашу успел удрать...

«Des mangeailles de sauvages» — все еще не успокаивалась кухарка; упершись руками в бока, она выглядывала из дверей. «Ко всем чертям Брийя-Саварена!»³⁹² — закричала Офелия, щеки которой разгорелись от сидра с текилей, от ананасовой настойки, от наливок, — пробуя то и это, запуская ложку в гуакамолу, окуная индюшачью ножку в чиле.

И, поддавшись внезапному порыву нежности, она уселась на колени отца, стала целовать его щеки, от которых по-прежнему пахло табаком, агуарденте, французским лосьоном, отзывало мятой, лакрицей, пудрой «Мими Пенсон» — всем отнюдь не одряхлевшим, а мужественным, почти молодым — в этой чудеснейшей неожиданной встрече с прошлым.

Впервые после дней сражения на плато Кранн и героической гибели Сильвестра зазвучал его оставшийся было немой граммофон. Послышались музыка и голоса —

³⁹² А. Брайя-Саварен (1755–1826) — автор книги по гастрономии «Физиология вкуса».

глуховатые и порой замирающие, когда пружина теряла силу, — на пластинках, разысканных Чоло Мендосой: «Фазан» Лердо де Техады, «Душа полей», «Тамбурин», «Черные цветы», «Жемчужины меж твоих губок». И слова в ритме танго, милонги, болеро: «Милонгита, радости цветов и наслаждения, столько зла тебе мужчины причинили, а сегодня всё бы отдала на свете, чтоб одеться в бархат и шелка...»; и «...послушай-ка историю, ее мне рассказал однажды могильщик старый нашего селенья: безжалостна судьба, и по ее велению смерть разлучила юношу с любимой...»; и «ну, что ж, друзья мои и спутники по жизни, пока прощайте, пока прощайте...»; и «...по ночам он на свиданье шел к могиле, скелет желанной увидеть поскорее, цветущего лимона лепестками украсить ее череп и поцелуями сомкнуть ужасный рот без губ...»; и «...ну, что ж, друзья мои и спутники по жизни, пока прощайте, пока прощайте, и наши кутежи былых времен не забывают, не забывают...»; и «...в тот день, когда меня полюбишь, сиянием солнца озарится всё, в любом цветке мелодии Бетховена услышишь...»; и снова, и снова, и снова: «...и наши кутежи былых времен не забывают...»; «прощай, прощай, мой светик, в час ночной, — так пел солдатик под окошком...»

Теперь Эльмирита и Офелия, обнявшись, пели дуэтом — первую партию и вторую, — искусно выдерживая паузы в два с половиной такта и в два такта с тремя полутактами, тогда как Чоло Мендоса, делая вид, что перебирает струны на воображаемом инструменте. В подходящий момент голосом подражал звукам гитары...

А когда подступила ночь, Глава Нации, слушая песни и наслаждаясь яствами, решил окончательно поселиться в комнатухе Сильвестра, куда будет входить и откуда будет выходить по черной лестнице: «Так буду более независимым». Пусть там, внизу, Офелия устраивает свои гулянки с молодежью; пусть обитает там посреди отвратительной мазни, занявшей место его картин, — мазни, уже осточертевшей ему до последнего предела, не говоря о том, что в ней ничего понять нельзя и не поймешь никогда. И Мажордомша будет жить здесь, в соседней комнате, — так удобнее сопровождать и обслуживать его.

Инфанта была согласна: Эльмирита — чудесная женщина, самоотверженная и добрая («Куда порядочней и честней многих из подруг той Мадамы, любительницы музыкальных собраний, которая и видеть тебя не хочет, как обернулась принцессой»). Но прежде всего мулатку надо, одеть по-иному.

И Офелия побежала к своим гардеробам, чтобы достать оттуда кое-какие платья, который уже перестала носить. Мажордомша хотя и похваливала качество материи, но посматривала на них с определенным недоверием: вот это декольте показалось ей бесстыдным, тот разрез юбки — неприличным. Глянув на дамский костюм английского покроя «редферн», она заявила: «Мужское я не ношу». Перед черным ансамблем из ателье Пакена пробормотала: «Пригодится, быть может, для похорон». В конце концов приняла, неожиданно выразив удовольствие, модель Поля Пуаре, в известной степени созданную под влиянием эскизов декоратора Льва Бакста для «Шехерезады» и напоминавшую ей цветастые блузки и юбки ее деревни.

Той же ночью, как бы благословляя новоселье, она укрепила два металлических кольца в стенах, завязала тугим узлом веревки, и повис в воздухе гамаш Главы Нации, — «простите, Экс...» — поправил Патриарх, блаженно качнувшись.

Вскоре Мажордомша научилась ориентироваться в обширном пространстве, центром которого была Триумфальная арка, а границей которому служила река, эту

реку она никогда не пересекала, потому как опасно: те, кто много гладит и много варит или жарит, могут оцепенеть, ежели попытаются пройти по мосту. А церковь она отыскала на площади, где бронзовый кабальеро, прославленный поэт, друг бразильского императора Педро, — как пояснил ей Чоло Мендоса, — погружен, похоже, в вечное раздумье; а позади церкви некоего Сан-Онорато или Сент-Оноре — не знаю, из каких он святых, — находилась потрясающая рыбная лавка, где торговали кальмарами, креветками, ракушками, более или менее похожими на те, что там, а вот альмекас — так они совсем-совсем как те, что у берегов Ла Вероники вылезали на песок, будто привлеченные магнитом, почуяв, что на пляже сидит одинокая женщина, поджидающая мужчину.

А в одной лавчонке, неподалеку, продавали глиняные горшки и кастрюли; и, утаскивая кирпичи с ближайшего строительства — ежедневно уносила по два в резиновом мешочке, нагруженном лимонами, чесноком и петрушкой, — она переделала плиту на мансарде в креольский очаг, подтапливая его полешками; небольшие, перекрученные проволокой связки полешек доставала она из «Буа-Шарбон» мосье Мюзара, куда заходила теперь частенько, пристрастившись к «мюскадэ» и к сладкому «гейяк» — винам, которые, по ее словам, «подбадривали тело»...

И начала жить там, под шиферной крышей, на географических широтах и во времени, принадлежавших другой части света и другой эпохе... По утрам мансарда насыщалась ароматом крепкого кофе, процеженного через шерстяной чулок и — подслащенного тростниковой патокой, что мулатка покупала за Ля Мадлен, куда хаживала, уже не опасаясь заблудиться, — она убедилась, что если пройти под Триумфальной аркой, в самом центре, то вдали можно рассмотреть Стоячий камень³⁹³, туда и следует направляться, повернув затем налево, чтобы найти здание со многими колоннами, перед алтарями которого отмолилась она девятидневку за свое исцеление. А затем следовало ничегонеделание в гамаке, прерываемое глотком агуардьенте и затяжкой сигары «Ромео и Джульетта», пока не раздавалось: «Присядем!» — и на двух широких досках орехового дерева, установленных на плотницких стремянках, появлялся крестьянский завтрак: яйца в густом перечном соусе, поджаренные бобы, маисовые тортильи, свиные шкварки и белый сыр, пестиком растолченный в ступке и рассыпанный на листьях, тех или иных, неважно каких — лишь были бы зеленые, раз нет банановых...

Дремота утренней сиесты, что-то около одиннадцати, прерывалась Чоло Мендосой, приносящим газеты. Однако эта пресса не была рождена на рассвете в парижских ротационных машинах. Это была пресса заокеанская, проделавшая длинный путь и изрядно потрепанная, далекая от сиюминутных событий да и от сегодняшнего дня. Французские газеты «Фигаро», «Журналь», «Пти Паризьен» не поднимали на этот этаж, их мало-помалу заменили тамошними, латиноамериканскими — «Эль меркурио», «Эль мундо», «Ультимас нотисиас», если не «Эль фаро» из Нуэва Кордобы либо «Эль сентинела» из Пуэрто Арагуато.

Глава Нации постепенно забывал фамилии здешних политических деятелей, ему было не столь важно, что происходило в Европе, — хотя недавнее убийство Маттеотти³⁹⁴ подогрело его восхищение итальянским фашизмом, а еще этот великий

³⁹³ Стоячий камень — имеется в виду обелиск Рамзеса на площади Согласия в Париже

³⁹⁴ Джакома Маттеотти (1885–1924) — итальянский социалист, выступавший против фашизма, по приказу Муссолини

Муссолини, он, конечно, покончит с международным коммунизмом и все внимание Экс-президента было приковано лишь к тому, что происходит там...

Приветствуемый как Восстановитель и Страж Свободы, после триумфального въезда верхом на черном коне, — пусть всадник не натягивал сапог и был одет в костюм из белой хлопчатобумажной ткани, в котором обычно выступал с университетской кафедры, — Луис Леонсио Мартинес поднимался по ступеням лестницы Президентского дворца, некогда названного им в своем манифесте «авгиевыми конюшнями»; он выступал с величием торжественно шествующего Архонта³⁹⁵: нахмурены брови, скупы жесты, холоден взгляд — нечто угрожающее во взоре — на тех, кто из шкуры лез, угодливо поздравляя его с победой. Много ожидали от того, кто, назначив новых государственных служащих, благодаря полученному североамериканскому кредиту мог посвятить себя — аскетически и келейно — титаническому труду по исследованию национальных проблем. Подолгу, неделями и неделями, он закрывался в своем кабинете, молчаливый и отделившийся от всех, предаваясь изучению бюджета, статистических данных, политических документов, предпочитая специальную литературу, энциклопедии, доклады и меморандумы и не придавая особого значения консультациям экспертов, всегда старавшихся расчленить тот или иной вопрос — раздробить по-декартовски целое на части, когда множество частиц заставляет нас терять представление о целом. Благоговейно, с взволнованным нетерпением ожидали все результатов его труда. Ежевечерне люди ходили по Центральному Парку неслышным шагом, разговаривая друг с другом вполголоса, и показывали на окно, в котором до утренней зари горел свет: за этим окном создавалось Нечто Великое! Все ждали, что скажет Мудрец из Нуэва Кордобы. Скоро заговорит.

И, наконец, заговорил — перед огромной массой народа, собравшегося на Олимпийском стадионе. Его речь напоминала яростно мчащийся поток — безудержный, непрерывный, — лавину слов из словаря — растрепанного, вырвавшегося из обложки, с перепутанными страницами; это было мятежом слов, водоворотом идей и концепций, торопливым жонглированием цифрами, образами, отвлеченными понятиями, это было головокружительным бегом слов, бросаемых на все четыре стороны света, слов, перелетавших от банковского дома Моргана до республики Платона, от логоса до эпидемии ящура, от американской монополии «Дженерал моторс» до индийского философа Рамакришны. Под конец он пришел к заключению — по крайней мере, именно так некоторые поняли, — что от мистического брака Орла и Кондора, от оплодотворения нашей Неисчерпаемой земли Иностранными капиталовложениями в этой Америке, преображенной мощной Техникой, которая грядет с Севера — «мы находимся уже на пороге века, что станет Веком техники для Молодого континента», — в свете врожденной нашей одухотворенности осуществится синтез Веданты и Пополь-Бу³⁹⁶ с притчами Христа-первого-социалиста, действительно подлинного социалиста, чуждого Московскому золоту и Красной опасности, на фоне Европы — истерзанной, агонизирующей, уже без жизненных соков, без разума, — и будет хорошо, если мы в

был похищен и убит.

³⁹⁵ Архонт — высшее должностное лицо в древних Афинах.

³⁹⁶ Веданта — древняя система индийской философии. Пополь-Бу — древний эпос гватемальских индейцев майя — кичэ.

конечном счете освободимся от бесполезных ее поучений, — закат ее неизбежен, это не так давно предрек германский философ Освальд Шпенглер³⁹⁷. В наступлении новой Эры, когда тезис-антитезис Север — Юг, дополняя друг друга в практической и в теоретической сферах, выльется в сотворение Нового Человечества в «Альфу-Омегу», партию Надежды, отвечая призыву «Sturm und Drang»³⁹⁸, отвечая на биение политического пульса новых поколений, отмечая упадок Диктатур на этом континенте, устанавливая подлинную и справедливую Демократию. Здесь осуществится свободная деятельность синдикатов — конечно, если последние не нарушат необходимую гармонию между Капиталом и Трудом; здесь будут признавать надобность в оппозиции — конечно, если оппозиция станет сотрудничающей (критикующей — да, но обязательно конструктивной); здесь будет признаваться право на забастовку — конечно, если забастовки не парализуют ни частные предприятия, ни общественные службы; и, наконец, будет легализована коммунистическая партия, поскольку фактически она всегда существовала в нашей стране, — конечно, если она не затруднит функционирование государственных учреждений, не станет разжигать классовую борьбу... И пока оратор не заключил свою речь возгласом: «Да здравствует Родина!» — произнесено им было столько раз «однако», «все же», «тем не менее», «несмотря на вышесказанное», «в том числе, если», — что у слушателей осталось впечатление, как будто живут они в окончательно застопоренное, не подчиняющееся движению часовой стрелки, в замороженное Время.

И после выступления Сурового Доктора, спустившегося с трибуны, публика замерла в некоем абсолютном вакууме — опустошенный мозг, экстаз непостижимости мира...

Последующие месяцы были отмечены всеобщим замешательством и расстройством государственного аппарата. Временный президент — не такой уж и временный — никогда не принимал какого-либо решения. Любая инициатива, предложенная его сотрудниками, любое мероприятие, подлежащее немедленному претворению в жизнь, ему казались «преждевременным», «несвоевременным», «скоропалительным» — дескать, «мы не подготовлены», «еще не время», «наши массы недостаточно созрели» и т. п., и т. д. И спустя еще какие-то месяцы в умах стал крепнуть скептицизм; люди пожимали плечами; спешили «урвать» побольше наслаждений от каждого дня, не веря в день грядущий; складывались народные песенки-десимы под гитару и маракас о тех, кто чрезмерно надеялся, и уже поговаривали о недовольстве в Армии.

«Военный переворот у ворот, — вещал Глава Нации. — Сюрпризом это не будет. Как гласит наша поговорка: «Трудно заметить еще одну полоску на шкуре тигра». — «Но сейчас, по слухам, речь идет о молодых офицерах», — заметил Чоло Мендоса. «Пулемет вместо мачете, — отозвался Могушественный прежних лет. — А это все равно...» Однако возникало там и нечто новое: «Либерасьон», ныне ставшая легальной газетой, появлялась каждое утро на восьми полосах, несмотря на то, что зачастую и неожиданно ее типографию обыскивали усердные агенты «Альфы-Омеги», переворачивавшие наборные кассы, рассыпавшие гранки, избивавшие линотипистов.

³⁹⁷ Освальд Шпенглер (1880–1936) — автор двухтомного труда «Закат Европы» (1918–1922), один из предшественников идеологии германского фашизма

³⁹⁸ Буря и натиск (нем.).

Люди, несомненно придерживающиеся коммунистических убеждений, теперь открыто выступали на ее страницах, подписывая своими именами статьи. Парижское издательство «Франсис Салабер», выпускающее музыкальные произведения, получило заказ на тысячу экземпляров «Интернационала», и там его уже пели по тексту, переведенному на испанский язык и недавно опубликованному в Мексике, в «Эль мачете» Диего Риверы³⁹⁹...).

Один за другим проходили месяцы, февральская пресса читалась в апреле, а октябрьская — в декабре, пробуждая воспоминания о событиях прошлого, оживляя в памяти ушедших из жизни: присутствие вчерашнего, набившего оскомину вчерашнего, перешедшего в нынешний день, влившегося в плоть настоящего, существующего, но уже терявшего плотское, — ясно было, что могучий и надменный облик Экс начал сдавать с течением времени, а время, прогрессивно ускоряясь в глазах того, кто им жил, уменьшало, сокращало дистанцию между одним рождеством и другим рождеством, между одним военным парадом по случаю 14 июля⁴⁰⁰ и ближайшим военным парадом по случаю 14 июля — с огромным флагом, развевающимся под Триумфальной аркой и, казалось, остававшимся там после прошлогоднего праздника. Зацветали каштаны, отцветали каштаны, вновь распускались каштаны, сбрасывая календарные даты цветения в мусорные урны, и портному, обслуживавшему Monsieur le President, приходилось возвращаться и вновь возвращаться на Рю де Тильзит, чтобы заново делать выкройку для изнуренного тела, тощавшего день ото дня. Часовая цепочка утопала в обвисшем жилете, тогда как плечи, ранее вздымавшиеся на упругом каркасе, теперь сгорбились, опустились — это заметила Мажордомша, которая в час купанья натирала губкой и волосатой перчаткой грудь своего Главы Нации. Тревожила ее эта прогрессирующая худоба, и поскольку не верила мулатка медикаментам во флаконах, что здесь продавались, то в ответ на письмо, продиктованное — точнее, пробормотанное ею — Чоло Мендосе, некая кума Бальбина из Пальмар де Сикире, где даже почтовой конторы не было, выслала ей пакет с лекарственными травами.

Этот пакет, проделавший долгий путь на осле, муле, велосипеде, автобусе, на разных повозках, на двух пароходах и по железной дороге, Эльмира должна была получить сегодня в Отделе почтовых посылок на Рю Этьен Марсель. Мажордомшу сопровождали ее экс-президент и ее экс-посол: надобно было заполнить много бумажек, много раз подписаться, и все это для людей, которые умеют читать и писать, да к тому же на французском, и это самое худшее... Пакет мулатка завернула в шаль — еще дома, перед выходом, все трое оделись потеплее, день был холодный, хотя в безоблачном небе светило ясное солнышко.

Возвращаясь домой, Эльмира впервые обратила внимание на башни Нотр-Дам. Узнав, что это и есть парижский кафедральный собор, вознамерилась она зайти туда и поставить свечку перед Богоматерью. И уже около самого здания, ошеломленная, остановилась: «Вот что я скажу, так надо бы делать и в наших странах, чтобы завлечь туриста». Фигуры на тимпанах, на порталах напомнили ей скульптуры Мигеля Монумента, земляка ее из Нуэва Кордобы. «Неглупа мулатка», — заметил

³⁹⁹ Газета Синдиката мексиканских революционных, художников, которую основали в 20 х годах Хавьер Герреро, Давид Альфаро Сикейрос и Диего Ривера. Впоследствии газета стала центральным органом Коммунистической партии Мексики.

⁴⁰⁰ 14 июля — день падения Бастилии в 1789 году отмечается как национальный праздник Франции.

Экс, которому до того и в голову не приходило, что есть нечто родственное в тех и других изображениях, особенно в мордах химер, вставшего на дыбы жеребца, рогатых чертей, адских бестий в сцене Страшного суда. А через минуты поразила путников представшая перед ними внутренность храма: все сверкало от множества разноцветных стекол, хотя и; оставались — в игре светотени — темными силуэты посетителей, редких в этот час истекающего дня обманчивой весны. Желая передохнуть, уселись они меж двух розеток на пересечении продольного нефа с поперечным. На противоположном ряду сидений какой-то юноша в длинном пальто и узком шарфе внимательно, сосредоточенно осматривал всё вокруг.

«Церковник», — сказала Мажордомша. «Эстет», — сказал Чоло Мендоса. «Слушатель Академии изящных искусств», — сказал Глава Нации. И, понизив голос, чтобы заинтриговать мулатку, он стал, как дедушка внучке, рассказывать ей правдивые истории о происходившем здесь: историю архидиакона, влюбившегося в цыганку, которая под бубен заставляла плясать белую козу (Эльмира еще девочкой видывала таких цыган, но они обычно заставляли плясать медведя); историю бродяги-поэта, который подстрекал нищих разграбить собор («Когда ведь скандалят, так всегда вред причиняют церквям», — сказала Эльмира, вспомнив об одном случае, о котором лучше было бы и не вспоминать); историю горбатого звонаря, также влюбившегося в цыганку («Горбуны очень влюбчивы, а женщины — и так, и этак, но всякий раз, и непременно, надо потрогать горб, потому как к счастью...»); историю о двух случайно обнаруженных скелетах, которые лежали обнявшись и, быть может, были скелетами Эсмеральды и звонаря («И такое бывало, как то, о чем говорится в песне старого могильщика из селенья, — у нас еще на пластинке...»). Но загудел орган, обрушив бурный ливень звуков. Друг друга не слышать. «Пошли отсюда», — сказал Экс, вспомнив о превосходном эльзасском вине — его подавали в кафе на углу, и, конечно, там было теплее, чем тут.

А на первой скамье остался «церковник», как назвала его Эльмира, — захваченный созерцанием окружающего. Ведь это была первая встреча юноши с готикой. И готика возвышалась перед ним с обеих сторон — в арках и витражах, внезапно раскрывшись; по сравнению с ней любая другая архитектура казалась примитивной, прозаической, приземленной, чрезмерно заземленной в своих выражениях, подчиненных Кодексу пропорций и Золотому сечению. Здание, взметнувшееся к небу, — экзальтация вертикалей, безумие вертикальности — в его глазах принижало фронтоны Парфенона, который в общем и целом был не чем иным, как возвышенным, возвеличенным вариантом двускатной крыши — крыши архаической лачуги, только с колоннами в желобках, что, по сути, было видоизменением — в форме, соизмеряемой модулями, — деревянного стояка — четыре столба, шесть столбов, восемь столбов, поддерживающих притолоки, кедровые стропила простых ворот у крестьянских строений. В греческом, в римском стилях сохранялось первородство земного, растительного. От хижины свинопаса Эвмея до храма Фидия путь был ясным и четким в процессе последующих стилизаций. Здесь же, напротив, архитектура представляла открытием, вымыслом, чистым творчеством в еще никогда не виданной облегченности материалов — в невесомости камня — с нервюрами, отнюдь не исходившими от прожилок листа Дерева, — с собственными солнцами своих чудесных круглых окон-розеток: Солнце Севера, Солнце Юга. Как раз между ними находился созерцатель главного нефа, плененный багрянцем полуденного светила и торжественной, мистической симфонией синевы северного витража. На

Север — Богоматерь, окруженная временной свитой, — как Заступница перед концом — пророков, королей, судей и патриархов. На Юг — в крови мученичества — Сын, суверен безвременной свиты апостолов, исповедников, мучеников, дев разумных и дев безумных. Вся тайна рождения, смерти, вечного возрождения жизни, смены времен года находилась на линии — прямой, воображаемой, невидимой, — протянутой между двумя центральными кругами огромных просветов, открытых в великолепии структур, отделившихся от пола, словно подвешенных невесомо за языки колоколов, к фигурным водоотводам труб на крыше. Трубы органа из темноты внезапно зазвучали вновь — торжествующе, мажорно...

Атеист, потому что его душевные запросы не искали ответа на религиозной почве; неверующий, потому что быть неверующим присуще его поколению, подготовленному к этому научными поисками предшествовавшего поколения; противник политических козней и призывов к соглашательству, что в его мире чересчур часто церковь использовала, действуя в лагере ее противников, поддерживая во имя веры фальшивый порядок, пожиривший самого себя. Созерцатель витражей Солнца воспринимал, однако, динамику евангелий, признавая, что их содержание в свое время действительно вызвало на шумевшую девальвацию тотемов и неумолимых духов, темных образов, зодиакальных угроз, посохов авгуров, подчинения мартовским идам и безапелляционным предначертаниям. Если новое прикосновение к познанию самого себя — драма существования внутри, а не вне себя — привело человека к стремлению проанализировать ценности, отстранявшие его от изначальных страхов, он продолжал быть заблудившимся гигантом, тиранизируемым теми, кто, не выполняя свои былые, прежние обещания, стал создавать новые тотемы, новых колдунов, храмы без алтарей, культы без священнодействия, — и что нужно было ниспровергнуть. Должно быть, уже приближались те дни, когда прозвучат апокалипсические трубы, на этот раз в руках не ангелов Страшного суда, а в руках предстоящих перед судьей. Настанет время составлять протоколы будущего и устанавливать Трибунал повинностей...

Юноша посмотрел на часы. Четыре. Поезд. Снова погрузился в созерцание окружавшего его мира прекрасного, хотя уже близился час идти, вернуться к своим делам. «Чувствуешь себя лучше там, где все совершенно», — подумал он, выходя из Нотр-Дам через центральный портик — портик Воскрешения мертвых. Еще было у него свободное время — можно попробовать эльзасское вино, весьма недурственное, которое подавали в кафе, где под присмотром официанта он оставил свой чемодан. Он пересек улицу и вошел в бистро, не заметив, что трое — одна женщина и двое мужчин, — сидевшие в глубине, взглянули на него с крайним удивлением. Заплатив за бокал, Студент вернулся на улицу и остановил такси: «A la garra del Norte please...»⁴⁰¹

Встреча была назначена в вокзальном буфете, где уже собрались многие делегаты Первой всемирной конференции борьбы против колониальной политики империализма⁴⁰², — завтра, 10 февраля, заседания должны были открыться в

⁴⁰¹ Фразу «На Северный вокзал, пожалуйста» студент произносит, спутав испанские, французские и английские слова. Отсюда возникла игра слов — вместо «A la gare du Nord» — «На Северный вокзал...» (в Париже) им сказано: «К когтям Севера» (латиноамериканцы так называют США, делая намек на когтистого орла, изображенного на американском гербе).

⁴⁰² Имеется в виду Конгресс борьбы против колониального угнетения и империализма (иначе: Конгресс угнетенных народов), происходивший в Брюсселе с 10 по 15 февраля 1927 года. Хулио Антонио Мелья вместе с Леонардо Фернандесом Санчесом, другим кубинским представителем, привез на конгресс доклад «Куба — фактория янки»;

Брюсселе под председательством Анри Барбюса. Тут уже находился кубинец Хулио Антонио Мелья, с которым он познакомился за несколько часов до встречи; тот беседовал с Джавахарлалом Неру, делегатом от Индийского национального конгресса. «Поезд уже подали», — произнес кто-то, показывая на восьмой путь. Трое подхватили свои тощие чемоданчики и поднялись в купе второго класса. Индиец, устроившись около окна, занялся изучением каких-то бумаг, тогда как Мелья завел разговор о политическом положении в нашей стране.

«Мы свергли диктатора, — сказал Студент. — Однако битва продолжается, наши нынешние враги те же, что были прежде. Занавес опустился после первого акта, чрезвычайно затянувшегося. Скоро начнется второй акт, своими декорациями и освещением весьма схожий с первым». — «А мы теперь подошли к тому, что для вас уже позади», — сказал Мелья. И стал рассказывать о новом, очередном кубинском диктаторе, по которому — мы это знали — Мелья наносил удары в битве⁴⁰³, начавшейся еще в тюрьме, где он объявил и выдержал упорную, длительную и мужественную голодную забастовку, заставив своего противника выпустить его на свободу. После Мелья эмигрировал в Мексику, откуда и продолжал борьбу против тирана... Оказалось, что Херардо Мачадо смахивал на того, кто был нашим «главой нации» — и внешним обликом, и политическими взглядами, хотя и отличался тем, что, будучи достаточно далеким от культуры, не воздвигал храмов Минерве, подобно своему едва ли не современнику Эстраде Кабрере. И не был офранцужен, как многие другие диктаторы и «просвещенные тираны» континента. Для него Высшая Мудрость находилась всецело на Севере.

«Я империалист, — заявлял он, благоговейно взирая на Вашингтон. — Я не интеллектуал, однако патриот». Между прочим, однажды он проявил невольное чувство юмора, огласив через свои газеты, что он «изучает трагедии Эсхила» (да, да!). «Ну что ж, прекрасный кандидат, может быть принят в клан Атридов»⁴⁰⁴, — сказал Студент. «Да, как видно, он уже член этой семейки», — сказал Мелья. «Вскоре также прикажет начать розыск красных книг», — сказал Студент. «Он уже это сделал», — заметил кубинец. «Здесь падает один, так поднимается другой», — сказал Студент. «Уже столетие напролет повторяется один и тот же спектакль». — «Пока публика не устанет смотреть одно и то же». — «Надо подождать...» Раскрыв кожаные портфели — и у того и у другого мексиканские, с ацтекским календарем, вытисненным на коже, — они обменялись текстами своих докладов и проектов, чтобы успеть по пути их прочесть. Сидя в углу вагона, Неру с какими-то бумагами, разложенными на коленях, казалось, был погружен в свой внутренний мир, скрытый за широко открытыми глазами. Воцарилось долгое молчание. Поезд приближался к границе ночи — сдвоенной ночи, — здесь был шахтерский Север Франции. «Cool, cool»⁴⁰⁵, —

подготовленный Рубеном Мартинесом Вильеной.

⁴⁰³ Речь идет о Голодной забастовке, объявленной Мельей в тюрьме после того, как 27 ноября 1925 года он был арестован диктатурой Мачадо. Забастовку в знак протеста против произвола Мелья продолжал чуть ли не до полного физического истощения, несмотря на угрозу смерти. Под нажимом широко развернувшейся кампании за его освобождение 23 декабря он был выпущен из тюрьмы.

⁴⁰⁴ Об истории мифологического царя Микен Атрея и его сыновей Агамемнона и Менелая см. трагедию Эсхила «Орестея».

⁴⁰⁵ Холод, холод (англ.).

произнес Неру, однако остальные не смогли уяснить, речь шла о холоде или об угле — легко смешать coal и cool⁴⁰⁶, тем более холодно было в этом вагоне второго класса — и холод казался, пожалуй, чрезмерным для них, людей из теплых стран. Индеец снова заснул — без сна, пока поезд не прибыл в Брюссель.

XXI

...приравняв себя к каким-то безумцам... они упорно считают себя королями, хотя очень бедны, или одетыми в золото и пурпур, хотя совершенно наги...

Декарт

«Высланный...» — «Изгнанный...» — «Выселенный...» — «Или бежавший...» — «Спасшийся...» — «Скрывающийся...» — «То, что я знаю, так это то, что он был в церкви, — заметила Мажордомша. — А ведь коммунисты не посещают церковь даже на Страстной неделе». И опять стали строить предположения: «Высланный...» — «Изгнанный...» — «Выселенный...» — «Быть может, раскаявшийся...» — «Обратившийся в другую веру...» — «Мистический кризис...» — «Порвал со своими людьми...» И в течение многих-многих дней ни о чем ином не толковали на Рю де Тильзит в ожидании тамошних газет — февральских в апреле, которые должны прибыть на медленно плывущих сухогрузах, в туго свернутых роликах по семь номеров, с Вулканом-Покровителем на почтовых марках. Здешние газеты, естественно, ничего не сообщали о Студенте — человеке, который для них не представлял никакого интереса. В конце концов благодаря газете «Эль фаро» из Нуэва Кордобы, полученной в мае, узнали о Всемирной конференции в Брюсселе, на которой были представлены «Национальная крестьянская лига Мексики» и «Антиимпериалистическая лига Америк», уже открывшая свой филиал в нашей стране. «Вот всё и стало ясно», — сказал Чоло Мендоса. «Чепуха, — проворчал Экс. — Империализм теперь сильнее, чем когда-либо. Потому человеком нынешнего часа в Европе является — Бенито Муссолини...»

Вновь зацвели каштаны, и на мансарде возобновились беседы на привычные темы. Под черепичной крышей чаще и больше всего рассуждали о «тех временах». Самые ничтожные факты — в перспективе и на расстоянии — при рассмотрении ныне — приобретали особое значение, особую привлекательность, необычайное своеобразие или беспрецедентную важность. «Ты помнишь? А ты помнишь?» — так звучала сакраментальная формула, уже повседневная, чтобы в мыслях воскресить кого-то из умерших либо что-то умершее, а это, в свою очередь, могло порой прояснить тайные пружины всплывшего в воспоминаниях давно происшедшего события, вырванного из далеких контекстов и привлеченного на здешние широты. Порой освежалась весьма перегруженная память Патриарха, и он раскрывал кое-какую подноготную, утаенную до этой минуты, некоторых поразительных историй либо незначительных казусов, и вскрытое само по себе служило ключом к пониманию того, что ранее могло вызвать лишь замешательство или недоумение, — ключом к тайне. Подобно факиру либо иллюзионисту, постаревшему, и оставившему эстраду, и ради развлечения приподнимающему завесу над секретами своих чудес и плутовских проделок, Экс вспоминал о выпуске банкнот без какого-либо обеспечения государством в попытке поправить положение национальных финансов; вспоминал об

⁴⁰⁶ Уголь и холод (англ.).

игорных домах, открытых правительством, где в ходу находились меченые карты (одна североамериканская фирма печатает их со столь хитрой маркировкой на оборотной стороне, что только эксперты могут разобраться в этом), и ставки должны были делаться в долларах, в фунтах стерлингов, иначе — с целью извлечь деньги, хранящиеся в кубышках, — надо было ставить старинными золотыми монетами либо мексиканскими серебряными песо. Вспомнил он также историю с Бриллиантом Капитолия, тем восьмигранным бриллиантом несравненной воды, купленным по официальному заданию: торжественно вправленный в пол у подножия статуи Республики, он должен был служить Пунктом Ноль всех дорог страны; и как-то ночью этот драгоценный камень был похищен, да столь опытной рукой, что, по утверждениям газет, кражу такого класса можно было приписать лишь какой-нибудь международной gang⁴⁰⁷ если не анархистам или коммунистам, весьма ловким в разных делах. А Эльмира, слушая рассказ, посмеивалась: «Тогда-то меня послал он (пальцем указала на Патриарха), — ну а я послала мою куму, Хулиану, отвлечь охранника, и я (показала на себя), зубилом, продают их в скобяной лавке Монсеррата, и молотком, который спрятала меж грудями, выковыряла брильянт, да во рту унесла во Дворец. Честное слово! Даже дыхнуть не могла! А уж потом была заваруха. Эх... как мы посмеялись! Как мы посмеялись!..» Ее смех отозвался эхом в улыбке Главы Нации, который тут же кивнул головой в сторону шкафа: «Тут, в ящике, он у меня. Счастье приносит. Кроме того, это — возмещение, как говорят анархисты. Я ведь тоже имею право на известные возмещения...» — «Ах, еще бы, мой Президент!» — «Мой Экс, сынок, мой Экс...»

Проходили месяцы: каштаны сменяла клубника, а клубнику сменяли каштаны, одетые листвою деревья вытеснялись деревьями с голыми сучьями, зелень изгонялась ржавчиной. И Патриарх, все менее и менее интересовавшийся внешним миром, ограничивал, сокращал, сжимал свой кругозор. В тот год рождество отпраздновали на мансарде с песнями-вильянсикос, под аккомпанемент бубна и фурруко, записанных фирмой «Виктор» на патефонную пластинку. Рождество с жареным поросенком, салатом из латука и редьки, с красным вином, с альяками и турроном из Испании — так, как делается там. И, посматривая на накрытый стол, на яства, Глава Нации заговорил о Наполеоне, перед которым год от года возрастало его благоговение, — однако в ту ночь он не напоминал ни об Йене, ни об Аустерлице, ни о Ваграме, где император одерживал победы; в какой-то книжке он с удовольствием вычитал, что Бонапарт и Жозефина — оба чужестранцы-метеки во Франции, корсиканец и мартиниканка, — обедали в замке Мальмезон на наш манер, в соответствии с протокольными нормами Эльмириты: все блюда на виду, выставлены сразу, пусть в беспорядке, охлажденные и горячие, и каждый вилок и ложкой сможет достать то, что пожелает, не меняя тарелки как это, скажем, принято в домах нуворишек, подделывающихся под принцесс, — подделываться им, конечно, удастся разве что в сексуальном плане, это уже я понимаю! — и там всякий раз нужно выжидать, когда-то тебе подадут, и будет суетиться прислуга, и все эти бесполезные церемонии только отбивают у тебя аппетит, портят тебе желудок. А здесь ты можешь протянуть руку к бутылке и налить себе бокал, и никто не будет тебе на ухо жужжать, какого года это вино, будто год имеет первостепенное значение — в вине прежде всего ты ищешь радость, а годы не важны... Как только подступало ощущение радости, Глава Нации,

⁴⁰⁷ Банда, шайка (англ.).

поглядывая на Триумфальную арку, выпендренно декламировал знаменитую тираду Фламбо из «Орленка»: «Nous qui marchions fourbus. Blessés. Crottes. Maladies...»⁴⁰⁸, — особенно подчеркивая заключительный стих — весьма, конечно, тошнотворный, в котором предлагается глоток крови дохлого коня. Однако Чоло Мендоса стал замечать, что по мере истечения времени в декламации Экс учащались пробелы: некоторые александрины умещались в восьми слогах⁴⁰⁹; Испания и Австрия исчезали с поэтической карты; забывались сабли, кисеты с табаком, огнивом, трутом, а также киверы, армейские песни, жареные вороны, знамена и сигнальные рожки, что было брошено на обочинах пути служакой наполеоновской гвардии — grognard'ом, предавшимся воспоминаниям, и весь рифмованный мусор сводился декламатором к фармацевтическому двустишью: «Nous qui pour notre toux n'avant pas de jujube. Prenions des baines de pied d'un jour dans le Danube...»⁴¹⁰. Последнее, по мнению Чоло Мендосы, Глава Нации запомнил лишь потому, что грудная ягода — «jujube» — родственна пастилкам лакричника, к которым был так привержен. Да, пожалуй, надо будет прибегать к каким-то мнемотехническим приемам, поскольку становилось все яснее и яснее, что умственные способности того, кто столько интриговал, вычислял, комбинировал на протяжении своей долгой-предолгой карьеры, начали расстраиваться. В дождливые дни, скажем, заявив — де ни за что на свете не выйдет из дома, он поспешно собирался, движимый абсурдной затеей отправиться в отдаленный книжный магазин, чтобы приобрести произведения Фюстеля де Кулянга либо двадцать томов «Истории консульства и империи» Тьера, страницы которой даже не листал, и возвращался из своей ненужной экспедиции вымокший и простуженный. Всегдашнему любителю оперного искусства, ему нравилось облачаться во фрак и идти слушать какую-нибудь «Манон» в «Опера Комик», и там он немало удивлялся, что в акте, происходившем в храме Сен-Сюльпис, не обнаруживал Мефистофеля. Сюжет «Кармен» он путал с сюжетом «Севильского цирюльника», поскольку действие обеих опер происходит в Севилье; финал «Травиаты» он смешивал с финалом «Богемы», поскольку в конце концов и там и тут женщина умирала в объятиях своего любовника...

В беседах он допускал частые ошибки, уверяя, скажем, что Плутарх был латинским историком, а вирус испанки назывался Пелопоннесом. Вдруг он принимался диктовать статью о политическом положении в нашей стране и в разгар диктовки обрывал себя, отдав отчет в том, что статью негде будет напечатать. Зачастую он ораторствовал ради того, чтобы лишь поговорить; он назначал и снимал министров, награждал кого-то в своем воображении, набрасывал планы общественных работ, а затем, вернувшись к реальности, перед бутылкой «божоле нуво» от мосье Мюзара, сам над собой смеялся.

У него появилась поразительная тяга к посещению музеев. Он ходил в Музей истории Парижа — Карнавалэ, — чтобы посмотреть там игрушечные гильотины. В Лувре перед большим полотном «Коронации» Давида ⁴¹¹ он проводил

⁴⁰⁸ Шли мы, разбитые, раненые, больные и в грязи. (фр.).

⁴⁰⁹ Александрийский стих, называемый во Франции александриной, имеет двенадцать слогов.

⁴¹⁰ Грудного снадобья от кашля не было у нас, так ноги вымоем в Дунае, уж близок день и час. (фр.).

⁴¹¹ Речь идет о картине «Коронация Наполеона» знаменитого французского художника Луи Давида (1748–1825).

сногшибательные параллели между мадам Летисией⁴¹² и Aunt Jemima Полковника Хофмана. Он посещал музей Гревена в надежде увидеть — а вдруг обнаружишь, заранее ведь никогда, и ничего не известно! — самого себя, вылепленного из воска. Чоло Мендосу тревожили и другие несурзности Патриарха. Как-то, утром 5 мая, тот пробудился с навязчивой идеей — в полдень, к счастью, забытой из-за известий, полученных с родины, — послать огромный венок в Дом Инвалидов, возложить к саркофагу с останками Наполеона по случаю годовщины смерти императора на острове Святой Елены. И все-таки известная величественность, известная сила сквозили во внешнем облике, определяли поведение старого диктатора.

Внешность, манеры свергнутых деспотов — из тех, что в течение многих лет навязывали свою волю, диктовали законы в той или иной части света. Достаточно было ему завалиться в свой гамак, как этот гамак превращался для него в трон. Когда он раскачивался в сетке, спустив ноги, — то сюда, то туда, подергивая шнурок, для этого прилаженный, — он неизмеримо возрастал в масштабе, чувствовал себя державным в своей горизонтальности бессмертного, обойденного словарем Лярусса. И тогда он говорил о своих армиях, о своих генералах, о своих военных кампаниях, «...как та — помнишь?.. Но нет, тогда был не ты... Еще налетел ураган, еще в Пещере Мумий...» Однажды ранним утром, заговорив об этом, он решил во что бы то ни стало посетить музей Трокадеро. В сопровождении Чоло он направился в громоздкий и печальный дворец — смесь сарагосского и арабского стилей со стилем барона де Османн⁴¹³, с безвкусными аркадами и лжеминаретами; перед гигантской головой с острова Пасхи дремал дежурный в расстегнутой куртке. (Видимо, не слишком-то складно тем утром работал мозг Патриарха, поскольку он спросил имя скульптора, создавшего эту композицию...) И дошли они бродить по галереям, все более длинным, все более заполненным каноэ, лежащими на земле, тотемическими птицами, оцетинившимися в шипах идолами, мертвыми богами мертвых религий, запыленными эскимосами, тибетскими трубами, сваленными в углах бубнами-пришедшими в негодность бубнами, с распущенными шнурами, с изъеденной кожей, замолкшими навсегда после того, как задавали они тон празднествам, призывали дожди, сообщали о восстаниях... И таким образом переходя от швейной-иглы-из-кости-тюленя к ритуальным маскам из Новых Гебрид, от африканских колдовских амулетов к золотому нагрудному кресту, от погремушки шамана к каменному топору, добрался Глава Нации до того, что искал: здесь, посреди зала, прямоугольная витрина, в ней под стеклом на деревянной подставке сидела — на веки вечные — Мумия, «из тех, о которых я тебе столько говорил», обнаруженная в Пещере той бурной ночью... Обветшавший человеческий остов — обернутые в рухлядь торчащие кости, иссохшая кожа, продырявленная, источенная червями; и череп, обвитый вышитой ленточкой, с пустыми глазницами жуткой выразительности; зло зияла впадина исчезнувшего носа, а выдвинутые челюсти с желтыми зубами навсегда замерли в неслышном вопле; и всё это покоилось на убогих больших берцовых костях, скрещенных; свешивались тысячелетние альпаргаты, еще будто новые — не выгорел цвет красных, черных и желтых нитей их плетения. Здесь, в двух шагах от Марсельезы Рюда, продолжала

⁴¹² Мадам Летисия — мать Наполеона, Мария-Летиция Ремолино де Буонапарте (1750–1836).

⁴¹³ Барон де Османн — префект департамента Сены в 1853–1870 годах, известный своей деятельностью по благоустройству Парижа.

сиднем сидеть эта образина, точно громадный зародыш, бесплотный, прошедший все этапы взросления, зрелости, дряхлости и смерти, вещь не вещь — анатомические останки, представленные костями под отвратительными пепельно-черными лохмами, оборванными прядями по обеим сторонам высохших донельзя щек. И этот обнаруженный в подземелье монарх, судья, священнослужитель либо военачальник снова раздраженно вглядывался из глубин своих бесчисленных веков на тех, кто осмелился нарушить его покой... И похоже, что уставился на меня, только на меня, точно продолжает диалог, когда я сказал: «Не жалуйся, сукин сын, на то, что вытащил тебя из твоей мерзопакостной грязи, чтобы вывести в люди... Чтобы вывести тебя...»

Головокружение, слабость, падение. Голоса. Подбегают люди... И я уже снова в своем гамаке, куда меня уложили Чоло и Мажордомша. Однако ноги мне не послушны. Они там, где и должны быть, они мои — и все же чужие, остаются неподвижными, отказываются двигаться. А вот и врач, доктор Фурнье, — очень постарел он. Его орден Почетного легиона. Вспоминаю орден. Я поднимаю указательные пальцы к ушам, чтобы врач знал: слышу и понимаю. «Пройдет», — говорит он, вытаскивая из саквояжа шприц. А лица Офелии и Эльмириты всё кружат и кружат вокруг гамака, высовываются, появляются вместе, обе что-то говорят, а я засыпаю и вновь просыпаюсь. И опять — а может, он оставался здесь? — доктор Фурнье со своим шприцем. Я просыпаюсь. Я чувствую себя очень хорошо. Думаю о «Буа-Шарбон» мосье Мюзара. Но мне говорят, что нет. Что пока еще нет. Что очень скоро. Однако, должно быть, не так всё хорошо, хотя чувствую себя достаточно хорошо, вот так, когда меня покачивают в гамаке, — должно быть, нехорошо, потому что Офелия и Эльмирита заполнили мою комнату образами Богоматери. Выстроившиеся вдоль стен, они окружают меня, охраняют мой сон, все тут как тут, едва открою глаза: Пресвятая Дева Гуадалупская, Пресвятая Дева дель Кобре, Пресвятая Дева де Чикинкира, Пресвятая Дева де Регла, Пресвятая Дева де лос Коромотос, Пресвятая Дева дель Валье, Пресвятая Дева де Альтаграсиа, парагвайская Пресвятая Дева де Каакупе, а на трех образах, в четырех различных видах-Святая Дева-Заступница моей страны; а далее — Святые Девы-Капитанши, Девы-Маршалыши, Девы Белого лика, Девы Индейские, Девы Черные, все наши Девы, Неизреченные Предстательницы, Покровительницы при любом бедствии, при любом катаклизме, любой болезни, при бессилии либо злой эпидемий, — они здесь, со мной, в сиянии золота, серебра, блесков, под летящими голубками, в ясности Млечного Пути и Гармонии сфер.

«Бог со мною, и я с ним...» — пробормотал я, вспомнив крестьянскую молитву, затверженную в детстве... И вот выздоровление. Эльмирита приносит мне кое-какую нашу пищу — маисовые лепешки с мясом в соусе чиле, тамаль, «воздушное» печенье, взбитый желток, посыпанные размолотой корицей сливки — все, что мне еще по вкусу. Начинаю двигаться достаточно уверенно, хотя и нуждаюсь в трости. Врач сказал, что скоро, быть может, даже завтра, он разрешит мне короткую прогулку. Тогда я присяду на скамейку рядом с клумбой гладиолусов, на авеню дю Буа. Погляжу, как прыгают по газону собаки из богатых домов под надзором слуг из богатых домов. А затем в такси — боюсь, еще не хватит сил, — отправлюсь в «Буа-Шарбон». И внезапно возникает мысль, что уже давно, очень давно у меня не было женщины. Последний раз — когда это? — у меня была Эльмирита. А теперь чего я прошу от нее, так пусть приподнимет немного юбку — и делает она это с удивительной невинностью. Мне порой нравится полюбоваться ее упругими и

привлекательными формами, округлыми и великодушными: в них есть какая-то доброта, разливающаяся сама по себе. Она не очень изменилась с дней моей всепобеждавшей молодости, и, полюбовавшись ее телом, я чувствую, как ко мне вновь возвращается энергия, чтобы тянуть далее сволочную жизнь.

Я не сражен, нет. Ежедневно хожу на прогулки. С каждым днем всё подальше от дома.

Как-то раз, не знаю почему, я вспомнил, что на кладбище Монпарнас похоронен мой друг Порфирио Диас. (А отсюда, в окно, я вижу дом, в котором жил его министр Лимантур.) Поедем — Чоло, Эльмира и я — туда, где покоится и Мопассан, тот, кто написал столь читаемые в наших странах рассказы, которым писатели усердно подражают. У лавки мраморных изделий Жоффэн покупаем цветы. Нас сопровождает привратник, одетый в такой же синий костюм, как дежурный в Трокадеро: «*Cette tombe est tres demandee*»⁴¹⁴ (именно так!).

Мы проходим мимо могилы Бодлера, похороненного — видимо, в приливе зловещего черного юмора — рядом с генералом Опиком⁴¹⁵. И вот мы уже там, где дон Порфирио. Над его прахом возвышается нечто похожее на готическую часовенку — церквушка-лилипут, не то большая собачья конура, серая, стрелчатая, — на алтаре, воздвигнутом под посвящением Невыразимой Богоявленной в Тепейяке⁴¹⁶, лежит в мраморном ларце немного мексиканской земли. И над этим средневековым мавзолеем 1915 года — многовековое и мифическое присутствие Орла и Змеи Анауака⁴¹⁷...

Я Думаю о смерти. О Бодлере, таком тут близком, хотя не могу вспомнить те его стихи — очень подводит память, — в которых говорится о старых костях и глубокой могиле для тела более мертвого, чем мертвые, мертвеца из мертвецов. Мне было бы приятно, если бы похоронили меня здесь, когда придет мой последний час. Пытаюсь отпустить какую-нибудь мрачную остроуту, подходящую для здешней обстановки, желая показать остальным, что не боюсь я Плешивой. Однако ничего не приходит на ум. В молчании возвращаемся, на Рю-де Тильзит...

И тем вечером опять отказали ноги. И еще левую руку схватила судорога. И этот внезапно выступивший холодный пот на затылке, на лбу. И этот вызывающий адскую боль металлический прут, временами пронизывающий грудь, — собственно, насквозь он не пронизывает, а где-то под кожей дает о себе знать. Доктор Фурнье хочет уложить меня в постель. Он говорит, что гамак не может заменить кровать, что гамак — это фольклор, нечто индейское, нечто из романов Фенимора Купера. Кинжально острое тщеславие здешних людей. Они хотели бы засунуть меня в альков Людовика XIII, чтобы я задохнулся под балдахином, либо в такую кровать, как в Мальмезоне, где я уже задавался вопросом, каким образом на такой узкой и короткой постели могли обниматься Наполеон и Жозефина.

Наконец-то оставляют меня в покое, покачивающимся в гамаке, который

⁴¹⁴ Об этой могиле часто спрашивают. (*фр.*).

⁴¹⁵ Жак Опик (1789–1857) — французский генерал, участник интервенции в Испании в 1823 году, был вторым мужем матери Шарля Бодлера.

⁴¹⁶ Тепейяк — предместье нынешней мексиканской столицы — города Мехико, где, по преданию, индейцу Хуану Диего «явилась» индейская богоматерь Гуадалупская, после провозглашенная «покровительницей» Мексики.

⁴¹⁷ Анауак — древнее название центральной части Мексики (На языке индейцев науа — «Страна у воды»).

провисает под тяжестью моего тела, будто налитого свинцом тела. Я засыпаю. Когда просыпаюсь, Чоло мне говорит, что Офелия и Эльмирита ушли выполнить обет в собор Сакре-Кёр за мое быстрое — «и безусловное», добавляет он, выздоровление. Ранним утром они натянули на себя одеяния кающихся — «исполняющих обет», — как говорят там: лиловое платье, опоясанное оранжевым шнуром, сандалии, — они были без шляпы и без шали, несмотря на дождь. Распростертые на сиденьях фуникулера, они поднялись на Монмартрский холм, а перед тем, как войти в собор, со свечами в руках опустили на колени на ступеньках лестницы, ведущей к главному алтарю. Я снова засыпаю. (Выйдя из храма на Монмартре, Мажордомша поспешила возложить цветы к ногам статуи святого, находящейся направо; стоит этот святой в одиночестве, беззащитный и, должно быть, милосердный, потому как держат его отдельно: — отовсюду хорошо видно, прикованного к столбу, переживающего свое мученичество. Коленопреклоненная, на мокром асфальте, она начинает молиться, но Офелия рывком заставляет ее подняться, оторваться от благочестивых мыслей. Успела Офелия прочесть надпись у подножия святого: «Кавалеру де Ля Барру⁴¹⁸, казненному в возрасте 19 лет от роду, 1 июля 1766 года, за то, что не приветствовал он церковную процессию». Эльмирита не поймет, как рядом с церковью люди поставили памятник еретику... Уставшая Офелия не стала вступать в разъяснения, которые мулатка, конечно, не взяла бы в толк, поскольку «свободомыслящий» для нее означает то же, что и кто-то из секты анархистов, ньяньиг⁴¹⁹, сторонник свержения всяческой власти либо нечто вроде этого...)

Просыпаюсь. Надо мной наклоняется Офелия в платье исполняющей обет и Эльмирита, одетая точно так же, и машинальным жестом, очень по-своему, она приподнимает груди, совсем забыв о наглухо прикрывающем их одеянии. И возникает новая фигура — монахини из Сен-Венсан де Поль — она, однако, заправдашняя сестра милосердия и вкалывает мне шприц в правую руку. Накрахмаленный чепец, накрахмаленный воротничок, накрахмаленный нагрудник; голубизна платья, голубизна отстиранного индиго, заставляющая меня вспомнить о синеве комбинезона — под американский «overoll», который носят уже все рабочие моей страны и который там прозывают также «свертком свечей». Свечей, горящих перед ликами Пресвятой девы в моей комнате; свечей, только что зажженных и уже — оплывающих воском; красных свечек, неугасимых лампадок, фитильки которых опущены в плошку с оливковым маслом. Свечей, которые скоро поставят мне. Это написано на лицах, пожелтевших от света стольких свечей, на лицах, склонившихся над моим гамаком, глядящих на меня с вымученной улыбкой, пахнущих аптечным запахом, пропитавшим всё. Сплю. Просыпаюсь. Временами, пробудившись, не могу понять, день это или ночь. Силюсь разобраться. Направо звучит тик-так. Надо узнать час. Шесть с четвертью. Быть может, нет. Возможно, семь с четвертью. Ближе. Восемь с четвертью. Этот будильник-чудо швейцарского часового производства, но его стрелки настолько тонки, что их едва видно. Девять с четвертью. Да, нет. Очки. Десять с четвертью. Вот это — да. Думаю, что — да, потому что — теперь я догадываюсь — солнце озарило

⁴¹⁸ Кавалер де Ля Барр, Жан-Франсуа Ле Февр (1746–1766) был обвинен в том, что он якобы повредил деревянное распятие на мосту и не преклонился перед причастием, которое проносила церковная процессия. По решению суда жертве религиозного фанатизма отрезали язык, отрубили голову, а труп сожгли на костре. В его защиту тщетно выступал Вольтер.

⁴¹⁹ Ньяньигас — тайные общества негров-бедняков, существовавшие на Кубе.

ткань, прикрепленную Мажордомшей к слуховому окну мансарды, через которое падает свет; притенить его хотела Эльмирита. Думаю о смерти, как и всякий раз, когда просыпаюсь. Но смерть мне уже не страшна. Встречу ее стоя, хотя мне давно стало ясно, что смерть — не бой, не схватка — всё это литературщина; смерть — это сдача оружия, признанное поражение, горячее желание уснуть в надежде избавиться от всегда подстерегающей боли, всегда угрожающей, сопровождаемой шприцами, муками святого Себастьяна — исколотое и переколотое тело; резким запахом лекарств, песком в моче, зловещим появлением кислородных подушек, так же возвещающих конец, как и соборование. Единственное, чего я прошу, так это уснуть без физических мук, хотя дьявольски неприятна мне мысль о том, как банда сволочей там возрадуется, получив весть о моей смерти. Во всяком случае, лишь только пробьет час, и до того, как меня унесет паскудная, я должен произнести какую-то фразу, чтобы остаться запечатленным в Истории... Какую-то фразу... На розоватых страницах Малого Лярусса я нашел ее: «Acta est fabula»⁴²⁰.

«Что он говорит?» — переспросил Чоло Мендоса. «Сказал о какой-то фабуле или фавль, стало быть — о басне», — ответила Офелия. «Эзопа, Лафонтена, Саманиэго⁴²¹?» — «Также упомянул о каком-то акте». — «А, понятно, — заметила Мажордомша. — Чтобы не погребли его без акта о кончине. Катаlepsия...» (Это верно, у тамошних крестьян наибольшие опасения вызывает летаргия.) «...В моей деревне был такой, которого зарыли в землю как умершего, а он, оказалось, не умер и пробудился в гробу, крышку проломил, но из могилы мог высунуть лишь руку... А еще случай в Ла Веронике...»

Было воскресенье. Офелия закрыла глаза отцу, покрыла его простыней, ниспадавшей по обеим сторонам гамака до самого пола, словно скатерть с банкетного стола. И немедля выдвинула ящик, в котором хранился Бриллиант из Капитолия: «Теперь я буду хранить его, так надежнее. Когда порядок воцарится на нашей многострадальной родине и эту драгоценность не смогут захватить всякие босяки-крикуны и коммунисты, я сама торжественно вложу ее в законное место, у подножия статуи Республики». И в ожидании того события бриллиант упал в сумочку Инфанты, определив этим — среди пудрениц и губной помады — Пункт Ноль всех путей-дорог далекой страны. И сразу же Офелия заторопилась: «Пусть Чоло займется вопросом оформления акта. В этом я ничего не понимаю. И до завтрашнего дня не будем сообщать о кончине. Сегодня ведь Выезды на Четверках. А мне еще надо переодеться...»

Вскоре послышалось непривычное здесь цоканье подков, поскрипывание колес за решетчатой оградой дома. Эльмирита выглянула в окно: там стояла какая-то колымага с империалом, с оконцами, в упряжке — четверка лошадей, наверх забрались люди, — все это очень напоминало фургон, запряженный мулами, в дни ее детства ходивший — поездов тогда не было — по дороге из Нуэва Кордобы до Пальмара де Сикире. «Ну и отстал же тут народ», — подумала мулатка. И увидела выходящую Офелию, одетую в светлый костюм, — та тоже залезла на верх экипажа, прежде раскрыв белый зонтик Щелкнул бич, и рыжие кобылки тронули рысью под всеобщий смех и восклицания прохожих.

⁴²⁰ Пьеса сыграна (лат.).

⁴²¹ Феликс-Мария Саманиэго (1745–1806) — испанский поэт, автор многочисленных басен-фавль.

С каждой стороны гамака, в котором покоилось тело Главы Нации, горела свеча, вставленная в серебряный канделябр. Монахиня из Сен-Венсан де Поль, перебирая четки молилась. Вдали можно было разглядеть мальчика-героя, у которого всё наружу, и всё золотилось под лучами солнца. «Сколь неприлично!» — произнесла Эльмирита, закрывая окно, перед тем как начать переодевать покойного, которому надлежало переместиться вниз, в Большой Салон. На спинке кресла его ожидал последний фрак, заказанный перед болезнью, — чересчур просторный теперь для отощавшего тела. Впрочем, это обстоятельство облегчало задачу натянуть на покойника фрак — с широкой алой лентой, которая в течение стольких долгих лет служила символом его Сана и его Могущества.

1972

*Они — что плющ, который не стремится подняться
выше деревьев, поддерживающих его*
Декарт. Рассуждение о методе
...arretez vous encore un peu a considerer ce chaos...

Descartes⁴²²

Посеревший от частых дождей, нередких снегопадов и от запущенности, в коей пребывает уже многие годы, небольшой пантеон с двумя дорическими колоннами все еще высится на кладбище Монпарнас, неподалеку от усыпальницы Порфирио Диаса, ближе к могилам Бодлера и генерала Опики. Кто присмотрится к его внутренней отделке через черную решетку, охраняющую дверцу со стеклом в рамке из позолоченного металла, сможет разглядеть скромный алтарь под образом Святой Девы-Заступницы — копией того образа, что почитается в главном алтаре Собора в Нуэва Кордобе. У подножия, под святотайной гирляндой роз и херувимов, четыре ягуара поддерживают мраморный ларец, в котором хранится горсть Священной земли Отечества.

А вот, пожалуй, далеко не каждый знает, что Офелия, поразмыслив — Земля едина и земля Земного шара есть земля Земного шара повсюду, где бы то ни было, и поскольку *memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris*⁴²³, — то потому Священную землю, навечно оберегаемую четырьмя геральдическими ягуарами, собрала на обочине дорожки в Люксембургском саду.

Гавана — Париж, 1971–1973.

⁴²² ...задержитесь еще ненадолго, чтобы во внимание принять хаос этот... Декарт

⁴²³ Человек, помни, что ты прах и в прах возвратишься (*лат.*).